

А.И.ДЕЛИАНИЧ



ВОЛКОВЕР

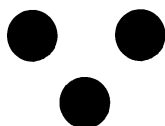
373

В.В.

АРИАДНА ДЕЛИАНИЧ

ВОЛЬФСБЕРГ — 373

Published by Author.



Printed by "Russian Life"
2458 Sutter Street, San Francisco, California.
USA.

Edition 2.000.



Майор Г. Г.

ПРЕДИСЛОВИЕ.



**Майор Г. Г. и генерал Лев Рупник.
(Любляна, апрель 1945 г.).**

Настоящая книга представляет собой не только отчет об интернировании в Вольфсберге, но и отражает настроения тех, кто с оружием в руках оправдали свое эмигрантство, приняв участие в борьбе с теми же врагами России, от которых пришлось уйти после гражданской войны 1917 — 1920 годов.

Автор книги, с женской интуицией, нашел те слова, которые нами, мужчинами, может быть, выговариваются с трудом.

Вопрос о поступлении русских эмигрантов в германскую армию был жгучим вопросом послевоенных годов: почти вся западная эмигрантская печать этот поступок осуждала, главным образом исходя из соображений тактики и приспособления к настроению стран своего пребывания, тактики, выработанной за столами редакций, причем об идеологической стороне вопроса говорить было не принято.

Не говорилось и о том, что мы 30 лет всему свету твердили об опасности коммунизма, что нам не верили, высмеивали нас за эту непримиримость, чтобы потом, когда стало уже почти поздно, с нами во многом согласиться. Вся эта 30-летняя непримиримость стушеввалась во время войны, о ней молчали не только эмигрантские газеты, но и организации. Мне неизвестна ни одна политическая эмигрантская организация, которая своим членам порекомендовала бы поднять оружие про-

тив коммунизма, — воспользоваться этим случаем воплощения в жизнь всех постановлений и резолюций прошлого.

К счастью для эмиграции, психология отдельных лиц никогда не подпадала под влияние организаций или печати: люди и без них знали, что им нужно было делать.

И вот в Югославии несколькими честными, смелыми и решительными людьми, после объявления войны Советскому Союзу, было принято решение, единственно в этой части света приемлемое и правильное: принять участие в войне против исконного врага и стать в строй в одиночном порядке. Трудностей было не мало, но своего эти люди все-таки добились. Эти продолжатели традиций Русского Белого воинства остались такими же, какими и были в конце гражданской войны. Принцип был: с кем угодно — против большевиков. Гитлеру поверили не за его политическую программу доминирования немецкой расы, а за его антикоммунизм. Не поддерживали ли в свое время русское добровольческое движение немцы в Балтике, англичане в Мурманске и Новороссийске, французы в Одессе? Даже чехи и прочие славянские добровольцы одно время помогали, чем могли и как могли, этому движению. Разочарование в гитлеровской политике в оккупированных областях России пришло гораздо позже, было уже поздно трубить отбой, и в силу тех же принципов пришлось продолжать, приняв все выходящие из них последствия. Во имя этого принципа погибли русские люди в боях последних дней войны, когда все было уже потеряно, а они все еще продолжали борьбу; погибли и тысячи других русских людей впоследствии в лагерях Сибири.

Тогда же, в начале войны, оказалось, что с годами у многих до того изменилась психология, и они так ассимилировались с окружавшей их иностранной средой, что даже забыли, или нашли более удобным для себя на некоторое время забыть, об этих старых принципах. Получились две категории эмигрантов: одни — готовые к жертвенности, несмотря на

возраст, состояние здоровья и часто общественное положение, другие — посчитавшие более удобным оставаться дворниками и получать на чай .

Позже, уже на свободе, пришлось встретиться с еще одной категорией людей — «победителей», внешне таких же русских, как и мы, но в свое время попавших на запад, там проживших 30 лет и, благодаря среде и роду деятельности, впитавших в себя непонятную нам психологию. Они, повидимому, искренне считали, что делают правое дело, добровольно борясь против тирана Гитлера в рядах союзных армий, Гитлера, до которого им, собственно, не было никакого дела, и которого они знали по карриатурам, а то, что они этим помогали нашим врагам — коммунистам, их, повидимому, нисколько не смущало. Один из них, пожилой человек, сказал мне однажды в разговоре об одном незнакомом ему журналисте из рядов казачьей дивизии: «Если бы я его встретил в бою, я бы ему прикладом разможил голову». Не знаю, как поступил бы я, если бы автора этих слов после такого поступка привели ко мне пленным, но никому из нас и в голову не пришло бы поднять руку на своего: мы боролись с коммунистами. Человек, говоривший это, был добровольцем одной из союзных армий и исповедывал крайне правые политические убеждения, не помешавшие ему быть союзником коммунизма.

Все это, конечно, не относится к тем, кто, будучи мобилизованным, исполнял свой долг в отношении страны, давшей им подданство. Их уделом могли быть впоследствии конфликты морального значения.

История формирования русских добровольческих частей 2-ой войны наглядно показывает, что большинство их членов ушло от спокойной жизни, хорошо оплачиваемого интеллигентного труда, оставив на произвол судьбы семьи и все созданное десятилетиями. Старые заслуженные офицеры поступали простыми рядовыми и рядовыми же гибли. В сформированные части в Югославии стали вливаться эмигранты из Болгарии,

Румынии, Венгрии; русские техники из всей Европы попали в работающие тыловые организации. Отряд эмигрантов из Франции в 1943 году героически погиб, до одного человека, на восточном фронте.

Доброе имя русского эмигранта было спасено, и оно продолжает стоять высоко в мнении тех, кто над этим задумывается.

Наступило время, когда печать перестала нас осуждать, а эмигрантские организации получили возможность продолжать выносить постановления и резолюции...



Положение на фронтах в апреле месяце 1945 года давало все основания предполагать, что война Германией была проиграна, и наша ставка против большевиков опять бита.

Продвижение западных союзников с юга Италии на север не беспокоило бы наш «внутренний» участок фронта, если бы не было сильного нажима их восточных союзников — югославских партизан, имевших у себя за спиной уже подходившие части красной армии, на наш отходивший и постепенно сокращавшийся фронт.

В то время, как 1-й Особый полк «Варяг» Р.О.А., ведя ожесточенные бои с партизанами, ежедневно терял десятки убитых, соседи наши, германские полицейские части, теряли свою боеспособность, и было очевидно, что они войны долго не выдержат.

Подошедшие из Сербии добровольцы Льютича перестроивались в Истрии, но по численности от них нельзя было ожидать больше 3-4 батальонов, без какой бы то ни было возможности пополнения их из-за отрезанности от Сербии. Дух их был отличным, снабжены они были не плохо, но их, к сожалению, было мало.

Стоявшие на некоторых участках фронта местные добровольцы-словенцы представляли собой хотя морально и бо-

лее слабый элемент, но они защищали свои дома и при нормальном ходе событий могли считаться боеспособными.

С востока подошла дивизия «Галиция», комплектованная из украинских уроженцев Львовской области Польши. Весь командный состав ее состоял из немцев, а рядовые проявляли нескрываемую ненависть к нашим русским солдатам. По боеспособности они представляли собой неизвестную величину, ибо, после грабежей еврейского и польского населения в Галиции, они некоторое время стояли в тылу во Франции и, собственно, в серьезных боях участия еще не принимали. Впрочем, эта дивизия вскоре же была двинута дальше на север.

Единственными стойкими частями, ожидавшимися в нашем районе, был Русский корпус ген. Штейфона и XV кавалерийский (казачий) корпус ген. Паннвица, с тяжелыми боями отходившие по Югославии в общем направлении на северо-запад.

Губернатором провинции Словении на полуавтономных началах был генерал Лев Рупник, блестящий офицер королевской югославской армии, коренной императорский австрийский офицер генерального штаба, глубоко национальный по взглядам и безупречный в моральном отношении. Женат он был на русской, и супруга его Ольга Александровна создала гостеприимный очаг, где и сам генерал, и взрослые дети, и даже зять говорили по-русски.

В течение неоднократных обсуждений создавшейся обстановки выяснилась полная общность взглядов на положение дел, и генерал Рупник изложил следующий проект, который ни у нас, русских, ни у сербов не вызвал возражений.

При наличии надвигавшейся опасности коммунизма с востока было очевидно, что единственной не зараженной и не занятой коммунистами территорией была бы его провинция, Словения, географически лежащая в самом северо-западном углу Югославии и граничащая на север с Австрией (тогдашней германской провинцией), на запад с Италией и на юг с адриати-

ческими портами Триест и Фиуме, тоже итальянскими.

Задачей представлялось удержать за собой эту территорию для передачи ее подходившим с юго-запада англо-американцам, чтобы хотя бы эта часть Югославии не попала в руки коммунистических правительств Тито и Сталина.

Политически, до освобождения всей Югославии от коммунистов, можно было бы провозгласить эту территорию самостоятельной Словенией, чем она этнографически и являлась.

С военной точки зрения план этот мог бы тоже быть проведен в жизнь, так как с хотя и поредевшими полками Русского корпуса и частей ген. Паннвица, при наличии сильного, прекрасно снабженного и вполне боеспособного полка «Варяг» и сербских батальонов Лютича, имелась полная возможность поднять дух словенских добровольцев и даже пополнить их ряды, путем мобилизации нескольких возрастов населения. В офицерском составе тоже, казалось, не было бы недостатка, когда в Русском корпусе опытные боевые офицеры были на должностях рядовых.

Продуктов для населения и воинских частей, как и боеприпасов, было бы более чем достаточно на несколько месяцев осады, ибо немцы, уходя, оставили бы все на территории Словении нам.

Через сербских добровольцев, при посредстве их связей с дипломатическими представителями королевской Югославии на западе, можно было бы обо всем этом поставить в известность союзную главную квартиру в Италии.

Плану этому, однако, не суждено было осуществиться примерно по той же причине, как это произошло в свое время в других странах. Левые элементы в Словенском парламенте поднимали агитацию против ген. Рупника, как недостаточно демократичного, и социалистам удалось большинством голосов потребовать его ухода в отставку. Конечно, об его плане им известно не было. Одним словом, решили перестраивать дом, когда он уже горел.

Русский корпус подошел позже этого события, занял позиции северо-западнее Любляны, но было уже поздно что-либо предпринимать в политическом отношении. Генерал Рупник уже был в отставке.

XV кавалерийский корпус отошел круто на северо-запад, не касаясь территории Люблянской области.

С юго-запада подошли переформированные сербские добровольцы и заткнули дыры, оставленные немецкими полицейскими частями, отошедшими с фронта.

Казалось, что фронт еще и мог бы держаться, хотя бы и с трудом, но социалистическая агитация среди словенских добровольцев начала давать свои плоды, и люди стали дезертировать с фронта по домам. Хорошо знакомая картина!

Настроение сербских добровольцев резко понизилось, так как, естественно, у них прошла всякая охота защищать Словению, когда сами словенцы дезертировали с фронта.

Через короткий промежуток времени, когда положение еще более ухудшилось, стали отходить и сербские добровольцы, лишенные своего вождя Лютича, погибшего в автомобильной катастрофе, и фронт в районе Любляны остался на русских частях, все еще ждавших приказа об отходе.

6 или 7 мая полк «Варяг» сосредоточился своими батальонами в Любляне, на балконе казармы был поднят русский национальный флаг со щитом Р.О.А. в середине, и командиром полка было приказано снять отличия германской армии.

Начинался отход полка «Варяг» с боями против партизан на сдачу союзникам, с надеждами на военный плен, разрушенными, как и многие другие надежды и упования, и обращенными в выдачу большевикам и гибель личного состава трех-батальонного полка, своими решительными и храбрыми действиями долгое время поддерживавшего среди окружающих немцев честь и славу русского солдата — единственного полка германской армии, где не было ни одного немца.



Оглядываясь на эту эпопею, нельзя не отметить некоторой наивности в планах и рассуждениях ее творивших, в том числе и автора этого предисловия.

Дело начинать нельзя было без твердого политического тыла, а такой тыл, при наличии социалистов в парламенте в Любляне, создать тоже было невозможно. Прибегать к военной диктатуре было рискованно, да и ген. Рупник никогда не согласился бы на это. Работа словенских социалистов была направлена против немецкой оккупации, и они считали генерала Рупника немецким ставленником. Народ же не знал коммунизма, как и всегда, впредь до его появления, когда стало уже поздно.

Русские и сербские начальники наивно предполагали, что сдачей западным союзникам они найдут какую-то возможность спасти своих людей от пленения их коммунистами и неизбежной гибели. Постановления знаменитых конференций «великих трех» (один из них — Сталин), отдававшие коммунизму всю восточную часть Европы и ее уроженцев из Германии, не были известны, да и показались бы гнусной инсинуацией против западных союзников, так как вера в Запад, как антипод коммунистическому Востоку, была сильна и непоколебима. По старому солдатскому правилу, политика не входила в круг обязанностей бойца, у которого во время тяжелой войны и без того много дела.

Национальное русское движение потерпело еще раз поражение, заплатив за него опять несказанно дорогой ценой.

Видимо, это была последняя попытка освобождения России извне...



Окончив период интернирования и благополучно выбравшись на свободу, пришлось поступить на службу в то же ФСС, которое нас когда-то арестовало и допрашивало в Вольфсберге. Но к 1948 году времена сильно изменились.

Ни Кеннеди, ни носителей красочных фамилий Шварц, Блау и т. п. уже не было, и роль ФСС свелась к тому, чем, собственно, оно и должно было быть: к обеспечению безопасности оккупационных войск. Интернированных больше за ФСС не числилось, большинство барачных лагерей было снесено, в оставшиеся поселили беженцев, сторожевые вышки и проволочная ограда были разобраны населением на топливо и для хозяйства, и даже злополучный бетонный бункер был сравнен с землей, по приказанию австрийских властей.

В последовавших дружеских беседах со служащими ФСС выяснилось, что вся операция интернирования происходила с сильным отклонением от основных положений главного командования в сторону нежелательной импровизации, и отклонения эти лежали на совести тех, кто всю страстность своей не-английской натуры вкладывали в желание отомстить и уничтожить. Не надо забывать, что пресса союзников, до Эрленбурга включительно, старалась вдохнуть своим солдатам ненависть к немцам, в чем особенно выделялась хотя и бульварная, но сильная печать Англии и США. Все немцы считались Наци и подлежали уничтожению. Этим вторая мировая война, начавшаяся на основаниях национальных претензий Германии на востоке против Польши и СССР, перешла в стадию политической войны демократии, включая и СССР, против диктатуры Гитлера. Поэтому было необходимо назвать всех немцев Наци, а Советы демократией и создать законы, имевшие обратное действие, для расправы с политическими противниками. Над этими вопросами, как и у нас, никто из военных, конечно, не задумывался, но после войны, при относительном бездействии оккупационного периода и в соприкосновении с действительностью, пришлось в официальную точку зрения внести многие коррективы, оставив грязную работу необходимой ликвидации тем, кто этой деятельности жаждал и, наконец, ее дождался.

С первых же переговоров о поступлении на службу, я был поражен дружеским и предупредительным отношением к

себе. Не знаю, возможно ли что-нибудь подобное где-либо, но, заведомо зная, кто я такой, меня приняли на службу в учреждение, где почти все делопроизводство было секретным, и где я мог встретиться с теми, кто меня в свое время арестовывал или допрашивал. Не думаю, что причиной этому была моя личность; скорее общее безразличие и потеря всякого интереса к службе по окончании войны, свойственная, впрочем, всем непрофессиональным военным.

Другим интересным фактом было то, что на мои плечи сейчас же свалилась вся канцелярия, т. к. молодежь, как и всякая другая, хотела жить, а я хотел отдохнуть. Это дало мне возможность не только изучить архив и все сложное и зачастую противоречивое и неясное «законодательство» и технику интернирований, но и лично, за неимением кого-либо другого, провести ликвидацию отдельных постов ФСС и их архивов. Не обошлось и без курьезов. Когда я, в сопровождении двух английских солдат-носильщиков, приехал забрать архив ФСС в Фельдкирхен, то в здании суда меня встретил наш бывший тюремщик с ключами от бывшей канцелярии, отшатнулся от меня и сказал: «Вот видите, г-н майор, я же говорил вам, что вы еще приедете меня арестовывать!»

Архивы, относившиеся к интернированию, были официально уничтожены в 1950 г., и никаких справок по этому вопросу никому не давалось, даже местным властям, которые иногда в этих справках нуждались для дополнительных данных австрийских политических процессов.

Случайно сохранившаяся инструкция говорит, что оккупационным властям, видимо, будет очень трудно определить потенциальных интернированных, так сказать, отделить «плоды от плевелов», и что в этом вопросе следует проявить собственное здравое суждение. Не нужно забывать, что самый подход к этому вопросу является различным для Австрии и Германии. Нужно помнить, что целью интернирования является перевоспитание, а не наказание.

Разительный пример того, как могут самые лучшие намерения быть применены в самом худшем виде!

Перевоспитание... Предположив по официальной точке зрения, что все интернированные были действительно трудно исправимыми Наци, их соединили вместе на долгое время в лагерях, где они познакомились и подружились друг с другом. Им создали скверные моральные и физические условия жизни, способствовавшие их спайке, и назвали это перевоспитанием, вместо того, чтобы распылить их всех в толще аполитичного населения, которое считало бы их виновниками происшедшей катастрофы.

Наказание... Произошло как раз то, чего хотели избежать, и интернирование превратилось в коллективное наказание не только интернированных в Вольфсберге в количестве 8—9 тысяч, но и для их семейств, затронув, скажем, в итоге 50 тысяч населения. Если к этому прибавить интернированных в американской зоне, то цифра в 100 тысяч населения, затронутого этой мерой, представляется скромной и отражающей действительность.

Аресты Наци вначале были приняты населением с некоторым удовлетворением; во всяком случае, оно выражалось в печати, как должное возмездие виновникам всех бед, но, когда это возмездие затянулось, а оккупационные войска в восточной зоне продолжали безнаказанно притеснять население, отношение это превратилось в общее сочувствие к интернированным и их семьям, и с тех пор марки «Вольфсберговца» в Австрии стыдиться не приходится, скорей ею гордиться, как этапом жизни самой угнетенной части австрийского населения.

Вот к чему привело интернирование перевоспитания, рассматриваемое ретроспективно.

Что же от всего этого осталось теперь, спустя больше чем десять лет?

Тяжелые годы, непосредственно следовавшие за капитуляцией Германии, годы морального упадка и физических

лишений, были проведены в интернировании, и, как парадокс, многие сохранились за это время, как сардинки в коробке. Произошла (еще раз в нашей эмигрантской жизни) крупная переоценка ценностей, ибо было достаточно времени многое переумать и, несмотря на колючую проволоку, многое увидеть и пережить. Приобретены были связи и знакомства, а главное — настоящая дружба, рожденная в лишениях и неизвестности будущего.

Вольфсберговцы разбросаны теперь по всей Западной Германии и Австрии от Гамбурга до Клагенфурта, узнают друг друга с первых же слов, не имеют никаких политических амбиций и об'единений, но в некоторых центрах открыто встречаются за стаканом вина и при случае помогают друг другу и семьям погибших морально и материально. Все заняли свои прежние профессии и в них преуспевают. То же произошло и с тысячами американских интернированных в районе Зальцбурга, которые даже официально создали свое общество взаимопомощи, и которые, при встрече с Вольфсберговцами, являются их дорогими гостями и товарищами по беде, уже давно прошедшей.

Г. Г.





**Ординарец Петр. С.
(«Варяг»).**

ВСТУПЛЕНИЕ.

Общее название этой книги — «Вольфсберг — 373», но исходной точкой моего жизненного пути до этого «вольфсбергского периода» являлась Вена в январе 1945 года.

Столица Австрии в те дни была переполнена многоязычными, разнородными беглецами от коммунизма, отступившими из уже занятых красными областей и стран. В Вене находились не только белые беженцы, не только «осты», привезенные на работы, не только военнопленные, копавшие окопы и заграждения вокруг города или служившие «иванами» при немецких частях. В Вене находились русские и сербы, не хотевшие, в полном смысле слова, сложить оружие и перейти в ведение пресловутого «Арбейтсамта».

Тогда еще не все было потеряно. Казалось, что весна должна принести новые силы в борьбе против красных.

В еще не занятой коммунистами части Югославии находился близкий нам по духу Русский Корпус под командой полковника А. И. Рогожина. В Хорватии боролся Казачий Корпус генерала Хельмута фон-Паннвиц. В Словении отрядами словенских домобранцев командовал генерал Лев Рупник, словенскими же четниками — генерал Прежель. В Иллирской Бистрице находился штаб сербских добровольцев Димитрия Лютича,

под командой которого было пять, полного боевого состава, полков. На территорию Истрии пришли большие четнические отряды из Далмации, войвод Евджевича и Джуича. И одновременно в Любляне русские офицеры, во главе с полковником М. А. Семеновым, делали большое, серьезное дело, создавая из одного батальона 1-й Русский полк «Варяг», в составе 1500 бойцов.

Этот полк создавался, если можно так сказать, за спиной у немцев, хотя и входил в состав немецкой армии. В полку не было ни одного немца, начиная с командира полка и до последнего солдата. Команды подавались на русском языке. Над казармами развевался огромный русский флаг, со знаком РОА посередине. На рукавах форм были нашиты эти же значки.

Полк пополнялся до комплекта добровольцами, которых привозили вербовщики. Одним из вербовочных центров была Вена, в которой, как уже сказано, находилось много «иванов» и «остов».

Сербы имели свой вербовочный пункт на Воллцелльгассе в отеле «Вейссе Рэсель». Оттуда добровольцы отправлялись в Словению. «Варяг» имел своим центром маленький, в мирное время пользовавшийся дурной репутацией отельчик вблизи Западного вокзала, «Фукс», в двух маленьких комнатках которого иной раз ночевали и жили по двадцать и больше человек, ожидающих прибытия из Любляны курьеров, сопровождавших их к месту назначения.

В этом отеле я встретилась впервые с «варягами». В этом же отеле существовал еще один пункт — место создания «спецкоманды», будущая роль которой держалась в секрете.

Состав ее был завербован из сербов, и единственной женщиной и единственной русской в ней была я.

Инспектор, начальник и организатор команды, сказал нам, что, пройдя срочный подготовительный курс и базируясь на наших способностях и знаниях, мы будем на аэропланах отправлены в районы Сербии, уже занятые красными, где нас,

вооруженных и с радио-аппаратами, сбросят посредством парашютов, для того, чтобы найти контакт с ген. Дражой Михайловичем и затем связать его и его отряды по секретной радиоволне с командованием в Любляне. Положение тогда еще не казалось таким критическим и существовала надежда на освобождение Сербии и создание общего белого фронта на этом плацдарме.

Неофициально, под большим секретом, нам было сообщено, что мы пройдем и курс саботажа, и что, кроме установления связи, нам будет поручено совершать диверсии, взрывать мосты, составы поездов, склады аммуниции и продуктов, при помощи нами же завербованных людей из остатков четнических отрядов и других анти-коммунистов.

После необходимых приготовлений, 25-го января 1945 года, с группой новых добровольцев, отправляемых в Люблян у в полк «Варяг», и с двумя сотнями сербов, б. стражников генерала Недича, мы погрузились на поезд и тронулись в тот путь, который для меня закончился в Вольфсберге.

Полк «Варяг» получил распоряжение принять нашу «безымянную» команду, дать нам квартиру и обеспечить питанием. Полк же нам создал техническую возможность срочно проходить курсы, снабдив инструкторами и боевым материалом.

С нами целыми днями занимались радисты, обучая пользованию маленькими коротковолновыми радио - аппаратами парашютистов. Стрелковые занятия, умение обращаться с легким, разбирающимся оружием, с подрывным материалом и т. д. мы проходили под наблюдением специалистов. Казалось, что вопрос нашей отправки налаживается. Однако, положение менялось, и через полтора месяца нам стало ясно, что роль «команды» бесславно закончена. Никуда нас не пошлют. Война явно подходила к концу, и красным уже заранее была подарена вся Югославия. Нам всем нашли кое-какое применение, и в роли курьера по специальным поручениям я дважды была отправлена для связи с льотичевцами. На втором пути была ране-

на во время обстрела автомобиля партизанскими «тиффлигерами» — аэропланами-малютками, специализировавшимися в пиратских нападениях на все движущееся по дорогам и полям.

Приблизительно с моим выходом из военного госпиталя совпало начало всеобщей белой трагедии: полный крах немецкой армии, капитуляция и исход военных частей и беженцев из Югославии в Австрию.

Описание этого периода у меня идет отрывками, как вкратце когда-то было записано в небольшой тетрадке. Этому периоду я посвящу первую часть книги.

Мне хочется выразить свою глубокую признательность и благодарность моему большому другу, майору Г. Г., свидетелю всего нами пережитого, за его деловое и охватывающее положение того времени предисловие. С благодарностью читаю его посвящение мне на подаренной фотографии:

«Человеку, солдату и другу в память вместе пережитых дней».

С разрешения майора Г. Г., я посвящаю этот свой скромный труд ему.



ОТРЫВКИ ИЗ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

ДРУГ БОЕВОЙ.

...Начался «великий отход». Отступление перед победившим злом. Югославия, до самых ее границ с соседними государствами, стала добычей Тито.

Отступление без боев, по приказу. Вспоминаются последние, предшествующие отходу лихорадочные дни и слова одного из офицеров, провожавшего глазами первые отходящие части: — Театральный раз'езд начался!

Эта фраза была бестактной и не подходящей к моменту, но она как бы поставила жирную точку и подчеркнула полную безнадежность и туманность будущего.

Приготовления к отступлению шли быстрым темпом. У нас, в казарме, на плацу и напротив, у немцев команды ХИПО, жглись документы, переписка, секретные архивы. Люди были мрачно возбуждены. Это было не бодрое, приподнятое возбуждение бойцов перед отходом на фронт, а мрачное, замкнуто-молчаливое напряжение. Каждый из нас как бы боялся поделиться с другими своими мыслями.

За день перед отходом пришел с позиций срочно отозванный полк. Рота за ротой, походным маршем они совершили длинный путь. Запыленные и усталые, с разбитыми, ногами,

они вливались в казарму и задавали недоуменные вопросы: — В чем дело? Что случилось? Ведь на «нашем» фронте дела прекрасны! Полк наступал, нанося тяжелые удары красным партизанам. Они отступали по всей линии...

Трудно и грустно было сказать этим людям, что пришел приказ: «борьбе — конец». Капитуляция.

Недоумение сменилось тревогой. Отступить? — Куда? — Сдаваться? — Кому? — На каких условиях? — Что же будет дальше?

Некоторые старые эмигранты отнеслись к этому если не оптимистически, то все же с некоторой надеждой. Если удастся сдать англичанам и американцам, то ничего страшного не ожидает. Только бы избежать лап «соотечественников».

Бывшие подсоветские насупились. От них первых мы слышали зловещее слово: «Выдадут!»

Услышали, но как-то не поверили. Разве это возможно?



Целый день суеты и забот. К вечеру разболелась у меня нога. Рана уже зажила, но оставшийся под коленной чашечкой осколок давал себя знать.

Любляна казалась затихшей и настороженной. На улицах не видно было ни штатских ни женщин. Куда-то носились военные машины, сновали домобранцы и наши. Особое возбуждение чувствовалось среди немцев. Для них война была закончена; личная жизнь сохранена. Перспективы любого пленника, поскольку они не служили в частях «Эсэс», не пугала. В казарме у «хиповцев» слышались песни. Весело, с подъемом они грузили свои вещи в громадные грузовики.

Когда ночь спустилась на землю, перед нашими казармами стали выстраиваться ряды обозных телег. Подошли и русские беженцы, вместе с нами оставлявшие насиженные места. Собрались и немногочисленные семьи «варягов».

Первыми должны были отбыть обозы первого и второго разряда. Возницы деловито осматривали упряжь и похлопывали лошадей. Устав за день, я прилегла на одну из телег. Надо мной — темный купол майского неба. Ни дуновения ветерка. Звезды мигают ласково и нежно. Как хороша природа, и как отвлратителен кажется человек...

Тишина. Странная тишина, полная звуков. С дорог, уводящих вдаль, доносится скрип колес, глухая работа моторов грузовиков, шлепанье танков, глухой гомон отступающих частей и беженцев и встревоженный лай собак. И все же это — тишина. Затишье перед бурей.

Отступают тысячи, десятки, сотня тысяч. Идут наудачу, наугад бойцы, обозы боеприпасов, обозы Красного Креста, колонны беженцев. Идут по пути, ведущему через ущелья гор к Драве, к Австрии.

Забрезжила заря 8-го мая. Подошел и наш черед выступить и влиться в общий поток. Кто-то прочел молитву. Возницы перекрестились и погнали лошадей.

Город спал, или притворялся спящим. Из-за каждой занавески чувствовалось притаенное дыхание, из-за каждого окна — напряженный и не всегда доброжелательный взгляд. На окраине, туда, к Студенцу, что-то горело, и зарево румянило небо, но стрельбы не было. Она прекратилась со вчерашнего вечера.

Полк должен был выступить после нас. Наши дороги идут вместе до города Крань. Оттуда мы пойдем на Клагенфурт, а они, по особому назначению — очищать другую дорогу для отступающих частей и беженцев.

На душе неспокойно. С полком уходит мой племянник, единственный сын сестры, красивый, веселый, храбрый... За последние месяцы службы под одними знаменами он мне стал ближе и дороже, чем когда-либо. Тяжело расставаться с ним,

уходящим в неизвестность — тяжелее, чем когда он был на фронте: там — судьба солдата, а здесь — коварство...

Только что вышли за заставу города, как сразу же включились в непрерывный поток отступающих людей. Перед нами идет 2-ой полк сербских добровольцев, за нами — словенцы домобранцы под командой майора Вука Рупника, сына генерала. У всех идущих сосредоточенные, пепельно-серые лица и затаенная тоска в глазах.

Иду, прихрамывая, и прислушиваюсь к разговору солдат обоза первого разряда. Курносенький веснучатый мальчишка «оттуда», из «подсоветчины», как он говорил, гнусаво скулит:

— И чаво так отступать перед этими с... с...? И чаво без бою все отдавать? Сколько в боях наших погибло задарма! Глянь, какая сила ползеть! Собраться вместе в кулачину, да и вдарить им по красному носу...

Да. Вчера еще все они боролись, видя только один исход борьбы — победу или смерть. А сегодня постепенно начинают превращаться в серую, никому не нужную массу.



Третий день отступления по палящему солнцу. Дорога узкая — не разминуться большим грузовикам. Плетемся черепашьим шагом. Между военными частями вклинились беженские тачки и детские колясочки, до отказа нагруженные скарбом. Большинство — словенцы, впервые знакомящиеся с тягостями бегства, семьи домобранцев и четников, знающие, что и им нет пощады от партизан.

Справа отвесные, раскаленные, как утюг, скалы, слева — узенький крутой бережок и шумная, хоть и мелкая, горная речонка. За ней, по ту сторону, — опять отвесная скала. Идем по ущелью.

Где-то там, на вершинах, мы знаем, идут словенские четники, вооруженные до зубов. Они нас сопровождают, оберегая от возможных предательских нападений партизан. Для поддержания связи, эти рожденные альпинисты, не боящиеся тяжелого перехода, и днем и ночью пускают сигнальные ракеты.

На пути, по краям дороги, находим брошенные оружие и аммуницию. Офицерские револьверы, драгоценные для нас автоматы, новенькие карабины и даже пулеметы. Это немцы «разгружаются». Для них война закончена. «Фрицы» не хотят тащить лишний груз. Важнее бутылка итальянского коньяка, полученная из разгромленного склада.

Наши солдаты, сербы и словенцы все подбирают, на ходу осматривают, чистят и, что не могут нести, складывают в телеги.



Прошлой ночью, за время короткого отдыха перед г. Кранем, простилась я с племянником. Поцеловала быстро, прижала к груди и оттолкнула. Боялась слез.

Сегодня в пути его загорелое мальчишеское лицо все время маячит передо мной. И слышатся его слова: — Ничего, тетка! Встретимся. Если не здесь, так «там», у Бога. Там нас дедушка ожидает...

Молодой крепкий фатализм и глубокая вера в Бога...

За ночь «спутники» переменились. Сербы отстали. Перед нами оказались влившиеся в Кране новая часть немцев и венгры. Сзади — французские и румынские «эс-эсы». За ними — первые части Русского Корпуса.

Люди уже устали и вымотались. Если бы это был нормальный марш! Идем — останавливаемся. Тронемся — и опять стой! Дорога становится все уже. Колонну задерживают волы упряжки беженцев, откуда-то вклинившихся в общий

поток. Белые, длиннорogie словенские волы едва тянут ноги. Устали и лошади. Многие из них тащат поклажу не три дня, как наши, а уже неделями, идя из Хорватии. Путь каменистый, местами на протяжении километров покрытый острым щебнем.

Ползут по колонне тревожные вести. Перед нами Лойбл-пасс, горные переходы и длинный туннель. Говорят: за туннелем нас ждут пулеметы коммунистов. Кто из него первый покажется — огонь прямо в лоб. Отступить некуда, потому что сзади будут нажимать другие...

Говорят также, что партизаны стоят у предмостья через Драву на самой границе Австрии. Большие части, хорошо вооруженные. Имеют даже танкетки...

Рассматривают карты. Перед Дравой негде развернуться и принять бой. Беженцы создают паническое настроение. Говорят: — идем прямо в жерло мясорубки.

У немцев «плевательное» настроение. Многие из них пьяны, как стельки. Выменивают по дороге казенное имущество на бутылку словенской ракии или яблочного крепкого вина.



В два часа дня колонна окончательно остановилась. Нет даже маленького продвижения, однако приказано не расходиться. Жара невыносимая. Лучи солнца, отражаемые камнем, палят безжалостно. Рукзаки давят спины и плечи. Ноги нестерпимо горят в грубых, гвоздями подкованных горных ботинках. Пот попадает в глаза, смешивается с пылью и раз'едает веки.

Простояли больше часа. Наконец, пришло разрешение, не выпрягая, напоить лошадей. Возницы сбежали по крутому, каменистому берегу к речушке, зачерпнули ведрами ледяной воды и принесли лошадям, нетерпеливо ржущим и шлепающим губами.

Я попросила разрешения сойти к берегу. Цепляясь за ивы и вербы, скатилась к реке. Оказывается, я тут не одна. Высокий немец с нашивками фельдфебеля, в изношенной форме, грудь которого украшена ленточками орденов и знаками отличия, не снимая ботинок, стоял в воде, расхолаживая ноги. Я последовала его примеру. Стала выше щиколотки в реку и почувствовала наслаждение. Ледяные речные струи постепенно расхолаживали жар и успокаивали боль.

По-дружески и благодарно я улыбнулась худому верзиле, но его лицо сурово, потрескавшиеся от жары губы крепко сжаты. В пустых глазах, полускрытых запорошенными пылью ресницами, нет даже искорки доброжелательства.

За нами послышался хруст ветвей, грохот скатывающихся камней. Обернулась и посмотрела: лошадь. Нет, разве можно назвать лошадью этого измученного старого одра? Худая — кожа да кости. Седая морда, отвисшие губы, обрамленные засохшей пеной. Полуслепые глаза затянуты лиловой пленкой и плотно обсижены оводами. Холка и круп до голого мяса растерты постромками.

Шаг за шагом несчастная брела к воде. Узловатые колени не сгибаются. На копытах, стертых до крайности, нет подков. Она нас не видит. Она не видит и воду, но идет к ней наугад, ведомая нюхом, инстинктом и мучительной жаждой. Дыхание со свистом вырывается из ее легких, вздымая облезшие бока.

Острый щербень катится под сбитыми копытами. Тянет-ся вперед тощая шея. Дрожат ноздри, чуя близость хрустально чистой, холодной воды. Роями над ней взлетают и опять при-никают к ранам кровопийцы-оводы.

Наконец, она подошла ближе. На левой части крупа — военное тавро и год. Сколько лет верой и правдой служил этот конь, боевой товарищ, для того, чтобы его сегодня, ненужного,

ни на что не способного, распрягли и бросили на каменной дороге под палящими лучами солнца...

Как замороженная, стою и смотрю. Наконец, несчастная доплелась до воды. Вошла в нее передними ногами, качаясь, шагнула по скользким булыжникам и протянула шею. Не сгибаются старые колени, не достают губы до воды.

Мне на всю жизнь запомнился этот случай, эта картина. И моя беспомощность. Мне было до слез жалко лошадь, но я не могла прийти к ней на помощь. Со мной не было ни шлема ни котелка, напоить не из чего. Я повернула голову к долговязому немцу и через пелену наворачнувшихся слез увидела, что его лицо искажено ненавистью. Сорвав с себя пилотку, он в два прыжка оказался около лошади. Зачерпнул пилоткой воды и, крепко держа ее в пальцах обеих рук, поднес к губам овра.

Пилотку за пилоткой жадно выпивала лошадь. Из ее полуслепых глаз катились крупные слезы. Слезы благодарности? Слез страданий, причиняемых сохшемуся горлу льдом обжигающей водой?

Я стояла беспомощная и ненужная. Мне было стыдно за то, что я сразу не догадалась, как помочь страдающему животному. Попробовала что-то сказать, но немец не обращал на меня внимания. Напоив, он стал гладить по шее несчастную лошадь. Заглядывал в лиловую слепоту глаз, шептал ласковые слова в обвисшие уши. У него дрожали руки. С бледного, несмотря на загар, лица, исчезла поразившая меня ненависть. На нем были написаны глубочайшая нежность, сострадание и еще что-то, что я не сумела тогда разгадать.

...Резкий звук сигнальных свистков подал сигнал к маршу. Я сделала несколько шагов к скрывающим нас от дороги деревьям и обернулась. Немец и дальше ласкал коня, цело-

вал его в звездочку на лбу и тихо улыбался какой-то задумчивой и вместе с тем детской улыбкой.

— Камерад! — тихо позвала я. — Нас зовут. Колонны уже движутся. Идем, камерад!

Фельдфебель повернул ко мне лицо, и оно опять искажилось ненавистью.

— Ге - вег! — крикнул он. — Убирайся вон! Какое тебе до меня и до этого боевого товарища дело? Мы оба больше никому не нужны. Бойня закончилась. Мы сделали наше дело до конца. Нам больше некуда спешить! Слышишь? Убирайся!

Он нагнулся, схватил большой булыжник и угрожающе замахнулся на меня.

Мне стало больно и обидно. За что?..

Круто повернувшись, цепляясь за ветки вербы, я полезла на дорогу. Наши еще не двинулись. Пока двинется вся эта змея, составленная из людей, скота, телег и машин, пройдет не мало времени. Мимо нашей колонны на взмыленном, но еще упитанном и бодром коне проскакал командир обоза,

— Гото-овьсь! Марш-марш! — крикнул он зычно. Скрипнули колеса телег, и в этот же момент, один за другим, раздались два сухих хлопка — как щелканье бича: два коротких револьверных выстрела. Река эхом пронесла звуки, откликнулись и несколько раз повторили горы. Я первая сорвалась с места и скатилась по камням к реке. За мной горохом посыпались солдаты.

Все еще сжимая в руке револьвер, в воде, на камнях, последней судорогой дергалось тело немецкого фельдфебеля. Рядом, обагрывая кровью реку, застреленный в ухо, уходящей жизнью трепетал конь.

Конь боевой и его неизвестный друг — солдат. Для них закончилась борьба, и им некуда было больше спешить.

ЛОЙБЛПАСС — ВИКТРИНГ.

...Всю дорогу мы поражались, почему на нас не нападают и не преследуют красные партизаны. Шли мы без прикрытия, если не считать группки словенских четников генерала Андрея Прежеля, которые нас невидимо сопровождали по вершинам придорожных гор. Ночью связь с ними становилась ощутимой. На черном, бархатном небе взвивались их сигнальные ракеты, говорившие нам: «путь чист». Конечно, в те дни нам и в голову не приходило, что наша судьба была уже предрешена и подписана, и что партизаны были заверены, что они получают свою часть добычи — человечину, дичь для своих пулеметов, без затраты усилий и возможностей потери в бою их «драгоценных жизней».

...Приближались к австрийской границе. Дорога все время шла в гору. Серпентином вилась лента отступающих. Издалека мы заметили черное жерло — вход в туннель. Голова колонны замялась перед входом. Остановились, не рискуя войти в пасть этого неизвестного чудовища. Никто не знал, что нас в туннеле и при выходе ожидает. По колонне поползли слухи быстрее, чем по полемому телефону: — Туннель минирован... За туннелем большие части партизан!

Ползти к Лойблпассу по вьющемуся зигзагом шоссе не хотелось. Многие пешие выделились из колонны и пошли в гору наперерез. Путь был крутой, скаты поросли терновником и бессмертником. Кое-где попадались кустики душистой альпийской, бледно-лиловой эрики. Шли, подпираясь дубинками и цепляясь за колючие кусты. Ко мне присоединились молодой голубоглазый гигант - голландец, старый итальянец - фашист и хорошенькая мадьярка в форме капитана. Между собой мы объяснялись на не совсем чистом немецком языке, перемешивая его своими словами. Получалось впечатление разговора людей, бегущих из вавилонской башни. Мысли у всех нас были мрачные и безнадежные, и все же, несмотря на общую обреченность, чувствовалось, что над ними не висит такой дамоклов меч, как над русскими.

Сильно опередив наш отряд, я присела на солнцепеке, смотря на толчею и пробку перед входом в туннель. Заминка кончилась. В черное отверстие вошла группа добровольцев-разведчиков, которые сигналами давали знать, что путь свободен, и мин не замечается.

Потянулись. Покатилась волна людей, с яркого света входя в полную тьму. Не помню, сколько времени мы шли через туннель, освещая путь карманными фонариками. Проход казался нам бесконечным. Своды и стены туннеля не были обшиты. С них потоками лилась подпочвенная вода. Шли почти по колени в жидкой, чавкающей, скользкой грязи. Люди и лошади скользили и падали. Автомобили застревали, тонули; их вытягивали людской силой, бросая под колеса шинели, винтовки, целые чемоданы — все, что попадалось под руку. В крошечном мраке свет фонарей казался глазком светлячка. Тут же делали факелы из тряпок. Многие светили простыми зажигалками и спичками. Ругань на всевозможных языках, проклятия, храп лошадей, временами их визгливое ржание глухо

отдавались в сводах, повторялись эхом и сливались в общий гомон. Кто-то где-то выстрелил. На момент все застыли, а затем с новой силой и напряжением двинулись вперед, толкаемые наседавшими сзади.

Пеших, главным образом стариков, женщин и детей, подхватывали и сажали в и без того перегруженные обозные телеги.

Голова нашей колонны давно уже выползла на солнце и, не встретив никаких партизан, расположилась направо и налево от пути, приводя себя и упряжку в порядок, а хвост все еще, как змея, поднимался в гору.

Ослепительно яркое и радостное, встретило нас солнце. Скрип колес слился с шелестом листвы деревьев, обильно росших по эту сторону горы. Сонмы птиц перекликались, посвистывали и пели. С шумом падала по камням бурная, пенящаяся и искрящаяся вода большого водопада; яркой радугой сиял ореол его брызг. Туристы всего мира съезжались сюда посмотреть на прекрасный Лойбельский проход и его водопад. Несмотря на всю тяжесть нашего положения, и мы не могли оторвать от него взор. Казалось, что в этом чудесном краю огромное, сияющее слово ЖИЗНЬ отсвечивало и откликалось со всех сторон...

Дорога стала спускаться. Идти было легче. Люди приободрились, начали шутить и смеяться. Солдаты отпускали свои грубоватые остроты. Из нашей колонны выделился открытый автомобиль — Опель, с знаком РОА на дверцах и флюгаркой Освободительной Армии на радиаторе. Пользуясь более широкой дорогой, он быстро двинулся вперед. Майор Г. Г., помощник командира полка «Варяг» по оперативной части, деливший с Краля с нами нашу судьбу, поехал искать возможности соприкоснуться с западным победителем, чтобы устроить сдачу «на наиболее выгодных условиях». С ним в машине были

офицер-ординарец С. П., шофер Анатолий Г. и ординарец Петр С.; оба — подсоветские, но верные и храбрые ребята.

Тихо подкрадывалась ночь; спускались сумерки. Мы двигались, замедляя шаг, для того, чтобы найти место для ночевки. Завтра, если Бог даст — Австрия.

Присоединившаяся к нашему отряду в Любляне сестра милосердия, латышка Ленни Гайле, заняв у кого-то из офицеров лошадь, верхом заезжала вперед и возвращалась, принося новости. Из одной «разведки» они принесла неприятный слух: на дравском мосту стоят партизаны и требуют, чтобы мы сдавали им оружие. Послали на мотоциклетке молоденького курьера. Весть — увы — подтвердилась. Идущие на сей раз за нами горные стрелки — австрийцы равнодушно пожали плечами. Не все ли равно, кому сдать ненужное оружие? Дом близко. Хуже не будет. Они — не немцы, не «наци». Они — мобилизованные.

У нас началось волнение. В голове просто не умещалась мысль, что оружие придется сложить перед заклятым врагом. Это было и позорно и недопустимо.

Сгруппировались для совещания. Трудно было что-либо быстро решить без майора Г. Г., уехавшего вперед. Однако, общим мнением было — не сдаваться.

Не дожидаясь решения, наши солдаты стали на руках, заноса, поворачивать телеги. Стали на месте, как утюги, разворачиваться и грузовики. Идущие впереди и сзади прислали нарочных с вопросом: — Что это делает «Варяг»? Ответ был краток: — Сдаваться красным не будем. Поворачиваем оглобли и уходим в горы. Будем бороться до последней пули, до последнего человека!

Решимость «варягов», как электрический ток, пробежала по колонне. Вскоре мы знали, что не мы одни уйдем в горы: с нами уйдут все русские, все сербы и словенцы.



По-южному, быстро, темнело. Движение было остановлено. Отчасти виной этому послужил наш демарш. Воспользовавшись географическими возможностями, стали устраивать короткий бивуак. Наши распрягли лошадей. Солдаты присели и, получив консервы, стали «вечерять». Вблизи, у словенцев, совсем тихо; под сурдинку кто-то заиграл на гармонике старинную, мне хорошо известную грустную песню, тоску девушки, жених которой не вернулся с войны...

Я присела у небольшого костра, который разложили возницы. Внезапно со стороны головы отступающих появился военный фольксваген. На моторе боком сидел высокий офицер, одетый в камуфляжную куртку без обозначения чина, с «бергмютце», низко надвинутой на глаза. Шофер останавливал машину перед каждым отрядом, и офицер кричал: — Прошу вытянуться в одну линию, прижимаясь к горной стене! Будьте дисциплинированы и держите порядок... Дайте дорогу танкам, которые продвигаются от хвоста колонны... Они пробьют партизанскую пробку перед мостом через Драву!

Приказ был сейчас же переведен на русский язык, и наши солдаты оттянули телеги и отвели машины к правому плечу дороги, стараясь оставить, как можно, больше места. Офицер, заметив, что я говорю по-немецки, приказал мне сесть к нему в машину и переводить его приказание стоящим за нами сербам и словенцам. Мы проехали с ним несколько километров и затѣм вернулись назад, проверяя, все ли исполнили приказ. Проезжали и мимо немецких частей, среди которых была автокоманда, состоявшая из многих тяжелых, доверху нагруженных машин. На обратном пути натолкнулись на странную картину. Один из грузовиков этой команды стоял поперек дороги. Ярко горели его фары. Перед носом машины маячил пьяный фельдфебель с бутылкой коньяка в руках. Офицер

остановил свой фольксваген и резким тоном крикнул приказание немедленно убрать грузовик с пути. Фельдфебель, раскорячив ноги, замахнулся бутылкой и, гадко выругавшись, послал его в отдаленные места: — Ш..., — сказал он. — Война закончена. Какие к чорту танки! Никому я дорогу не дам. Никто раньше меня отсюда не уйдет! Дудки!

— С дороги! — рывкнул офицер, соскакивая с автомобиля. — Вон, свинья!

— Сам свинья! — тем же тоном ответил пьяный. — Кто ты такой, чтобы мне приказывать?

Рванув застежку куртки и показав ромбики, офицер осветил себя карманным фонариком и тихо, с угрозой сказал:

— Я — хауптштурмфюрер (капитан Эс-эс) фон-Кейтель! Уберите сейчас же грузовик!

— А? Племянничек фельдмаршала? Иди и ты, и твой дядя.....

Фон-Кейтель вырвал револьвер из кобуры и одним выстрелом уложил на смерть фельдфебеля. Тело грузно опустилось на землю, и бутылка коньяка разбилась вдребезги о камни. Откуда ни возьмись, появились шоферы автокоманды, и в момент выпяченный грузовик был подравнен к стене. Кто-то оттащил мертвеца в сторону.



Капитан вернулся к своему автомобилю молча, насупленный, неловко засовывая револьвер в кобуру. Прыгнул на мотор рядом со мной и, не глядя в мою сторону, как бы оправдываясь, сказал: — Чего не приходится делать ради дисциплины!? Сами понимаете... Что бы было, если бы я ему спустил? В момент, когда все ломается и тонет — дисциплина прежде всего.

Он подвез меня к обозу «Варяга» и, прощаясь, крепко пожал мне руку, поблагодарил за помощь и тихо прибавил: — Не думайте, что мне это было приятно!

●

...Костры не зажигались. Колонна затихла. Было слышно только позвякивание уздечек, крики ночных птиц и тихое посапывание задремавших солдат. Я лежала под телегой, стараясь тоже хоть немного поспать; вдруг почувствовала подрагивание земли и затем услышала далекий гул. Минут через десять, сотрясая каменную почву, мимо нас полным ходом промчались четыре больших танка типа Тигр и за ними полуэскадрон конницы. Они шли пробивать партизанскую пробку и спасти нас от сдачи оружия красной нечисти.

Вскоре раздалось далекое уханье орудий, треск пулеметов и взрывы ручных гранат, и вспышки, как зарницы, румянили небо за горами.

Еще не рассвело, как по колонне был передан приказ: срочно запрягать лошадей и двигаться. Сообщили, что к полудню мы должны перейти мост через Драву, это последний срок нашего беспрепятственного выхода из Югославии в Австрию. После этого времени «перемирие» кончается, и партизаны будут сами «чистить» свою территорию. Курьеры рассказали, что танки и немецкий полуэскадрон «Эдельвейс», состоявший из русских и имевший русского командира с немецкой фамилией, разбили партизан, оказавших отпор, и очистили нам путь. Все приободрились и, отдохнувшие за ночь, хотя и промерзшие и отсыревшие, бодро двинулись вперед. Нас всех обрадовала весть, что наш майор не попал в руки партизан, как мы боялись, а переехал через Драву и направился в Клагенфурт, где находился английский штаб.

●

Нас торопили. Кто-то уже встретился с англичанами и передал их приказ сдать за Дравой оружие. Последним сроком оказался не полдень, а семь часов вечера, но нужно было думать о том, что за нами километрами тянется хвост, тысячи людей, которые должны успеть до сумерек уйти из Югославии. Темп марша ускорился. Вниз, под горку, лошади бежали рысцой. Пешеходы тоже сбегали на крутых местах и старались резать дорогу напрямик. Все пытались не думать о сдаче оружия. Во всяком случае, она не казалась такой неприемлемой, как капитуляция перед партизанами.

Нам навстречу попались сербские четники в черных папах с шлыками и серебряным черепом вместо кокарды. Они скалили в улыбке сахарно-белые зубы, ярко блистали глазами и сообщили новую версию: — Сдавать оружие мы не будем. Наоборот! Отдохнем немного в Клагенфурте, получим новые формы, аммуницию, пополнение вооружения и двинемся обратно в Югославию бить титовцев.

Вспоминается, как каждая подобная весть принималась с легкомысленным доверием. Мы все цеплялись за миражи, старались убедить себя в невозможном и, как дети, стремились отдалить, оттянуть встречу с действительностью.

Подшли к Дравскому мосту. Перед ним и на улочках села Ферлаха все еще валялись трупы партизан и их лошадей, разбитые минометы и разбросанное оружие.

Танков и полуэскадрона Эдельвейс — и след простыл.

На предмостье опять пробка. Сверху, где мы остановились, видно, как часть за частью переходит мост и на том берегу Дравы сдает оружие. Около кучи сброшенных карабинов, пулеметов, минометов, револьверов и рассыпанной аммуниции стоят высокие, как цапли, длинноногие солдаты в английских формах, с пучками зеленых перьев на беретах. Нам

сказали, что это — ирландцы. Народ хороший и покладистый. Солдаты смотрели на них с недоверием и чесали затылки.

Описать чувство человека, сознательно сдающегося в плен, бросающего оружие, очень трудно. Для многих это — момент, близкий к самоубийству. Некоторые не выдержали. Раздалось несколько выстрелов совсем недалеко от нас. Мы видели падение тел застрелившихся...

Шли вперед, утешая себя мыслью, что мы сдаемся не красным, а представителям культурного народа, нашим бывшим союзникам в прошлую войну, которые безусловно знают разницу между белыми и коммунистами, и чувства которых должны быть на нашей стороне.

Разоружение происходило без обыска. Подходили или под'езжали и бросали во все растущие кучи оружие и аммуницию. Офицерам официально были оставлены револьверы. Но неофициально мы все удержали их. Заматывали в тряпки и прятали в рюкзаки, или подвязывали под телеги. В вещевых мешках были спрятаны разобранные автоматы и даже две легких «Зброев-ки» — пулемета. В овес были закопаны патроны и ручные гранаты. Многие приготовления были сделаны еще прошлой ночью. У меня были два револьвера, мой собственный немецкий браунинг и итальянский Баретт. Его я бросила на кучу, запрятав предварительно браунинг в мешке. Рослый белобрысый ирландец подмигнул весело и, посмотрев вокруг себя, поднял и бросил мне... драгоценнейший полевой бинокль Цейса!

Между отрядами, из-за процедуры сдачи, получались большие прорывы. Двинувшись вперед, мы заметили, что шедшие перед нами ушли далеко вперед. Настроение у нас всех было подавленное. За мной гудел бас казака Василия Глины:

— Жить неохота! Иду, как голый. Какой ты казак без оружия? С Дона не выпускал его из рук, как меня «Фрицы» по-

добрали. Все время боролся. Так в лагерь для военнопленных меня и не отдали, «Иваном» при себе оставили. А чичас што? Как баба!... И, покосившись на меня, смутился и сплюнул в сторону.

Прибавленное непечатное ругательство не смутило в этот момент никого. Все, даже молоденькие «штабсхелферин», ему сочувствовали.

Шли мы, по назначению, переданному командиру обо- за англичанами, на полигон около села Викtring. Перед нами стлалось белое, как мукой посыпанное, шоссе. Плелись нехот- тя. Заворот за заворотом; направо стелются огороды, а сле- ва густой лесок. Совершенно неожиданно из-за деревьев, с хол- ма, на нас ринулась с гиком и воем масса партизан: сотни бо- родатых оборванцев и патлатых мегер, обвешенных пулеметны- ми лентами и ручными гранатами. У всех на кепках, штатских шляпах, пилотках — красные звезды. Некоторые партизанки из-за жары только в брюках и бюстхальтерах. Струйки пота ос- тавляли следы и разводы на грязном обнаженном теле.

Дать им отпор было более чем глупо. Они были во- оружены до зубов и в несколько раз многочисленнее нас.

Партизаны бросились грабить наш обоз. Хватали все, что попадалось под руки. Отнимали часы, срывали кресты с груди. Отвратительнее всего они вели себя среди раненых в нашем обозе Красного Креста и среди беженцев, присоединив- шихся к нам еще в Любляне.

Кто-то не выдержал. Где-то вспыхнула схватка. Ругань. Удар кулаком в скулу. Началась рукопашная, пока еще без применения оружия. На шоссе появилось облачко пыли, и раз- дался треск мотоциклета. Кто-то из партизан крикнул: — Энгле- зи! Англичане! И вся ватага, с ловкостью обезьян, в минуту ис- чезла в зарослях за холмом, унося награбленное.

Мимо нас промчались парные мотоциклетчики — английский патруль. Они не остановились, несмотря на наше махание рук и крики. Решили предпринять какие-то шаги и оградить идущих за нами от подобного нападения. Выделили из колонны фазтон, в котором ехала отступавшая с нами жена командира полка с двумя военнослужащими девушками. Командир обоза приказал сестре Ленни Гайле и мне, в сопровождении лейтенанта Владимира Сл-ко, ехать вперед, постараться добиться встречи с английским комендантом города и доложить о случившемся. Одновременно нам было поручено найти след майора Г. Г.

Путь вел мимо Викtringa. Мы увидели этот огромный полигон, опоясанный лесом и ручьем. Волна за волной, люди и перевозочные средства вливались в этот резервуар. К вечеру на нем собралось около тридцати пяти тысяч человек.



...Английский штаб был в городской ратуше. Нас провели к офицеру связи. При помощи переводчика, доложили о случившемся. Нас расспрашивали долго, разложили перед нами карты, и мы указали приблизительно место нападения. Английский майор с рыжими усами сам назвал поведение партизан «грабежом на широкой дороге». Обещал срочно предпринять шаги, чтобы подобное не повторялось. Расспросили о майоре. С редкой любезностью все тот же майор проверил какие-то списки и документы и заверил нас, что майор Г. Г. здесь не регистрировался, как военнопленный. Записав наши имена, вежливо, но настойчиво он предложил нам не задерживаться в городе и немедленно отправляться на Викtring, где мы будем находиться под защитой английской армии.

Выходя на улицу, мы столкнулись в дверях с партизанами - офицерами. Они окинули нас взглядом с ног до головы и,

увидев на рукавах форм знак РОА, богомерзко выругались. Не успели они скрыться, как за ними в ту же ратушу бодрым шагом, при полном вооружении, вошли... четники. На их рукавах красовались знаки с надписью: «За Короля и Отечество». Еще несколько шагов — и мы натолкнулись на группу весело болтавших советских офицеров, в широчайших погонах, с малиновыми околышами фуражек-листорезов.

В голове шумело. Роились мысли. Что это? Ноев ковчег под командой англичан, где четники и офицеры РОА встречаются с советскими и титовскими бандитами?

Остаться в Клагенфурте не хотелось. Быстро нашли фаэтон, стоявший за углом, и поехали в Викtring. По дороге нас с грохотом обогнал английский отряд — три танкетки и полдюжины мотоциклистов с автоматами на груди. Очевидно, рыжеусый майор принял всерьез наше заявление и послал их очистить шоссе от бандитов.

Наш отряд уже разместился. В этой массе людей его не трудно было найти. В западной части поля уже красовался огромный русский флаг с буквами РОА, поднятый немедленно полковой молодежью, среди которой главным зачинщиком был доброволец 14 лет, сын командира полка, Миша.

Весть о том, что мы не нашли следа майора, немного обескуражила людей. Командиром обоза считался помощник командира полка по хозяйственной части капитан К., грузный, мало подвижный и не энергичный в такой обстановке человек, не говоривший ни на одном иностранном языке. Он устал, его разморило. И он, сняв китель и расстегнув рубашку, уселся в тени своего самого большого грузовика, до отказа набитого провиантом. Кто-то должен был наладить связь с англичанами, заявить о прибытии обозов полка «Варяг». Кто-то должен был сам искать полк, который по плану, составленному в Любляне,

должен был если не раньше нас, то одновременно прибыть в Клагенфурт. Кто-то должен был связаться и с немецким командованием, которое все еще несло за нас ответственность, и с частями, которые прибывали на поле Викtring. От капитана К. всего этого было трудно ожидать. Он был хорош в своем хозяйственном звании, но в создавшемся положении никак не мог считаться «фюрером».

Вслед за нашим отрядом, на Викtring стал входить Русский Корпус. Мы больше не чувствовали себя отрезанными и одинокими в этой многотысячной, разноязычной массе. Вскоре рядом с нами расположились 2-й, 3-й и 4-й сербские добровольческие полки под командой полковника Тоталовича, большого друга русских. Их 1-й и 5-й полки, под командой генерала Мушицкого, из Истрии отступили прямо на Италию.

Прибытие добровольцев приободрило и нас. Они все еще были полны высокого духа, который в них влил покойный Учитель, как они его звали, Димитрий Лютинч, этот лучший из лучших серб, мыслитель и мудрый политик. Строжайше дисциплинированные, связанные братской спайкой и глубокой религиозностью, добровольцы удивительно оптимистически смотрели на положение. Они пришли сюда с убеждением, что они — «гости английского короля», что, отдохнув на Викtringе, они уйдут в Италию, и что там, в какой-то нам неизвестной Пальма Нуова, их ждет молодой король Петр. Петр и — победный марш для освобождения Югославии.

Добровольцы, не передохнув, немедленно приступили к работам. По всем правилам лагерного устава, они разбили палатки, вытянули линии, поставили указательные стрелки и флажки с означением частей. К заходу солнца на середине полигона выстроились в каре три подтянутых и подчищенных добровольческих полка. Была совершена молитва с поминовением

павших друзей и Дмитрия Лютича. По добровольческому уставу, после молитвы, стоявший в середине каре полковник Тоталович громко спросил: — Кто с нами? И из тысячи грудей хором грянуло: БОГ!

Построились и наши на молитву. «Отче наш» отчетливо прочел лейтенант Сл-ко. Стало тихо и грустно-грустно. Опустив головы, каждый молился своими словами, кто как умел. Тяжелыми тенями ложились сумерки...

Горели костры, играя силуэтами сидевших около них людей. Слева от нас словенские домобранцы размещали свои семьи, отступившие с ними в беженской колонне. Где-то плачем заливался младенец. Откуда-то доносились немецкие ругательства. Кто-то кому-то, сложив руки рупором, кричал по-венгерски. Немного дальше на горке расположились румыны-эсесовцы и бок-о-бок с ними небольшая часть французов... Мы построили рядами телеги, натянули между ними, как палатки, одеяла и кое-как пристроились на эту первую ночь.

Неисчислимое количество распряженных голодных лошадей бродило по полю, щипля высохшую, истоптанную траву. Оне сами табуном шли на водопой к ручью, в котором все еще, в полной темноте, плескались и мылись люди. Между рядами спящих мерным шагом проходили патрули ирландцев. Кругом поля с грохотом и гулом блуждали небольшие танки. Их рефлекторы, как глаз циклопа, шарили по всему Виктрингу.

Мы в плену. Пленные. П Л Е Н Н Ы Е ! . .

Какой же сегодня день? Ах, 13-ое мая! Тринадцатое. Мой день рождения -- в плену.



Всю ночь я провела без сна. Смотрела в небо, по которому катились падающие звезды. Прислушивалась к перекликиванию петухов в селе Виктринг. Было так странно видеть за-

рево электрических огней над недалеким Клагенфуртом. Война закончена. Не нужно больше затемнений. Война закончена. А завтра? Что будет завтра? Что будет со мной, с тихо поспывающим вблизи мальчишкой ординарцем, четырнадцатилетним Иван Михалычем, как его все величали, пришедшим с остальными из Советчины, потерявшим по дороге и тятку и мамку? Что будет со всеми нами, тысячами людей, согнанными на это поле, с сотнями тысяч пленных «не немцев», за которыми разрушены все мосты, и сожжены все корабли?..

Плен за проволокой? Как долго? А потом? Кто-то вчера говорил, что мы «а priori» все осуждены на 20 лет каторжных работ на Мадагаскаре. Какая глупость! И почему на Мадагаскаре, где живут черные, как сажа, негры?

Где «Варяг»? Пробился ли он? Что с командиром полка? Что с моим племянником? Куда исчезли наш майор и его сопровождающие?

Вопросы, вопросы, а ответов нет. Ворочаюсь с бока на бок. Лучи танковых прожекторов бороздят и вспахивают поле, как по ухабам, скачут через человеческие темные силуэты. Полковой конь Мишка подошел ко мне, опустил голову, нащупал мягкими «резиновыми» губами вытянутую руку и ласково дохнул в нее теплым, пахнущим свежим сеном, дыханием.

Этой ночью ко мне приползла совсем одинокая в нашей русской семье маленькая датчанка — радистка Герти. Прибилась, как котенок, к моему боку и заснула, тихо поскуливая. Вероятно, ей снилась мама и далекий Копенгаген...

Под соседней телегой слышны приглушенные голоса. Чиркнула спичка. Завоняло махоркой. И мне захотелось курить. Приподнялась на локте, и вдруг, совершенно неожиданно в глазах встала картина: горная река, дергающееся тело за-

стрелившегося фельдфебеля и труп старой лошади. Почему из всех смертей, которые мне пришлось видеть и пережить, именно эти так ярко запечатлелись в памяти?..

Послышались чьи-то шаги, и совсем близко от моей телеги прошел лейтенант П., тихо напевая: «Что день грядущий нам готовит?..»

Что?



С РУССКИМ КОРПУСОМ.

Четыре дня на поле Викtring в воспоминаниях кажутся длинными четырьмя годами. Это было какое-то столпотворение вавилонское, несмотря на то, что прибывшие части и беженские группы постарались как-то разместиться и устроиться, чтобы не походить на цыганский табор.

Мы питались остатками провианта, вывезенного из Любляны. Воду все брали из ручья. Немецкое начальство, которое остановилось в небольшом домике на краю полигона, урегулировало часы, когда мы могли брать питьевую воду, для умывания, стирки белья, водопоя лошадей, и все происходило по сигналам. Лошадей, кстати, откуда-то еще прибавилось. Оне бродили брошенные, невзнузданные и жалобно ржали. Наши солдаты их подбирали, благо овса еще хватало, и почти каждый приобрел своего «Ваську», «Мишку», «Леду» или «Катюшу». Мне «преподнесли» красавицу кровную кобылу, оставленную венгерским майором, которого почему-то в первое же утро забрали англичане и куда-то бесследно увезли. Нам сказали, что ее зовут «Аранка», т. е. «золотая». Кобылка, золотисторыжая, с маленькой головкой и звездочкой на лбу, пришлась мне сразу по сердцу. Ее взял под свое покровительство старый казак Василий. Вместе с другими «варягами», он шел с ней на

водопой, и от нечего делать они целыми днями чистили лошадей, водили их на «проходку» и строили им из срубленных елей коновязь.

Василий мне все время пророчил, что «скоро в поход, и на этот раз не пешими ротами, а конными эскадронами»!

Вообще, «пророчеств» было много. Сербь перед нами хорохорились, повторяя свою сказку о том, что они — «гости английского короля». Действительно, им первым выдали обильный английский провиант, на который у многих слюнки текли. Тогда они еще не вспоминали об изречении: «Бойтесь данайцев, и дары вам приносящих». У сербов царили военные порядки. Целый день проходил в занятиях, муштровке, шагистике, хотя и без оружия, но в самой строгой дисциплине. Их роты пополнялись новыми добровольцами, парнишками из рядов беженцев. По вечерам, перед молитвой, играли в футбол, как будто им некуда было девать энергию. На самом деле, они хотели произвести должное впечатление на победителей и ускорить свой воображаемый от'езд в Пальма Нуову.

Словенцы, спокойные по природе, придерживались своего девиза: «буди тих», или, по-нашему говоря, сиди и не рыпайся. Они ждали вестей от генерала Льва Рупника, который, по последним сведениям, сдался в плен в Шпиттале на Драве, и там ведет переговоры с англичанами.

Немцы, с свойственной им педантичностью, чистились от насекомых, стирали и мылись, не проявляя никаких эмоций. Они равнодушно ожидали отправки в настоящие лагеря для военнопленных, с вышками, колючими проволоками и принудительными работами. Их мнение об этом уже давно сложилось, и каждый лишний день под вольным небом Виктринга казался им даром Провидения.

Мы поддерживали непрерывный контакт с Русским Корпусом. Их было четыре тысячи — нас всего пятьсот. У них перевешивал старо-эмигрантский элемент — у нас подсоветский. С ними был их любимый командир, пользовавшийся большим авторитетом, полковник А. И. Рогожин, мы же остались без нашего майора, оторванные от полка, и капитан К. не имел должного морального веса. Он сам это чувствовал и несколько раз посетил полковника Рогожина, прося его взять нас под свою защиту.

Полковника Рогожина вызывали в английский штаб. Вызывало его и немецкое, хоть и пленное, но все же до некоторой степени начальство. Он сдал победителям списки Корпуса, и они стали получать кое-какое продовольствие. Наши запасы быстро иссякли. Было голодно, и нас поддерживали сербы, но и они не имели возможности прокормить 500 лишних ртов.

Со стороны добровольцев началась пропаганда. Они звали русских из Югославии перейти к ним, искренне веря в свое счастливое будущее. Между ними и словенцами существовал крепкий альянс, и Вук Рупник охотно признал полковника Тоталовича старшим.



Ко мне особенно часто заглядывали посланцы Тоталовича. У них не было военнослужащих женщин в штабе. Добровольческие «белые орлицы», как назывались девушки, служившие в штабах, ушли из Иллирской Бистрицы в Италию вместе с первым и пятым полками. Тоталович хотел переманить меня в свой штаб бригады. Добровольцы хватались за мои жалкие пожитки и уговаривали переселиться в их расположение. Принесли даже полную сербскую форму с синими выпушками и ромбиками и насильно сунули в мой рucksack. Эта

форма впоследствии оказалась спасительницей, как и цейсовский бинокль, подаренный мне белобрысым ирландцем.

На все эти уговаривания и посещения наши солдаты смотрели мрачно. После одного из таких визитов ко мне подошла группа ребят и, насупившись, выставив ногу вперед, подбоченилась и задала вопрос: — Что ж это будет? Вы, эмигранты, все уйдете к сербам, а нас голыми руками выдадут? Небось, уже согласилась и «чемайданы» приготовила?

Долго мне пришлось их убеждать, что мы никуда не уйдем и разделим до конца нашу общую судьбу. Однако, вечером того же дня от нас ушел фельдфебель Пукалов с женой и четырнадцатилетней дочкой. Через час - два он уже гулял в сербской форме. Ночью сбежал унтер-офицер С-в, женатый на австрийке из окрестностей Вертерского озера. Все это очень плохо отражалось на духе солдат, бывших подсоветских.

За эти четыре дня, несмотря на кажущуюся монотонность, произошло множество мелких, но в те дни важных событий, многое передумалось — то, чем ни с кем не хотелось делиться. В общем, жизнь приняла какой-то облик. Все чем-то были заняты. Стирали носильные вещи в ручье и развешивали их на вербах, обменивались «визитами», отыскивали знакомых, а некоторые и родственников среди членов Корпуса и полуэскадрона «Эдельвейс», расположившегося невдалеке от нас. Как я уже сказала — начиная с командира, ротмистра фон-Ш., и взводного лейтенанта П., все, до последнего всадника, были русскими.

К нам на полигон стали приходить партизаны-агитаторы. Приходили обычно попарно, отлично вооруженные оборванцы с красными звездами на шапках. Вели пропаганду «возвращения на всепрощающую родину». Предлагали вернуться, «пока еще не поздно». Некоторым удавалось уходить с Виктринга, но с

большинством разделались быстро, бесшумно, голыми руками. Уже на второй день нашего пребывания на полигоне, проснувшись рано утром, мы увидели необычную картину. В расположении словенцев, между высоко поднятыми на флагштоках из тонких елей югославским и словенским флагами, на спешно сколоченной виселице качались два партизана. Как пришли, с автоматами и увешанные бомбами, так их, не разоружая, повесили. На груди у них были плакаты с надписью на словенском языке: «Я — антихрист, вор, предатель. Я не ушел от людского суда и не уйти мне от суда Божьего».

Некоторые перепугались, заголосили, что нельзя делать такие вещи. Что скажут англичане?

Что скажут англичане, мы узнали на следующий вечер.



Падали сумерки. Из всех «таборов» тянуло горьким дымком костров. В подвешенных котелках булькала вода, и пахло подгоревшей фасолью. Меня на ужин пригласил отец моего племянника, служивший в Корпусе. Предложил вместе «похарчить», что Бог послал. Его часть стояла около самого шоссе в рощице. Чтобы пройти туда, я должна была пересечь все поле. Пошла одна. В задумчивости мало внимания обращала на окружающее и почти грудь с грудью столкнулась с маленьким партизаном.

Ниже меня ростом, коренастый крепыш, в мятом пиджачишке, без рубахи, он выпятил вперед волосатую грудь, оскалил гнилые зубы и вцепился пальцами в мой нарукавный знак РОА. Поток гнусной брани сопровождался брызгами слюны. В другой руке он держал автомат и старался прикладом ударить меня по голове. Я рванулась в сторону и, совершенно неожиданно для самой себя, изо всей силы ударила его кулаком в нос. Кровь брызнула фонтаном из ноздрей. Партизан оторопел на

секунду, но затем перебросил автомат с левой в правую руку и щелкнул замком.

Поздно. Он упустил момент. Вокруг нас, откуда ни возьмись, уже была толпа людей, русских, сербов, словенцев.

У партизана вырвали автомат. На него сыпался град ударов. Я была просто отброшена в сторону и ошеломлена всем происходящим. Внезапно я заметила двух гигантского роста ирландцев, вооруженных карабинами, идущих к нам с горки. Что было силы, я крикнула: — Разбегайтесь! Англичане! Наши немного расступились.

Не ускоряя шага, ирландцы подошли к толпе, развели ее руками и внимательно посмотрели на распростертого на земле партизана. Подхватили его подмышки и повлекли. Он был похож на тряпичную куклу и, повиснув, едва передвигал ногами. Вскоре они скрылись в рощице. Раздалось несколько выстрелов — партизана не стало.

Вечером четвертого дня капитан К. принес нам от полковника Рогожина вест. На следующий день, 18-го мая, Корпус снимается на заре, т. к. англичане переводят его на новое место стоянки. Викtring нужно разгрузить, по гигиеническим и другим причинам. Стоянка будет «постоянной», но где — еще не сообщено. Английские сопровождающие квартирьеры покажут путь.

Полковник Рогожин позаботился и о нас. По его просьбе, англичане присоединили обозы «Варяга» и нашу полуроту, сопровождавшую нас в пути, к частям Корпуса. Мы тоже должны быть готовы к отходу на заре. Викtring покидало 4.500 человек.

Эта вест всех нас взволновала. Куда же нас ведут?

Солдаты закрутили головами. — Ведут выдавать! — Своим чутьем загнанных подсоветских людей они ни на мину-

ту не верили в благополучный исход и всюду видели капканы и ловушки. Однако, протестов не было. Если идут «минигранты», идут и они. Главное — их не бросают.

С первыми проблесками дня Корпус стал вытягиваться на шоссе. Отходили в полном порядке, часть за частью. Мы замыкали шествие. Нас поделители: вперед выступил обоз с конной упряжью и пешие, а затем наша автокоманда. Начальник автокоманды, поручик Ш., взял меня к себе в машину.

В последнюю минуту прибежали сербы и силой стали стягивать меня на землю. — Не сходи с ума! — говорили они полушопотом. — Вас ведут на выдачу. Оставайся с нами!

Едва удалось от них вырваться.



...По распоряжению, мы должны были отстать и дать возможность пешим отойти на известное расстояние. Шоссе перед нами опустело. Скоро улеглась и пыль, поднятая тысячами ног. Перед нами, как ковбои на лошадях, кружились, выделявая акробатические антраша, мотоциклисты — шотландцы, вооруженные автоматами. — Только два! — ухмыльнулись наши. — Значит, не выдача!

Наконец, тронулись. Шотландцы помчались вперед. Курс вел на Клагенфурт. По дороге встретились партизанские грузовики, с установленными пулеметами, полные галдящих оборванцев. Над ними развевались югославские флаги, с огромной красной звездой по середине белого поля и красные же тряпки.

Мы невольно отворачивались от них и старались не обратить на себя внимания.

Проехали через город, и перед нами изумительной голубизной заискрилось громадное Вертерское озеро. Шотландцы остановились и остановили нас. Они долго рассматривали кар-

ту, прикрепленную к рулю одного из мотоциклетов, и качали головами. Наконец, пустив в ход моторы, махнули нам рукой и помчались налево, по направлению стрелки с надписью Майерниг.

Дорога вилась по самому берегу. Синева озера и прохлада его волн манили к себе. В купальнях на деревянных помостах лежали и сидели купальщики и купальщицы. Зеркальную гладь вод резали элегантные лодки. Множество вилл, утопающих в майских цветах. Запах первых роз был местами просто одуряющим. После фронта, после всего пережитого, эта картина спокойной и удобной жизни нас поражала.

Проехали Майерниг, проехали еще два очаровательных курортных местечка. Нигде следа колонны Корпуса и нашего пеше-конного Варяга. Еще один крутой заворот — и у нас потемнело в глазах.

Наши шотландцы, а за ними и мы в головной машине влетели прямо на площадь, на которой, преграждая путь, стояли четыре легких танка, окруженные партизанами. Развевались красные и югославские флаги. На углах стояли тяжелые пулеметы. На балконе одного из домов, очевидно, отеля, висела доска с надписью: «Штаб 3-ей Партизанской бригады товарища Тито».

Партизаны, заметив нас, бросились к пулеметам. Башня одного из танков резко повернула свое оружие в нашу сторону.

Бывают такие моменты, которые навсегда врезаются в память — как остановившаяся лента фильма на ярко освещенном экране. Я и сегодня ясно вижу эту площадь и партизан; балконы домов, полные вазонов цветущих растений; открытое окно с сушащимися на протянутой веревочке женскими пестрыми купальными костюмами; слышу граммофонную музыку,

долетающую откуда-то, и голос с пластинки, гнусаво поющий тривиальные слова танго. Остолбеневшие шотландцы, как оловянные солдатики, застыли с раскоряченными ногами на своих мотоциклетах, и мы, вероятно, очень бледные, об'ятые смертельным страхом... Что это? Английская ловушка? А где же Корпус? Где наш отряд?

Такой же страх, как это ни странно, отражался на лицах мотоциклистов. Они взвили свои машины по-ковбойски, развернули их на заднем колесе и, издавая оглушительный треск, рванули мимо нас обратно, по тому пути, по которому мы приехали.

Развернуть на глазах у партизан наш грузовик было просто невозможно. За нами узкая дорога, на которой столпились остальные машины автоколонны. Я не могу себе объяснить сейчас, что дальше произошло. Помню, что мы все выскакивали из грузовиков и в несколько минут занесли их на руках, развернули, вскочили обратно и помчались за удирающими шотландцами. Все произошло просто с невероятной быстротой. Нас сразу же отделил от партизан крутой заворот, но они все же пустили за нами очередь из пулемета. Несколько пуль пробили парусиновую крышу нашего головного, теперь ставшего задним, грузовика.

Через час мы опять стояли под стрелкой Майерниг на плацу перед последней трамвайной станцией линии, ведущей из Клагенфурта, а наши шотландцы, сняв шлемы и повесив автоматы на рули, вытирая крупный пот с лица, рассматривали свою карту.

Двинулись вперед. На этот раз правым берегом озера. Проехали мимо старинной пороховой башни Штентурм и местечка Крумпендорф. Опять виллы, цветы, теннисные площадки. Вдали сиреневые горы...

Курорт Перчах. Та же картина. Английские офицеры с дамами идут купаться с костюмами, переброшенными через плечо. В песке играют дети. Весна. Май. Войны больше нет. Для всех людей здесь наступила новая жизнь.

Между Перчахом и Фельденом, самым большим курортом на Вертерском озере, на полянках за проволокой — пленные, немцы и венгры, судя по формам. За Фельденом больше полянок и больше пленных — под открытым небом, на солнце-пеке, без палаток, на голой земле. Перед входом в эти загоны — английские легкие танки. Бродят сотни стреноженных лошадей. Над ними облаком вьются мухи.

Шотландцы упрямо вели нас вперед. Местечко Маргареттен. Опять лагеря, опять горчичного цвета формы венгров. Где же Корпус и наши?

Под'ехали к городу Виллах. Остановились у заставы. Из небольшого домика появляются солдаты с автоматами в руках. Шотландцы разговаривали с полевым английским жандармом в малиновой фуражке. Нам жарко, хочется пить. Попросили разрешения сойти с машин. На нас молча смотрят дула автоматов...

Опять движемся вперед за шотландцами, но они разворачиваются, и мы едем назад. Вернулись в Фельден, и оттуда берем другую вилку дороги.

Пять часов вечера. Мы все едем. Проехали мимо бесчисленных полей, окруженных проволокой, и за ней — военнопленные. Останавливались около каждой и всюду спрашивали о русских частях. Шотландцы немного смягчились, дали людям возможность напиться воды и оправиться. Очевидно, им надоела вся эта история, и они себя чувствуют виноватыми, потеряв колонну Корпуса.

Наконец, в одном из лагерей нам сказали, что русские части с таким же знаком, как и на наших рукавах, прошли и остановились на большом поле за городом Фельдкирхен.

Бесцеремонно отбираем у шотландцев карту. Находим Фельдкирхен, тычем в него пальцем. Они оба улыбаются и по-итальянски говорят: Си, си! Каписко! — нахватавшись этих слов во время войны.

Уже вечерело, когда мы проехали Фельдкирхен и, не останавливаясь, продолжали путь. Наконец, перед нашими глазами открылось большое поле, еще больше, чем Виктринг. Оно, во всю свою огромную длину, огорожено колючей проволокой. Тысячи, тысячи людей, телеги, машины; тысячи лошадей. Костры; ветра нет, и дым синеватой струйкой стелется, сливаясь с туманом, ползущим из оврагов. Откуда-то долетает — песня? Нет: это молитва. Поют «Отче наш». Наши?

Шотландцы не вводят нас на поле, а тут, около дороги, под большим дубом, находят лужайку и, показывая пальцем на землю, лепечут: — Экко, экко, ля!

Очевидно, здесь мы должны заночевать. Ставим машины около дуба. Маленький сын командира полка, Алик, которого мать отпустила с нами, лезет, как обезьянка, на дерево и вешает наш бело-сине-красный флаг со знаком РОА. Так, он говорит, нас легче найдут.

Наши проводники оседлывают свои мотоциклетки и, крикнув «гуд бай», исчезают в вечерней мгле.

Мы — одни.

Командир автокоманды, поручик Ш., распорядился насчет ужина. Открыл консервы — запас еще из Любляны, но у нас нет воды. Вероятно, можно ее получить на выгоне. Вода нужна не только нам, но и автомобилям. Человек пять, забрав ведра, подлезли под проволоку и зашагали по направлению

скопления людей. Мимо нас, по выгону, почти бесшумно по мягкой почве прошлепал сторожевой танк. Лучи его фар, еще бледные в сумерках, медленно ощупали наш «табор».

Ждем... Прошло полчаса. Курим махорку и нарезанные перочинным ножом немецкие вонючие сигары, завернутые в газетную бумагу. Солдаты и шоферы переговариваются сонными голосами. Appetit прошел, но мучит жажда. Над открытыми банками назойливо, целыми роями, вьются мошки. Оглушительно стрекочут цикады, и где-то в канавах квакают лягушки.



Уже ночь. В Австрии быстро темнеет в долинах из-за окружающих высоких гор. Мы, кажется, вздремнули, и встре- пнулись, услышав веселые голоса, смех, а затем голос поручика Ш.: — Гоп! Гоп! Это мы, а с нами казаки!

- Целая группа людей нырнула под проволоку выгона и подошла, звеня шпорами, к нам: наши и с ними пять казачьих офицеров. Костер осветил их высокие фигуры, лихо заломленные фуражки, у двух — чубы. Формы немецкие, но с широчайшими лампасами на штанах.

— Что? Не узнали? Батька Панька казаки. Пятнадцатого корпуса генерала фон-Паннвица!

Все свои, знакомые, и среди них старый друг, майор В. Островский. Раздули гаснущий костер, поставили прямо в ведрах воду для чая и присели вокруг.

На этом поле нет ни Корпуса полковника Рогожина, ни наших. Здесь стоят казаки фон-Паннвица. Они другой дорогой отступали из Югославии, и их путь был тернистым и кровавым. Почти все время до самой границы шли они с боями.

Проговорили почти всю ночь. Поделались новостями, расспросили о знакомых. Узнали, что сам фон-Паннвиц и командиры дивизий, Вагнер и Нолькен, тут. Тоже ведут перегово-

ры с англичанами. Что дальше будет — не знают. Всюду все та же неизвестность.

Туман белыми клубами застилал поле, когда мы при первых лучах солнца прощались с казаками, обещая доложить Рогожину, когда мы его найдем, о месте расположения 15-го казачьего корпуса. Сырые и продрогшие от утренней росы, проводили их до самой ограды.

Тщетно ждали часа полтора появления шотландцев и затем, взяв легковой автомобиль, поехали в Фельдкирхен. Там, в английском штабе, расположенном в тюрьме, с которой я позже ближе познакомилась, мы узнали, что наши ушли в районы сел Клейне Сант Вайт и Тигринг. Дали нам указания, как найти дорогу в эти заброшенные и удаленные от главной дороги селения.

Ожидая приема англичан, мы встретились в передней с высоким плотным немецким офицером, с широкими лампасами на шароварах и значком донских казачьих частей на рукаве: полковник Вагнер, командир первой казачьей дивизии. Он ломано говорил по-русски, старался весело шутить, но в темносиних глазах таилась тревога. Он очень заинтересовался тем, чтобы связаться с Русским Корпусом, и пообещал навестить нас, как можно скорей, и встретиться с полковником Рогожиным.

Вернулись под дуб, собрали автокоманду и на этот раз самостоятельно отправились искать Тигринг. Часам к 11 утра, под дружные крики «ура», наши восемь машин вкатились на лужайку перед селом Тигринг.

Нас и бранили и радовались. Пришлось подробно объяснить, что с нами произошло, и написать рапорт о случившемся и о встрече с казаками «батька Панька», как Паннвица называли его казаки.

В Тигринге расположился 1-ый полк Русского Корпуса, остатки боевого 3-го полка, соединенные в один батальон, и мы, тоже «остатки» Варяга.

За один день пребывания там жизнь уже приняла какие-то облики. Разбили палатки, многие разместились в австрийских сеновалах. Жена нашего командира полка и Ленни Гайле сняли комнату у симпатичных «бауэров». Проволоки не было. Не было англичан. Плен на честное слово — не расходиться.

Капитан К., не дав нам отдохнуть, немедленно отправил нас к полковнику Рогожину в Клейне Сант Вайт. Полевые телефоны уже частично были установлены, и ему сообщили, что нашлась автокоманда «Варяга» и привезла вести о 15-ом корпусе.

К вечеру уже ловили раков в мелкой речушке. Около гармониста Сережки собралась молодежь. Певунья Ларисса и ее подружка Даша, подсоветские девушки, работавшие в мастерских полка «Варяг» еще в Любляне, распевали «Синенький платочек» и «Катюшу». Казалось, что теперь отлегло, что страшное уже прошло, и его больше не будет. Кругом — густые леса и горы. Нет проволоки, нет английской охраны и танков. Значит, слухи о возможной выдаче ложны. Жизнь как-нибудь наладится. Свяжемся с полком, соединимся с ним. Это, вероятно, не за горами. Ведь было же сказано в Любляне: место встречи — в Шпиттале на Драве, в Австрии. Они, наверно, уже давно там и волнуются, куда девался их обоз.

Первую ночь я спала под телегой. Опять около меня шагал, фыркая и вздыхая, конь Мишка и с ним моя Аранка.

Маленькая датчанка Герти долго не давала заснуть, болтая, как попугай, по-немецки. Казак Василий устроил нам нечто вроде ложа из веток, листьев и попон. Растянувшись во весь рост, сняв, наконец, сапоги, я впервые после Любляны заснула, как убитая.



ПЕРВАЯ ВЫЛАЗКА.

...По австрийским дорогам
Шла в тоске и тревоге
Наша белая русская рать...

Эту песню, переделанную из известной советской, со дня отступления пели наши солдаты. По австрийским дорогам пошел и мой путь, в первую вылазку за сведениями.

Прошлое вспоминается ясно, как вчера пережитое. Правда, эти воспоминания освежают странички старой, пожелтелой записной книжки, испещренной иероглифами, которые, пожалуй, я одна могу разобрать, и куча серых бумажек, удостоверений и других документов того времени, многих даже без печатей, но имеющих и сегодня официальную ценность. Ведь они являются микроскопическим кусочком истории тех дней. Жаль, что большую часть таких документов бессмысленно изорвал и сжег неизвестный английский сержант в местечке Вейтенсфельд. Они могли бы мне помочь еще более точно воспроизвести в памяти все перевиденное и пережитое.

...Клейне Сант Вайт. Маленькое, заброшенное в предгорных холмах Каринтии село. Пыльная улица и на ней небольшой домик в саду. Там находился штаб Корпуса и квартира

полковника А. И. Рогожина. В одно из первых утр нашего пребывания в Тигринге меня туда вызвали по полковому телефону.

Командование решило искать возможности вступить в связь с частями генерала Доманова, которые, по некоторым сведениям, перешли в Австрию из Италии, с полком «Варяг», возможно, стоящим в Шпиттале на Драве, и, наконец, с частями генерала А. А. Власова, о которых не было никаких сведений с момента капитуляции.

Один курьер, капитан Д., уже был послан, но еще не вернулся. Это был опытный разведчик — в полном смысле этого слова, следопыт, который не отступал перед преградами и, вероятно, в поисках зашел уже далеко. Мне предложили быть вторым. Я охотно согласилась. Была выработана схема моего пути, главные точки разведки, выдана путевка, немного провианта и курева, и 23-го мая утром я тронулась в путь.

Первый этап был легким. На составленном из пяти развалившихся машин фольксвагене, получившем кличку «Тришка», меня до села Сирниц отбросил лейтенант П., взводный эскадрона «Эдельвейс», ушедший с нами с Виктринга.

Село Сирниц, ласточкино гнездо, находилось высоко в горах. Туда, по непонятным нам причинам, с поля у Фельдкирхена была переведена 1-ая дивизия 15-го казачьего корпуса.

Командир дивизии, полковник Константин Вагнер, заранее обещал мне достать у английского сержанта, коменданта этого местечка, «бумажку», которая могла бы мне помочь в дальнейшем продвижении.

По сравнению с настроением в Корпусе и в отряде «Варяга», в Сирнице было неспокойно. Чувствовалось, что назревают какие-то события. Полковник Вагнер принял меня в сельской гостинице, в которой разместились русские и немецкие

офицеры дивизии, и откровенно сказал, что атмосфера тяжелая, и что у младших немецких офицеров — тенденция разбегаться. Они выменивали у «бауэров» на мыло, подметки, даже французские духи поношенные крестьянские костюмы, подделывали документы и могли исчезнуть в следующую же ночь. Офицеры ни за что не хотели бросить казаков. Уйти одним было стыдно, а на всех 30.000 солдат штатского не наменять; да и куда они пойдут, не зная немецкого языка и местности? Вагнер не отрицал возможности выдачи и даже считал ее неизбежной.

Меня поразил его пессимизм. Невольно возник вопрос, почему он об этом не сообщил с курьером полковнику Рогожину.

— Положение изменилось буквально за ночь, — ответил он мне задумчиво. — Вчера еще все было прекрасно, отношения с англичанами почти дружеские, но к вечеру «подуло северным ветром». Боюсь, что наша судьба решена. Правда, не теряю надежды на чудо, на солдатское счастье...

Полковник попросил меня задержаться, обещая позже достать обещанную «бумажку» у пьяницы-сержанта за бутылку яблочной водки.

К вечеру в село стали приноситься английские курьеры-мотоциклисты. Они проверяли посты и привозили приказы. Полковник Вагнер был все время занят. На своем фольксвагене и пешком он обходил места расположения казаков. Почти 30.000 казачьих коней были без фуража. Мужики отказывались давать сено и не пускали коней на поля молодого клевера.

Ужинали вместе в гостиничной столовой. Офицеры сидели молча, насупившись, почти не притрагиваясь к похлебке, какая нервно шарики из хлеба. Рядом со мной сел адъютант, молодой лейтенант Хаазе, и его собачка, длинноухий спаниель-

кокер «Петер», которому он давал маленькие кусочки мяса из похлебки, приговаривая: — Гитлер дал! и песик пожирал подачку, или: Сталин дал! — и «Петер» рычал и, скаля зубы, отворачивался. Это было бы очень забавно в другом положении, но не тогда. Кто-то из старших немецких офицеров прикрикнул на Хаазе и приказал прекратить балаган.

Поздно ночью Вагнер, взяв бутылку водки, пошел к сержанту и через полчаса вернулся с обещанной «бумажкой». На четвертушке неопрятного вида бумаги что-то было нацарапано чернильным карандашом. Вагнер, прекрасно говоривший по-английски, перевел, что такая-то, потерявшая свою часть во время отступления, идет на соединение с ней, и ей просят оказывать возможную помощь. — Для начала недурно! — сказал, грустно улыбаясь, полковник.

В моем рюкзаке, на самом дне, лежала полученная от сербов форма и полевой бинокль.

— Зер гут! — сказал Вагнер. — Зер, зер гут! Они вам могут очень пригодиться. — Затем открыл свой чемодан и вынул оттуда пачку нарукавных знаков разных казачьих войск: донского, кубанского и терского.

— Возьмите с собой иглу и нитки. Мой вам совет: отсюда идите с значком РОА, приглядывайтесь к событиям. Если будет опасно — снимите значок с рукава. Если найдете где-нибудь домановцев — меняйте значки один за другим и, расспросив, кто впереди, пришивайте их щиток. Я нарочно не сказал сержанту, к какой части вы принадлежите. Это вам оставило широкое поле действия. Идите вперед, не задерживаясь, смотрите в оба, все запоминайте и, моя к вам просьба — не зарывайтесь. Мой нюх подсказывает трагедию... Постарайтесь вернуться в вашу часть... И, взяв меня за плечи, полковник доба-

вил, немного коверкая русские слова: — На миру, Ара, и смерть красна. Со своими не страшно.

С первой встречи мне стал симпатичен этот гигант с седыми висками темной головы, темно-синими мальчишескими глазами и милой улыбкой на сильно загорелом лице. Это, очевидно, было обоюдно: Вагнер проявил ко мне заботу, которая трогала. По обычаю всех немецких солдат, он рассказал мне все о себе, о гибели его семьи в самой страшной бомбардировке Дрездена, о своем одиночестве. Показал мне все фотографии, от которых, как блин на дрожжах, вспух его бумажник.

Было тихо в опустошенной столовой гостиницы. На моих коленях уютно устроился золотистой масти собакевич — «Петер», громко, по-человечески похрапывая. Мы пили гадкий желудевый кофе и разговаривали, как старые друзья, как люди одного класса, одних взглядов, встретившиеся, скажем, в ресторане вокзала, ожидая каждый своего поезда. На момент исчезла острота настоящего момента, стусеивались опасения о будущем. Болтали о детстве, о смешных гувернантках, которых мы имели, он в Кенигсберге — русскую, я в Севастополе — немку. Нам просто было хорошо вместе. Хорошо по-хорошему.

Это тихое очарование прервал денщик полковника, крымский татарин Али. С милой бесцеремонностью, он по-русски, с сильным акцентом, буквально погнал своего полковника спать: — Иды, иды, полковнык! Завтра рано вставать надо!

Меня уложили спать в коридоре гостиницы, на полевой койке за ширмой. Все комнаты были заняты до отказа офицерами. Хлопали двери. Скрипели половицы и ступени. Туда-сюда сновали люди. До утра я не закрыла глаз. На заре ко мне пришла молоденькая дочь хозяев и сказала, что ночью верхом или пешком ушло много немцев «казаков», еще недавно

с таким азартом записывавшихся в войско.

При первых лучах солнца меня вызвал Вагнер. Около ворот гостиничного сада, на фоне ярко цветущих кустов герани, мрачным пятном выделялся английский, очевидно, еще ночью подкравшийся танк. На башне сидел молодой офицер в черном берете; внизу стоял солидного вида седой капитан. Отозвав меня в сторону, Вагнер сказал, что англичане везут его на «экстренное совещание».

— Туда уже поехали фон-Паннвиц и фон-Нолькен, — сказал он тихо, едва шевеля губами. — Добра не ожидаю. За домом стоит телега. Вас отвезет до долины ротмистр Я. Идите с Богом и... берегитесь. Если мои опасения не оправдаются, я буду вас ждать здесь, в Сирнице. Хорошо?

Сложив по-русски три пальца вместе для крестного знамения, он меня перекрестил, взял за плечи, крепко их сжал и, оттолкнув от себя, круто повернулся и быстро зашагал к танку.

Мне вспомнилось мое прощание с племянником. Я так же оттолкнула его от себя, чтобы он не видел в моих глазах навернувшихся слез. Я так же повернулась и ушла...



Ротмистру Я., длинному худому тевтонцу, с грустными карими глазами и впалыми, как у больного, щеками, не удалось отвезти меня на телеге в долину. Дорога была ужасная, вся в рытвинах и колдобинах, размытая весенними водами от тающих снегов. Сидя рядом с ним на облучке, я подскакивала, почти падала, крепко уцепившись за обочину. Мы даже не могли с ним разговаривать из-за опасности откусить себе язык. Часа через два, на полпути, мы встретили английский патруль.

Рассмотрев мою «бумажку», меня отпустили, а ротмистру приказали повернуть телегу и, усадив к нему конвойного, отправили обратно в Сирниц.

Дорога вилась вниз. От нее отходили тропинки-перепутки, по которым я сокращала расстояние. Временами я шла через дремучий лес. Огромные сосны крепко в сестринском объятии сплетались ветвями — через них не проникал ни один солнечный луч, и царил странный полусвет-полутьма. Пахло хвоей, грибам и седым мхом, которым плотно, как одеждой, были покрыты все толстые стволы деревьев с северной стороны.

Настилка хвои была невероятно толстой. Я скользила по этому подвижному ковру и несколько раз скатывалась на несколько сажен, рискуя сломать шею в столкновении с большими острыми камнями. Переходила вброд через бурные горные ручьи. Однако, лес безлюдным не был. Не раз я чувствовала на себе взгляды тех, кто прятался в оврагах, натыкалась на брошенное оружие, винтовки с разбитыми прикладами, разобранные и на все стороны разметанные части автоматов. На одной поляне встретилась лицом к лицу с группой эсэсовцев. Обросшие бородами, в мятых, отсырелых формах, они не были похожи на гордых питомцев Гитлера. Задержалась с ними в разговоре. Расспрашивали они, не знаящие, что творится во внешнем мире. Я им отдала мои консервы из рюкзака, а они мне большую пачку эрзац-сигар.

Только к вечеру вышла я на шоссе вблизи села Обер-Феллах и сразу встретила тех же солдат, которые меня сняли с облучка телеги ротмистра.

Капрал отвел меня на допрос к коменданту места, шушленькому капитану с непомерно большим носом, в бархатной пилотке малинового цвета. Он прекрасно говорил по-немецки.

Допрос был очень коротким. Капитан, близоруко поднеся мою липовую бумажку к носу, прочитал содержание, пе-

респросил меня, к какой части я принадлежу. По совету Вагнера, я сказала — домановской дивизии. Капитан поцокал сочувственно языком, заявил, что мои ответы его вполне удовлетворили, и приказал следовать за ним.

Он привел меня в сельский «бирцхаус», в котором находилась английская кантина.

Меня посадили в углу кухни, в которой пили и веселились уже далеко не трезвые солдаты. Передо мной, по приказанию маленького капитана, поставили кружку, наполовину налитую брэнди, необычно белый ватный хлеб, салат с майонезом и бледно-розовую нежную ветчину. Я не могла проглотить ни кусочка, несмотря на то, что со вчерашнего вечера ничего не ела. Не смею пожаловаться на солдат: они видели во мне просто сильно усталую женщину, военнотружущую, какие были и в их частях. Многие даже проявили некоторую грубую сердечность, похлопав меня по плечу и участливо спросив, почему я не ем. Совсем молоденький мальчик, немного старше моего сына, поднес мне кружку крепкого чая с молоком и вынул из кармана пачку папирос.

Чай я выпила с наслаждением. За время всей войны у нас его не было, и как раз, когда я его кончала, в кухню из офицерского отделения вошел носатый капитан и подсел за мой стол. В его взгляде была нескрываемая ирония. — Ешьте! — сказал он, криво усмехаясь. — Не каждый день масленица. Все равно, то, что не будет с'едено, мы не оставим немецким свиньям: выбросим в мусорную яму, обольем керосином и подожжем.

Как только я опустила пустую кружку на стол, капитан приказал мне встать и идти за ним. Отвел меня на чей-то сеновал, запер за мной дверь на засов и ключ и насмешливо крикнул: — Гуте нахт, гнедиге фрау! Спите спокойно. Я вас запер, чтобы вас кто-нибудь не украл.

...Опять ночь без сна. Глаза — как песком засыпаны. Все тело ныло. Долго сидела и курила английские душистые папиросы, следя за тем, чтобы не поджечь солому. Через высокое слуховое окно ко мне заглядывала полная луна. Сначала мимо сеновала по улице проходили горлающие солдаты, затем все стихло.

Меня смущал засов и замок. Что это: арест? Мысли роились в голове, как беспокойные мухи. Прилегла, подложив рюкзак под голову, но заснуть все же не могла, думая о завтрашнем дне.

Он пришел, этот день, 25-го мая 1945 года. Часов до девяти я маялась, запертая в сеновале. Очевидно, отоспавшись, позавтракав, свежесбритый капитан сам пришел за мной. На лице его была приторно любезная улыбка. Не дал мне поднять мой мешок, взял его сам и, перебросив через плечо, жестом джентльмена предложил идти вперед, сказав: — *Апре ву, мадам!*

На улице стоял небольшой грузовик, покрытый брезентом. Капитан посадил меня в машину и очень вежливо пожелал счастливого пути, прибавив, что меня везут до главной дороги, и что я, по всей вероятности, очень скоро найду свой полк.

Солдаты опустили полы крыши, затянули ремешки и, крикнув: «О-кэй!» прыгнули в будку к шоферу. Заработал мотор, и мы двинулись в путь.

Я сидела одна, в полумраке. Прищелкнула глазом к дырке в брезенте. Мимо мелькали скалы, деревья, столбы, какие-то поселки и отдельные фольверки. Куда мы ехали, я не имела представления и не могла догадаться, не зная местности. Вынула из мешка карту, нашла на ней Обер-Феллах и старалась предположить направление. Все было тщетно. Незаметно меня

стало укачивать, как в колыбели, и, опустившись на деревянную скамейку, я заснула крепким сном.

●

Проснулась от толчка и внезапной тишины. Мотор автомобиля не работал. Мы только что где-то остановились. Я услышала скрип ворот, голоса, громкий говор по-английски. Кто-то отдернул полы покрышки, и меня на секунду ослепил яркий солнечный свет.

Грузовик стоял перед воротами грандиозного лагеря, обнесенного густыми рядами колючей проволоки. Кругом улицы, осененные большими каштанами. Перед машиной стояли две пожилые англичанки в военных формах, обе рыжие и некрасивые. У обеих в кобурах тяжелые револьверы. Подняла взгляд. Над воротами доска, и на ней выведено:

«Репатриационный лагерь граждан СССР».

●

...У меня потемнело в глазах. От ужаса к горлу подкатила тошнота. — Вот куда меня прислал носатый капитан «для встречи с полком»!

Одна из рыжих женщин в чине майора махнула мне рукой, заметив мой взгляд, и крикнула резко: — Джамп даун!

Схватив рюкзак за ремни, я прыгнула на землю и одним взглядом охватила две сторожевые будки по обе стороны ворот, длинный ряд черных, как сажа, бараков, кишашую массу мужчин и женщин, походные кухни и метрах в десяти от нас группу военных в советских формах.

Привезший меня грузовик дал ход назад и на момент скрыл от меня рыжих англичанок. Мозг прорезала мысль: — бежать!

Подхватив покрепче мешок, я бросилась через улицу. Летела, как стрела; передо мной машинально отскакивали

встречные пешеходы, а сзади слышались крики: — Халт! Халт! и слышался топот ног.

В жизни не забуду этого бегства по улицам незнакомого города! Я сбила с ног какую-то старушку, чуть не попала под колеса мчавшегося автомобиля и, свернув направо, выскочила на площадь. Мне в глаза бросилось здание с парными часовыми около входа и надписью «Таунмэджер», а под ней крупными буквами «Виллах». Инстинктивно бросилась туда, в темный под'езд, мимо оторопевших часовых, вверх по лестнице, в большую переднюю и прямо в приоткрытые двери кабинета.

За письменным столом сидел красивый блондин с холеными усами и моноклем в глазу. Английский майор. Он окинул меня взглядом и с нескрываемым юмором по-немецки спросил: — Вас ист лос? Где-нибудь пожар?..

Потная, мятая, растрепанная, с «бергмютце» на самом затылке, с бьющимся, как у загнанного зверя, сердцем, прерывающимся дыханием и вытаращенными глазами, вероятно, я казалась очень забавной фигурой.

Майор привстал и указал мне рукой на стул. Не садясь, заикаясь, я выдавила из себя:

— Герр майор!.. Я русская... Русская эмигрантка из Югославии. Меня хотели посадить в лагерь для репатриации в СССР... Я...

За мной послышались шаги, и в канцелярию «таунмэджера», стараясь держать себя с достоинством, вошли обе рыжие женщины.

Я не знала английского языка. Оне что-то наперерыв тараторили майору, показывая на меня пальцем. Я следила за выражением лица майора, и у меня немного отлегло на сердце. Он держал себя высокомерно, выслушал до конца и затем указал им на двери.

Женщины с револьверами в кобурах удалились.

Мы остались одни. Майор взял меня за руку, усадил, протянул портсигар, щелкнул зажигалкой и, дав прикурить, с доброй улыбкой сказал:

— Больше волноваться нечего. Успокойтесь и расскажите, что с вами случилось.

Мой рассказ был сбивчив. Вынула и показала пропуск сержанта, об'яснила, что ищу часть, от которой отстала, и через несколько минут, благодаря печати и подписи «таунмэджера» и добавлению, которое он сделал к «бумажке», это «липовое ничто» стало настоящим документом.

Майор об'яснил мне, что он мне разрешил беспрепятственно передвигаться по дорогам от рассвета до захода солнца и пользоваться подвозом английских машин.

— Меньше говорите о том, что вы — русская. Лучше будьте югославянкой. Меньше риска, хотя моя подпись и гарантирует вам свободу. Идите и... счастливого вам пути!

Выйдя на улицу, я еще раз взглянула на бумагу, на подпись моего спасителя — «майор Виллиам Баратов».

Приблизительно через полчаса мне удалось на главной площади остановить английский грузовик с провиантом, который шел в Шпитталь на Драве, в который я так стремилась. Благодаря приписке Баратова, солдаты меня взяли, усадили с собой в кабинку, и мы тронулись в путь.



Поздно после полудня машина подошла к Шпитталю. По дороге мы проехали мимо множества разбросанных лагерей с военнопленными, но, насколько мне удалось рассмотреть, русских среди них не было. По формам судя, это были, главным образом, немецкие горные части, спешенные авиаторы и прислуга флаков, венгры и итальянские фашистские полки.

Перед самым городом были большие лагеря для бе-

женцев, а дальше, на поляне, я увидела много сербов. Одни лежали на траве, греясь на солнце, другие играли в футбол. Я попросила шофера остановиться, поблагодарила и через минуту была в объятиях трех знакомых льотичевых добровольцев из Белграда.

Сербы были размещены в большом пивном застекленном павильоне. Там находились около семидесяти сербов и три русских семьи из Югославии. Сербы, все раненые, выписавшиеся из лазаретов после капитуляции, русские — работавшие в дни войны по контракту на фабрике в Шпиттале. Во дворе под примитивными шатрами расположилось около десятка четников, все еще бородатых и длинноволосых.

Обменялись сведениями. Я им рассказала все об отступлении, о Виктринге, о добровольцах и словенцах, о наших частях и о казаках корпуса фон-Паннвица. Они мне сказали, что на следующее утро едут на семи грузовиках в Италию, в Пальма Нуова, где... «их ждет король Петр, и начнутся новые формирования».

Все сербы были вооружены. Частично они и раньше имели револьверы и карабины, но сегодня утром англичане выдали им автоматы, ручные гранаты и легкий пулемет для головной машины: на всякий случай — если по дороге встретятся с красными титовскими и итальянскими партизанами.

От них же я узнала, что в Шпиттале нет никаких русских частей, что «Варяг» даже вблизи не проходил, но что, может быть, о нем имеет какие-нибудь сведения комендант Словении, генерал Лев Рупник с семьей и штабом. По их же словам, около г. Лиенца находилось большое скопление русских военных сил, пришедших из Италии — домановцев.



И тут сербы уговаривали меня изменить курс и ехать завтра с ними в таинственную «Мекку» — Пальма Нуову. При-

знаюсь; что искушение было очень велико. Все, что они говорили, было гораздо более обоснованным, чем слухи в Виктринге. Им англичане дают автомобили, им выдали оружие и аммуницию, в то время, как русских разоружали. И все же я категорически отказалась.

Ночью мы сидели в саду пивной вокруг костра, который разложили четники. Сербь пели воинственные песни, под гармошку танцевали свои «коло», кричали «Живео краль!» Были полны самых радужных надежд.

В садик пришли солдаты-ирландцы. Их угостили вином, и, поставив свои карабины к живой изгороди, они тоже пробовали танцевать «коло» и трясли всем руки.

У всех уезжающих было сильно приподнятое настроение, и я им от всей души завидовала.

Никто не ложился спать. Я вздремнула, положив голову на колени русской девушки, дочери известного летчика.

На заре пришли грузовики. Погрузка произошла быстро и без задержек. Сербь от'ехали с криками, песнями и даже с стрельбой из карабинов в воздух.

Подобрав свой рюкзак, я вышла на шоссе ловить автомобили, шедшие на Лиенц. После нескольких тщетных попыток рискнула остановить небольшой танк с английской флюгаркой. Из танка высунулась голова. Я протянула свою «бу-машку».

— Куда? — лаконически по-немецки спросила курчавая голова в черном берете.

— Лиенц!

— О-кэй! Джамп ин!

Открылась крышка башни, и я в первый раз в жизни влезла в танк.

В машине только два человека. Оба капитаны, в чер-

ных беретах танковых частей. Показали мне место в задней части машины. Танк двинулся.

Темно. Лопасты на окнах закрыты. Дорога мне не видна, только через их головы в переднее стекло вижу какие-то очертания. Прислушалась к разговору офицеров. Поразило, что они говорили по-французски. Заглушаемые грохотом машины, до меня долетают только отрывки их слов. Внезапно настораживаюсь. Слышу имена: Шкуро, Краснов, Доманов... Разоружение... Пеггек. Дальше они говорят о каких-то особых частях, которые срочно переброшены из Италии. Опять говорят о Шкуро и тюрьме в Шпиттале...

Что-то опасное, тревожное было в их словах. Страшная догадка не давала мне покоя. Хотелось узнать больше, но их разговор прервался.

Танк довольно плавно шел по шоссе. Часы на доске управления показывали 10. Становилось жарко, и офицеры поднимали лопасти на окнах-бойницах. Слева тянутся лагеря. Перед входом стоят часовые. Казачьи флюгарки. Надписи все по-русски: штаб такого-то полка... Штаб бригады... Русский флаг. Снует народ. Дымят полевые кухни. Лагерь за лагерем. Часть за частью.

Танкисты ерзают, выглядывают и всматриваются. Не годуют вслух:

— Смотри! Они все еще вооружены. В чем дело? — смотрят на часы и изумленно пожимают плечами.

Опять лагерь. Над воротами название: Пеггек. Несколько больших грузовиков. Русские солдаты под присмотром англичан несут охапками, в одеялах, на санитарных носилках ружья, автоматы, револьверы и бросают их в автомобили.

Один из танкистов, потирая руки, восклицает: — Разоружение началось. Прекрасно! Сопrotивления не будет!

«Сопровращения?» мелькает у меня в голове. «Чему сопровождения?»

...В'езжаем в город. Шофер танка спросил меня, куда меня доставить.

— В штаб генерала Доманова.

Еще немного, и мы вкатились на площадь. Танк развернулся, и офицер, открывая люк, предложил мне выйти.

Мы остановились перед большим желтым зданием. К балкону прибита доска. На ней олень, пронзенный стрелой, и не совсем правильно нарисованный знак РОА.

Выскочив на площадь, я повернулась к танку. Через отверстие на меня, не мигая, смотрели черные, презрительные глаза.

— Мерси! — говорю я, глядя в них. — Спасибо, что подвезли.

— Мне не надо «спасибо» от белогвардейской с....! — совершенно чисто по-русски ответил танкист. Люк закрылся, спустилось стальное веко над зрительным отверстием танка, и он пополз своей предательской дорогой.

Это было 26-го мая 1945 года.



СРОКИ ПОДОШЛИ.

На пороге штаба меня встретил дежурный офицер, полковник Протопопов, которого я знала по мирному времени. Выслушав меня и узнав цель моего появления, он, предупредив, что генерал Доманов как раз сейчас имеет заседание со старшими офицерами, все же счел возможным немедленно обо мне доложить.

Мы поднялись на второй этаж, и, оставив меня в коридоре, Протопопов пошел доложить.

...Странная была моя первая встреча с Домановым. Правда, мертвые срама не имут, и каждому свойственно ошибаться. И правда, положение в то время было такое, что каждому хотелось верить в то, что, очевидно, было утешительным вымыслом, и невольно люди отказывались верить в правду...

Не помню точно, сколько офицеров заседало за длинным столом. Думаю, человек пятнадцать. Сразу же в глаза бросились знакомые лица: генерала П. Н. Краснова, С. Н. Краснова, Соломахина, Султан Келеч Гирея. Доманова я не знала, но я угадала его в офицере, сидевшем во главе стола. Отдав честь, я доложила, кто я такая, откуда и как пришла и какие имею поручения.

Генерал заметно нервничал. Чувствовалось, что он недоволен тем, что мой приход прервал ход заседания. Выслушав, он короткими фразами и резко ответил:

— О местонахождении Охранного Корпуса мне известно от первого курьера капитана Д. С генералом фон-Паннвицем связь налажена. Судьба генерала Власова и его частей нам неизвестна, как нам неизвестна и судьба полка «Варяг». Здесь в лагере Пеггек находится ваш майор Г. и его сопровождающие. Они тут временно задержаны. Вам советую вернуться в часть, так как думаю, что вам дальше не пробиться... Есть какие-нибудь вопросы?

— Никак нет, но я хотела бы вам доложить о том, что я слышала в пути...

— Будьте коротки!

Сильно нервничая, я точно передала весь разговор офицеров в танке, знаменательную фразу об «исключенной возможности сопротивления», о частях, которые с специальной задачей прибыли из Италии. Было заметно, что мои слова произвели крайне тягостное впечатление на присутствующих. Генерал Доманов вспыхнул:

— О какой выдаче вы говорите? Что за бабы сплетни! Я запрещаю вам об этом говорить! Подобные ложные слухи будируют людей. Это — провокация! Сдача оружия — неизбежное условие, пред'являемое военнопленным. Меня как раз сегодня утром заверил майор Дэвис о самом благоприятном решении нашего вопроса. Послезавтра, на конференции с англичанами, все будет выяснено. А если я узнаю, что вы еще где-либо повторили эти провокационные рассказы, я прикажу вас арестовать. Понятно? Идите и зарегистрируйтесь в лагере.

У меня в душе бушевало. Оскорбительные слова генерала и его недоверие казались просто возмутительными. Однако, он меня не знал, и путевка, которую я ему показала, оче-

видно, не послужила гарантией, удостоверяющей мою серьезность и честность.

В Пеггек меня сопровождал только что сменившийся с дежурства полковник Протопопов. Он был приветлив и сердечен и всю дорогу рассказывал мне о своих впечатлениях, но я была так взвинчена, что оказалась плохим собеседником. Даже радость предстоящей встречи с майором была омрачена мыслями о разговоре офицеров в танке. Протопопов довел меня до шестого барака и указал на вторую дверь, взяв с меня слово, что, после встречи с «варягами», я посету его семью и останусь у них обедать.

Дрожащей рукой я постучала в дверь. Знакомый, немного сердитый голос пригласил войти.

«Женька», как мы ласково называли майора, вытира-
шил глаза. За ним стояли ординарец полка, поручик Сергей П., его жена Ольга, сестра милосердия, кудрявый верзила шофер Анатолий Г., Об'ятиям, приветствиями и расспросам не было конца. Все они радовались моему «чудесному появлению».

Сегодня, оглядываясь назад, я все больше и больше верю в перст судьбы, в предопределение, в предначертание человеческого жизненного пути и в то, что всем нам Провидение дает известную роль, которую мы должны сыграть, оказываясь в определенном месте и в определенное время. Командировка, которую мне дал полковник Рогожин, весь довольно замысловатый путь до Лиенца — все мне теперь кажется предначертанным и ведущим меня к определенной, тогда еще не ясной цели.

Майор подробно рассказал мне об их пути. Отделавшись от нас, использовав более широкую дорогу, им удалось выбиться в голову отступления, но и они были задержаны перед Дравским мостом, стали очевидцами борьбы с партизанами

и пробоя этой пробки, сделанного танками фон-Кейтеля и эскадром «Эдельвейс». Стараясь соединиться с полком и одновременно «нащупывая настроение» англичан, майор со своим сопровождением поторопился проскочить Клагенфурт, в котором ему было предложено сдаться в плен и сесть в один из придорожных лагерей, затем, переночевав в какой-то вилле в Перчахе, они проследовали в Шпитталь на Драве, в котором не было и следа «Варяга». Там узнали о местопребывании генерала Льва Рупника и отправились на озеро Оссиях. С семьей генерала была Ольга П., и, забрав ее, они двинулись в Лиенц, который для них оказался «конечным пунктом». Дальше ехать не разрешалось. Всех, кто сюда попадал, сейчас же отправляли в Пеггек и там предлагали ждать разрешения всеобщего вопроса.

Майор пробовал непосредственно вступить в связь с английским командованием, благо он прекрасно говорил по-английски, и там узнать о судьбе «Варяга», но в Лиенце соблюдалась строжайшая субординация. Очевидно, во избежание всякого рода «личных интервенций», все разрешения и путевки получались только через Доманова. По странной причине, оказалось, что и майора Г. Доманов встретил так же сухо и нелюбезно, как и меня. Пропуска к англичанам не давал, без объяснения причин, оттягивая со дня на день.

Майор подробно расспросил меня о всем пережитом нами с момента его отъезда. Произошло многое. Среди общих черт, уже описанных мною, вкрались и известные личные нотки. К тому времени я уже узнала, что группа, к которой я принадлежала, разбившаяся на части со дня капитуляции, имела потери. В отступлении несколько человек были захвачены красными и расстреляны. В перестрелке погиб очень способный и храбрый разведчик Петр Анику, албанец по происхождению. Неприятным было и то, что один из «саботеров», моло-

дой далматинец, бывший четник Николай Вештица, просто остался в Любляне...

По дороге у меня произошло столкновение с полковым врачом, д-ром Владимиром К., возглавлявшим обоз второго разряда. Он попал в полк по назначению немцев, после самоубийства полкового врача, д-ра Дурнева.

Красивый и очень молодой, из военнопленных, он с первых же шагов не заслужил доверия и уважения медицинского персонала. В нем было много апломба, мало знаний, и его диагнозы пахли самозванством. Но на безрыбьи и рак был рыбой, и предположение, что он был фельдшером в советской армии до сдачи в плен, в тот момент до некоторой степени удовлетворяло. Все же был послан запрос о присылке нового врача.

В пути д-р К. много пил. У него все время происходили столкновения с санитарями, тоже бывшими подсоветскими, быстрее нашего раскусившими «врача». Они с большим вниманием и уважением относились к распоряжениям старшей сестры, Ольги Ч., прекрасно знавшей свое дело.

Незадолго перед переходом Дравского моста, когда мы ожидали нашей очереди, у К. произошло столкновение с санитаром Ш., у которого в обозе находились жена и ребенок. Будучи пьяным, К. «не стерпел» оскорбления и, взяв с собой двух солдат, повел Ш. в лес... на расстрел.

Жена Ш. бросилась искать помощи и наскочила на меня. Заливаясь слезами, она умоляла спасти мужа. Не раздумывая, я побежала за К. и двумя насупившимися солдатами, которые мрачно вели санитаря Ш.

У К. на груди болтался автомат. Шел он, пошатываясь, с раскрасневшимся лицом, непрерывно гадко ругаясь. У меня тоже был автомат, подобранный по дороге. Выскочив перед «доктором», я потребовала, чтобы он немедленно вернулся в часть и доложил о случившемся капитану К., как старшему

офицеру отступавшей части. Поручик оттолкнул меня рукой и приказал солдатам поставить Ш. перед деревом и «стрелять в упор».

Был короткий и очень неприятный момент. Почти одновременно, как в картине Дикого Запада, мы оказались друг перед другом, К. и я, оба с автоматами в руках, готовые в любой момент выпустить очередь в противника.

Поручик К. первый опустил оружие. Махнув рукой, пьяной походкой он пошел под гору из леска, оставив меня с солдатами и бледным, как смерть, санитаром Ш.

О случае было доложено капитану К., который сказал, что, по возвращении майора, он передаст ему на рассмотрение этот инцидент.

Доложив точно обо всем, я не могла удержаться, чтобы не рассказать между прочим и этот неприятный случай, не думая тогда, что он должен был сыграть большую роль в нашем будущем. Все же, однако, не упомянула, что «д-р» К. пригрозил, что рано или поздно он отомстит за нашу стычку в лесу.

Майор выслушал все мои повествования задумчиво. Несколько раз переспросил и хотел, чтобы я точно, слово в слово, повторила разговор на французском языке в танке, затем вышел из комнаты и, вернувшись через час, сказал, что, несмотря на запрет Доманова и рискуя нашим арестом «за распространение будирующих слухов и провокацию», сообщил их всем комендантам барачков. Никто не поверил. Майор решил предпринять шаги сам.

●

Пеггец был огромным лагерем. Бараки за бараками, тысячи людей, снующих как бы без дела по дорожкам, стоящих в очередях за едой, сидящих на завалинках — молодых, стариков, женщин, детей... Казалось, что это котел, в который

сливались со всех сторон люди, по заранее намеченному плану. Пеггек, Лиенц — кровавыми буквами вписаны они в летопись страданий русских людей...

Узнав о моем приходе, в комнату № 2 шестого барака приходили многие, расспросить о друзьях, о Русском Корпусе, о возможных встречах с теми, кого по дорогам отступления потеряли.

К ночи майор пригласил на короткое совещание нескольких казачьих офицеров. Опять я должна была рассказать о всем виденном и слышанном. Как это ни странно, но и они не приняли моих слов всерьез. Все уже знали о предстоящей «конференции» с англичанами и верили в благополучный исход.

Мы сидели до зари. Строили разные планы. Майор хотел во что бы то ни стало вернуться в расположение отряда «Варяга». Раньше он не знал, где он находится, но теперь с правом мог требовать пропуска в Каринтию, в местечко Тигринг. Бензина в «Опеле» было мало, но Анатолий Г. заверил нас, что мы «сумеем обернуться» до Лиенца и обратно.

Часов в девять утра мы поехали к Доманову. Его мы в штабе не застали. Нам сообщили, что генерал, вместе со всеми офицерами штаба, отправился на православное богослужение, для которого была уступлена инославная церковь.

Мы под'ехали к собору, решив подождать выхода генерала. До нас долетало стройное, торжественное пение, возгласы священника и слабый запах ладана. Ждать пришлось долго. Мы поставили машину под густой тенью цветущих каштанов, и я совершенно незаметно для себя задремала. Проснувшись от стука автомобильной двери. Майор вышел и встретил выходящего Доманова. Разговор был короток. Генерал категорически отказал в выдаче пропуска или разрешении непосредственно говорить с англичанами и пригрозил,

что за «самовольную отлучку из Пеггеца, без документов с его подписью, мы можем быть пойманы патрулем на дороге и попасть в весьма неприятный лагерь».

Вернулись в тягостном настроении. В Пеггеце нас нетерпеливо ожидали поручик Сергей П. и Ольга. Поручик сообщил, что, раздумав, он решил ехать на следующий день, 28 мая, на обещанную «конференцию». Это вызвало бурю протестов Ольги и желчные дебаты между майором и мной с одной стороны и поручиком П. с другой.

— Что со мной может случиться? Прежде всего я — сербский офицер, подданный Югославии. Поеду послушать, что будут говорить англичане. Вам же самим интересно!

Переупрямить П. не удалось.

Время тянулось медленно. Темы для разговоров как-то иссякли. Я ходила по лагерю и искала знакомых; ужинала у сильно приунывшего полковника Протопопова. Легли рано, но почти не спали. То и дело вспыхивали спички, и затем красный глазок папиросы говорил о том, что кто-то не спит. Спали мы все в одной комнате, и беспокойство одного, как удар электричества, переносился другим. Встали с зарей. Позавтракали консервами и чаем, который сварил в общей кухне барака Петр. Почему-то все избегали встречаться взглядами и старались говорить на незначительные темы.

Казачьи офицеры подготавливались к встрече с победителями. Как Анатолий выразился, «мылись до седьмого скрипа», брились, приводили в порядок формы. На наши замечания отшучивались и говорили: — Как никак на смотр едем!

— Не на смотр, а на смерть... — мрачно прогудел Анатолий, бывший подсоветский, относившийся с недоверием ко всему творившемуся и пророчествовавший, что все они едут к «гицелям в собачий ящик».



К часу дня стали прибывать грузовики. Один за другим они вкатывались в лагерь. У входных ворот, вместо одного, оказалась пара английских часовых. По шоссе, как бы случайно, один за другим проползли четыре танка...

Из бараков выходили офицеры и спокойно группировались около машин. Стоя на ступеньках кабинок шоферов, за ними внимательно следили автоматчики. Из кузовов выглядывало еще по два солдата с карабинами и ручными гранатами за поясом.

Какази входили в машины с достоинством. Более молодые подсаживали седых бородачей, которые еще хорохорились, отталкивали от себя руки и гордо говорили, что и без чужой помощи влезут. Однако, лица у всех были серьезными. Шуток не стало. Женщины, вышедшие провожать, были сильно взволнованы. Чувствовало ли их сердце, что последний раз они видят своих мужей, отцов и сыновей?

Кто-то сказал, что видел прошедшие мимо лагеря легковые машины с генералами, а уж если генералы едут, то все в порядке. Они знают, что делают.

В лагерь ползли все новые грузовики. Образовался длинный караван. Я пошла к воротам, но была остановлена грубым окриком. Часовые мало были похожи на добродушных солдат, стоявших еще утром. Маленькие, загорелые, курчавые, в коротких штанах, оголявших волосатые кривые ножки. По их словам, всякий выход из лагеря «до конца конференции запрещен!»

Вернулись в барак. Там все еще пререкались майор с поручиком П., решившим во что бы то ни стало ехать. Поручик сбросил немецкий китель, остался только в защитной рубаше. Перебрасывая ремень прекрасной немецкой «Лейки» через плечо, он смеялся над нашими страхами и обещал привезти интересные снимки. На новую просьбу жены, он повер-

нулся, вышел и громко захлопнул за собой двери.

— Таки полез к «гицелям», — мрачно произнес Анатолий.

Вышли вместе с Ольгой на аллею. Она, заливаясь слезами, смотрела на мужа, уже стоявшего среди офицеров на одном из грузовиков. — Останови его! — твердила она, обращаясь ко мне. — Останови его насильно!

Подошли к автоматчику и стали ему по-немецки объяснять, что вон тот, высокий офицер, не русский, а серб. Ему не надо ехать на «конференцию».

Солдат, очевидно, понял. Тыча пальцем по направлению П., он крикнул: — Хэй, ю! Югослав! Гет аут оф хир! Джамп даун!

П. спрыгнул. Его лицо было бледно от бешенства.

— Чорт знает, что такое! Бабы! Осрамили меня, можно сказать, перед всем казачеством! Прямо позор!

Внезапно, под влиянием мгновенного порыва, Ольга толкнула его и выкрикнула: — Ну, и иди, если тебе так хочется!

П. снова влез в машину. Где-то вдалеке, кто-то дал протяжную команду, которая, как мне показалось, кончилась длительным.... хooooй! Загудели моторы. Кортёж двинулся.

— Ждите нас к ужину! — весело крикнул Сергей, щелкая аппаратом и снимая идущие перед ним грузовики.

Больше мы его не увидели.



Лагерь затих. Уехало больше двух тысяч человек. По пустынным улицам ветер мел пыль маленькими воронками. Как в воду опущенные, ходили женщины. Где-то ребята водили хоровод, и детские голоса выводили сыздавна знакомое: «Как на Люсины именины испекли мы каравай, вот такооой высоты, вот такооой ширины...»

Жара была невыносимой. Мы маялись. Пробовали убе-

дить себя, что все наши страхи излишни, что наши действительно поехали на совещание, конференцию, встречу, с которой все благополучно вернутся, но час проходил за часом и никто не возвращался. Около четырех часов мы услышали рев моторов машин. Все бросились на улицы лагеря. От ворот, замедляя ход, шествовали пустые грузовики. Приехали добирать тех, кого не приглашали в первую очередь: докторов, чиновников, писарей.

Наш майор и Анатолий «закамуфлированы»: оба в рабочих «комбинезонах», без всяких военных значков. Парочка курчавых заглянула и к нам в комнату.

— Больше нет офицеров? — спросил один из них по-русски, делая ударение на последнем слого.

— Нет!

Ушли.



...На этот раз англичане не поинтересовались документами майора и Анатолия и поверили нам на слово, но, по всей вероятности, они опять вернутся. Нужно было что-то делать и делать срочно. Мы больше не сомневались, что увезенных не возвратят. А если нас сегодня не взяли — возьмут завтра. Выйти из лагеря всем вместе невозможно. Задержат носатые часовые у ворот.

Я открыла рюкзак. Вынула сербскую форму и быстро переделалась. Сказала Ольге, и она достала из чемодана свеженькую форму сестры милосердия. Короткое совещание — и, зная обычай англичан выдавать «бумажки» без печатей, без официальных заголовков, мы получаем от майора написанное им по-английски «разрешение» на клочке бумаги, чернильным карандашом: «делегации Югославского Красного Креста разрешается передвижение по дорогам Австрии для сбора сведе-

ний о больных и раненых сербах, разбросанных по лазаретам и госпиталям».

Майор перекрестил Ольгу и меня. Попрощались с Анатолием. Кто знает, что нас ждет! Быстро вышли из барака и «смело и уверенно» пошли к воротам.

— Халт! Стой! — Две винтовки штыками скрещиваются у ворот.

Я буквально физически почувствовала, как у меня «упало» сердце. Стараясь сохранить спокойный и уверенный вид, протянула «липу». Солдаты внимательно посмотрели на мою форму, сербскую пилотку - «шайкачу», на белого орла на малиновом фоне, которого я пришила к Ольгиному рукаву. «Бумажка» из одной лапы переходит в другую. Оба внимательно читали, тихо переговариваясь. Ворота открылись, и мы вышли на пыльный путь к Лиенцу.

Мы почти свободны, но нужно что-то делать, чтобы освободить майора и Анатолия.

Взявшись за руки, бегом бежали мы по шоссе в город. На протяжении всех почти трех километров встретили только медленно шлепающий танк и два патруля на мотоциклетах. Ни русских ни австрийцев. Казалось, что все замерло в этот день.

По заранее составленному плану, мы должны были искать сербов-добровольцев в Лиенце и выпросить у них настоящие документы с сербскими печатями, для того, чтобы вывести из Пеггеца майора и шофера. Мы считали, что нас выпустили легко только потому, что мы — женщины.

...Город был пуст и тих. Приближался полицейский час. Мы перешли через Дравский мост. За ним — засада. Из-за угла дома выскочили английские солдаты. Показываем майорский «документ», но он не оказал нужного действия. Мы были тут же арестованы.

Пронзительным свистком англичане вызвали подмогу. Пришел патруль, который повел нас к комендантскому управлению. Гулко отдавались наши шаги по пустым улицам. Ни одного встречного. Подошли к большому зданию — штаб корпуса. Начальник патруля сдал нас часовому. Из отрывков их разговора как-то понимаю, что в здании никого нет: суббота, все разошлись. Нас посадят в бункер, и мы будем там сидеть до утра понедельника.

Впервые за все время я почувствовала прилив отчаяния. До понедельника! Что может произойти до понедельника! Бежать? Абсурд. Четыре вооруженных солдата, большая пустая площадь. Пока ее перебежим, будем пристрелены.

Солдаты не торопились. Закурили и продолжали разговор на свои темы. Один из них протянул мне и Ольге пачку и предложил взять папиросу. Внезапно они подтянулись, заметив движение в больших входных дверях здания. Из них бодрым шагом вышел высокий английский капитан в черном берете танкиста. Остановился и, натягивая перчатку на левую руку, уставился на нас. Он что-то спросил у патрульного капрала. Очевидно, его не удовлетворил ответ, и он обратился ко мне. Я не поняла. Улыбнулся и переспросил по-французски.

— Теперь вы меня понимаете?

— О, да! Конечно!

— Что с вами произошло?

Тут же, на пороге здания, я рассказала ему историю, в которой правда переплеталась с выдумкой. Протянула бумажку. Мы — члены сербской миссии Красного Креста. Разыскиваем сербов, затерянных в лазаретах Австрии. По дороге ночевали в Пеггее, который сегодня закрыли, никого не выпускают из лагеря, а русских повезли на какую-то «конферен-

цию». Нам, двум женщинам, дали возможность выйти из лагеря, но там остался наш автомобиль и два шофера. «Шеф» нашей миссии, поручик П., случайно попал среди русских и уехал с ними. Нам необходимо разрешение, чтобы вырваться из Пеггеца, найти поручика и продолжать дело по розыску сербов.

Капитан, канадец, как он потом сказал, очень внимательно слушал. На лице его появилось недоумение, а затем замешательство.

— Вы говорите, что шеф вашей миссии, сербский офицер, попал вместе с русскими? — спросил он задумчиво.

У Ольги слезы на глазах: — Сэ мон мари! Это мой муж, капитан! Спасите нас и помогите его найти!

Она сказала «спасите», и это слово не вызвало никакого изумления на лице офицера. Он медленно разорвал на кусочки написанный майором фальшивый пропуск и, махнув нам рукой, повел в здание.

По гулким коридорам, по широкой лестнице прошли наверх, и капитан ввел нас в свой кабинет. Очень любезно пригласил сесть. Достал из ящика стола пачку папирос и спички, предложил закурить. Повернул доску стола, и на поверхность выплыла пишущая машинка.

— Ваше имя? Чин? — обратился он ко мне. — Вы — старшая после поручика? Имя и фамилия сестры милосердия? Почему у вас два шофера?

Отвечая на вопросы, сбивчиво объясняю, что один из них — шофер, а другой — вроде ординарца.

— Марка автомобиля? Его номер?

Мелкой дробью сыплет буквы и слова пишущая машинка. Последняя точка. Капитан вытянул лист, поставил печать с мальтийским крестом и подписал.

— Вот вам «пермит». Идите скорей в лагерь, забирайте машину и шоферов и, не откладывая, немедленно уезжайте.

те из Лиенца. В документе я поставил и имя вашего шефа миссии. Если его найдете, «пермит» важен и для него.

— Где мы будем его искать? Где русские?

— Не знаю. Этого я вам сказать не могу. Мой совет — держитесь подальше от русских.

Схватили разрешение, крепко пожали руку капитану и, быстро сбежав по лестнице, вышли на улицу.

Опять бегом летели по шоссе. Оно было совершенно пусто. Вдали заметили рогатку через дорогу и группу английских солдат. У входа в лагерь — дежурный танк. У ворот часовые сменились. Протянула им пропуск и невольно задержала дыхание. Уже стемнело, и кривоногий солдат в очках вынул карманный фонарик, ответил бумагу и быстро пробежал содержание пропуска глазами. Отчетливо отдал честь и открыл боковую калитку.

Лагерь был темен и тих, похож на громадное кладбище. Жизнь затихла в ожидании неотвратимого ужаса. По главному проходу между бараками медленно шел английский патруль. Стараясь не шуметь, мы вошли в барак № 6 и остановились перед вторыми дверями. Сердце билось радостью, и нам обоим хотелось, чтобы наши лица не отразили ее сразу.

У стола, при свете маленькой, тусклой лампочки, сидели две молчаливые фигуры. Лица серые, под глазами круги усталости и тяжелых мыслей. Майор поднял голову.

— Вы? — спросил он как-то безнадежно.

— Ну, что? — прибавил хрипло Анатолий. — Засыпались? Повезут нас всех «на шлепку» к отцу народов, а?

— Разве никто не вернулся? — спросила Ольга.

— Не только не вернулся, но еще раз приезжали и забирали. Мы в уборной отсиживались. Боимся, что завтра заберут нас всех «под метлу». Кто-то в сумерки попробовал бежать. Пристрелили...

Молча протянула майору документ. Он читал, и его лицо менялось.

— Это чудо! — прошептал он. — Это настоящее чудо! Меня уже годами ничто не могло удивить, но сейчас я просто потрясен! Это документ. Это пропуск, настоящий безапелляционный пропуск! Понимаете?

Чудо? Конечно, чудо. На всем пути целый ряд чудес. Не арестуй нас за мостом, мы не попали бы к капитану.

— Он же — ад'ютант командира корпуса! — повторял майор. — Командира корпуса! Это — шишка! Попробуй нас кто-нибудь остановить!

— А в машине всего два литра бензина... — растерянно сообщил Анатолий, с хрустом почесывая свою кудрявую голову.

— Нам только бы выехать на шоссе, выбраться отсюда! — ответил майор. — А там, как Бог даст!

Целую ночь готовились к выезду. С дверей «Опеля», стоявшего в углу за баракom, ножами соскребли красками написанные знаки РОА. Из каких-то тряпочек сшили сербский флажок на радиатор. Вещи были вынесены и уложены в задник машины. Закончив работу, прилегли, но это тоже была ночь без сна. Ждали рассвета. Нервы были натянуты до крайности. Понимая всю тяжесть положения, мы все еще не доверяли своему спасению, и нас мучила совесть, что только мы, мы одни, сможем с Божьей помощью вырваться отсюда...

В темноте вспыхивали огоньки папирос. Ольга тихо плакала, уткнувшись в подушку. Она положила рядом с собой китель мужа, обвила его рукавами свою шею, и иной раз было слышно, как она повторяла его имя: — Зачем? Зачем, Сереженька?

Где-то вдалеке, вероятно в селе, были, как к покойнику, собаки.

С постели майора то и дело вспыхивала зажигалка, освещающая циферблат часов. Мы все с открытыми глазами ждали завтрашнего утра — утра 29-го мая.



ДНИ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И СТРАДАНИЙ.

...Прошло четырнадцать лет. Перелистывая странички записной книжки, читая короткие, деловые фразы, я вдруг снова становилась свидетелем всего пережитого — того, что не могут стереть годы, ни вызванная нервной работой забывчивость. Легко забыть то, что произошло на прошлой неделе, даже вчера, но май 1945 года врезался в мою память навсегда, и стоит только мысленно сдуть пыль с календаря воспоминаний, как перед глазами встают люди, встречи, события, факты...

Не так давно мне задали вопрос: — как это возможно, что все генералы, офицеры и казаки, ставшие жертвами Лиенцевского предательства, так доверчиво пошли на смерть или в ссылку?

Привыкшие к честности, к понятиям об офицерском слове, к русскому отношению к пленным, никто из них, очевидно, не мог предполагать, что с ними так вероломно поступят офицеры королевской английской армии. Сдаваясь в плен, все верили, хотели верить, или сами себя убеждали в том, что борьба с коммунистами не закончена, что она переходит в новую фазу, и что западным союзникам должна быть ясна причина, побудившая русских людей надеть немецкие формы. Когда, однако, жуткая истина стала перед ними во всем своем уродстве,

проявил себя русский фатализм и лозунги: «на миру и смерть красна», и «один за всех, все за одного».

Записывая эти воспоминания, возможно, я невольно опускаю важные факты, уже упомянутые в многочисленных описаниях событий в Лиенце, за счет моих личных наблюдений и переживаний, но мне кажется недопустимым расширить рамки этой книги, цель которой дать только то, очевидцем чего я сама являлась.



...На заре 29-го мая, тихо, как тати, мы вышли из барака. Лагерь еще спал или, вернее, притаился. Оставшиеся люди прятались по комнатам и не выходили на улицы.

Сели в автомобиль. Я в сербской форме и Ольга сзади, Анатолий за рулем, а майор рядом с ним, в сером комбинезоне, как «помощник шофера».

Какое это было утро! Как природа была далека от человеческой гнусности! Я и сейчас вижу голубовато-сиреневые, в дымке рассвета, очертания гор и нежно-бирюзовое небо. Лето, теплынь — Богом посланная радость. Роса на траве и деревьях, пение птиц; веселый полет бабочек-капустниц, гонящихся друг за другом; стрекотание кузнечиков... Изумительная гармония пробуждения дня, а у нас в душе ад, вызванный поступками людей без чести, без слова, без совести.

«Опель», несмотря на почти пустой бензинный бак, двинулся послушно. Кос-где в окнах появились лица, привлеченные звуком мотора. Нас мучило чувство стыда: мы уходим. Бежим, воспользовавшись благосклонностью случая. Мы поддались чувству самосохранения, утешая себя, что мы нужны тем, кто нас ждет, кого надо предупредить, предотвратить новые несчастья, если это еще возможно.

Не очень уверенно под'ехали к воротам. Курчавые солдаты направили на нас дула автоматов. Анатолий остановил ма-

шину. Я протянула им мой пропуск, а майор по-английски объяснил им, «кто мы такие».

На секунду мы перестаем дышать, у нас не бьется сердце, и мы замираем.

Очевидно, подпись ад'ютанта командира корпуса и печать с мальтийским крестом имели волшебную силу. Ворота открылись настежь. Часовые стали смирно, и мы выехали на дорогу, ведущую к главному шоссе.

Все мое существо встрепенулось, и горячей волной захватила радость. Свобода! А с ней и жизнь!

Вспоминается и то, как у меня «выросли глаза на затылке». Не поворачивая головы, я почувствовала, видела взгляды обреченных людей, оставшихся за нами в лагере.

Не успели мы выехать на главную дорогу и повернуть направо, к Шпитталю, как у нас стал захлебываться мотор. Перед нами, метрах в 100 — первая рогатка. Около нее палатки и группа английских солдат. Дорога шла слегка под гору, и мы «на цыганском газе», по словам Анатолия, докатились до них.

Опять майор показал пропуск, рассказал, куда мы едем, показывая на меня, вернее на мою сербскую форму, и, не сморгнув, солгал, что ночью, пока мы спали, у нас неизвестные лица выкачали весь бензин из бака автомобиля. Мы торопимся в Клагенфурт, у нас важная миссия. Не дадут ли они нам бензина?

Свершилось еще одно чудо. Солдаты были ирландцы. Их рыжий сержант поковырял зубочисткой в ухе, посмотрел на нашу путевку, с развальцей медленно пошел в палатку и собственноручно вынес два бака бензина. С жадным клочкотанием их содержимое проглотил наш «Опель». Ирландец опять почесал в ухе, подумал, вернулся в палатку и вышел с еще двумя баками...

От Лиенца до Шпиттала мы прошли через 19 рогаток. Девятнадцать раз мы показывали заветную бумажку, и девятнадцать раз нам отдавали честь и пропускали без возражений. Всюду мы расспрашивали, не проезжали ли вчера тут автомобили с русскими. Почти все посты отвечали утвердительно.

Попадавшие навстречу танки нас не останавливали. Весь путь был пройден без задержек. Останавливаться в селах мы не решались и торопились вперед.

Приехав в Шпитталь, мы отыскили здание, на котором стояла вывеска «Ф. С. С.» Громадный дом. Около него кишели отъезжающие и приезжающие джипы и легкие грузовые машины. Сновал нород. Стояла длинная очередь австрийцев, ожидавших выдачи каких-то пропусков.

За зданием — парк. В нем стрельба, смех и английские ругательства. Очевидно, из всех комнат этого дома вынесены бюсты Гитлера: огромные, большие, поменьше. Их расставили на балюстраде террасы, и солдаты стреляют по ним из винтовок.

Мне поручено собрать информацию в этом таинственном Ф. С. С. Вошла в вестибюль и сразу заметила дверь, на которой написано «Информэйшюн». Постучала и вошла. На плюшевых креслах сидели два сержанта в малиновых фуражках. Ноги на столе. Оба немного говорили по-немецки. Показав им пропуск, я сказала, что мы ищем русских, которых увезли из Лиенца. Среди них, по печальной случайности — «шеф наш й миссии», поручик Сергей П. Мы хотим его найти и забрать с собой.

— О! Ди Руссен? Рошенс? — сержанты переглянулись и посмотрели на меня, не снимая ног со стола. Старший из них долго смотрел на меня и, медленно поднявшись, подошел к карте на стене. — Видите? — спросил он, показывая

грязным ногтем точку на карте. — Село Деллах. Там все русские, и ваш шеф с ними.

Набираюсь храбрости: — Вы в этом уверены?

— Шур, шур! Вне всякого сомнения. Все там!

В автомобиле рассмотрели нашу карту. Нашли Деллах и двинулись туда. Это оказалось маленьким селом. Несколько сонных англичан в канцелярии бюргмейстера. Спросили их о русских: в глаза не видели. Кроме них, никого в селе нет, и нет военнопленных.

Они любезны, эти солдаты. Меня называют «блонди», шутят и, очевидно, хотят помочь. Куда-то позвонили по телефону, долго говорили. Потом с приветливой улыбкой сообщили, что я неправильно поняла. Русские привезены из Лиснца не в Деллах, а в село Дельзах. Гуд бай!

Нашли на карте и это местечко. Довольно большое расстояние. Начинаем волноваться. Эти поездки — потеря драгоценного времени.

Приехали в Дельзах. Ни англичан ни русских. Австрийский бюргмейстер сочувственно отнесся к нашим поискам. Может быть, мы ошиблись? Может быть, не Деллах и не Дельзах, а... Даллах? Есть и такое село. Там англичане.

Поехали и в Даллах. Результат тот же. Ничего не оставалось делать, как вернуться в Шпитталь. К полудню мы были там и, проголодавшись, решили зайти в кабачок выпить кофе и закусить припасами майора. «Опель» спрятали во дворе этой пивной и вступили в разговор с хозяином. — Ди Руссен? О, я! О, я! Много русских в немецких формах провезли на грузовиках. Следует посмотреть в местной тюрьме. Кажется, их поместили там!

Пока пили желудевый кофе, договорились о дальнейших планах. Всем идти на разведку не рекомендовалось. Пользуясь сербской формой, пойду я, с пропуском в кармане. Остав-

шись без этого драгоценного документа, наши останутся в пивной и будут стараться избегать встречи с англичанами.

Кабатчик объяснил дорогу к тюрьме. Я медленно шла по улицам, ко всему присматриваясь. Было очень жарко. Жизнь в городе приняла более или менее нормальный вид; дамы в чистых летних платьях, нарядные дети. Были открыты кое-какие магазины, которые осаждались английскими солдатами. Откуда-то раздается громкая радио-музыка. Странно: играют немецкую солдатскую песенку «Лили Марлен»!

Вышла на главную улицу. Какое-то столпотворение. Одна сторона оцеплена английскими солдатами под оружием. Всех проходящих гонят на другую сторону. Остановилась и увидела, что что-то происходило перед большим зданием, перед которым стояли машины. На них знаки РОА!

Я застыла, прижавшись спиной к стенке дома. У меня тяжело забилось сердце, и горло сжало спазмой. Чувствовалось, что вот-вот произойдет что-то непоправимое.

Раздалось несколько коротких команд. Солдаты еще дальше оттолкнули наседавших любопытных. Из дома вышли англичане и генерал Андрей Шкуро, в полной форме, в сопровождении офицеров. Я сразу узнала Петра Бабушкина, Чегодаева и еще одного нашего белградца.

Их подвели к машинам. Австрийцы на улице громко комментировали это событие; — Ди Руссен. Их выдают Советам! — долетело до меня. Протолкнувшись к говорившему, я спросила: — Что здесь происходит?

— Ди Руссен! Их выдают Советам! — повторил высокий человек в странно и неловко сидящем штатском костюме. — Бедные... Вчера еще были с нами вместе...

Он сказал «аусгелиферт»? Выданы! Сказал это таким тоном, что не могло быть сомнений в верности его слов. — Откуда вам это известно? — спросила я его взволнованно. Ав-

стриец окинул меня взглядом, полным недоумения: — Разве вы не знаете? Об этом говорят со вчерашнего полудня!

Протолкалась еще вперед. До меня донесся голос генерала Андрея Шкуро. Он громко протестовал, говорил о том, что он — кавалер английского ордена Бани. — Дайте мне револьвер! Я не боюсь смерти, но я не хочу попасть живым в руки красной сволочи!

Шкуро подсадили в машину. За ним вошли остальные русские офицеры. Взыла сирена выскочившего вперед мотоциклета. Траурный кортеж двинулся. Кавалера английского ордена Бани, боевого генерала, бывшие союзники выдввали коммунистам.



В сильном смятении я все же пошла к тюрьме. По дороге увидала вывеску, знакомую мне с Виллаха: «Таунмэджер». Решила попробовать счастья и попытаться узнать там что-либо о русских из Лиенца.

Таунмэджер меня принял. Он ни слова не говорил по-немецки. Вызвал переводчика. Появился в штатском человек ясно выраженного семитского типа. Мой первый вопрос о русских вызвал у него дикую вспышку ненависти. Он схватил меня за плечи и стал трясти, как тряпичную куклу:

— Что вы себе думаете? — кричал он, брызжа слюной мне в лицо, мзшая польский, русский и немецкий жаргоны. — Кто вы такая, чтобы собирать сведения о «кригсфербрехерах»? Собакам — собачья участь! Вы — югославянка? Так почему вы не в Виктринге? Почему вы не стремитесь вернуться домой к великому маршалу Тито? Какое вам дело до русских «бьялобандитов»? Вы все заслужили виселицы! Марш! Вон отсюда, пся крев! Вон, чтобы мои глаза тебя не видели!

Худенький, болезненного вида таунмэджер сидел молча, вытаращив глаза, открывая рот, как рыба, очевидно пытаясь

вставить хоть одно слово, но переводчик этого не допустил. Одним рывком, схватив меня за шиворот, как паршивого щенка, он выбросил меня за дверь и хлопнул ею изо всей силы.

На столе у таунмэджера осталась моя спасительная бумага. Сжав зубы, я повернулась, влетела обратно в кабинет, схватила лежавший на столе пропуск и выскочила вон. Прыгая через несколько ступенек, я скатилась вниз и выбежала на улицу.



Тюрьма в Шпиттале занимает целый квартал. Выход на четыре улицы. С трех сторон трехэтажное здание, с четвертой — высокий забор и за ним тюремная площадь. У всех входов парные часовые и легкие пулеметы.

Я подошла к забору и прислушалась. Тишина. Голосов или движения не слышно. Если казаки здесь, то их уже разместили в здании. Обойдя кругом весь квартал, я попробовала заговорить с часовыми. В ответ на меня молча уставились дула винтовок. Останавливала на улице прохожих и задавала один и тот же вопрос. Никто ничего не знал. Через полчаса я решила вернуться в кабачок.

В пивной смятение. Из окна они видели кортеж с генералом Шкуро и затем пять грузовиков в сопровождении мотоциклистов и джипов. Грузовики были закрыты парусиной, но в отверстия сзади выглядывали люди, махали руками и что-то кричали. Лица их выражали отчаяние. Ольга, выбежавшая на улицу, слышала русские слова и заметила широкие лампасы одного, старавшегося выскочить из машины. Его грубо втянули обратно, и на улицу скатилась пилотка... Ольга ее подобрала и сидела теперь у окна, прижав ее к груди, качаясь, как от боли, и проливая безмолвные слезы.

Майор обратил мое внимание на двух военных, в английских формах, сидящих в темном углу кабачка и тихо го-

ворящих по-сербски. Они подозрительно рассматривали меня. Я тоже смерила их взглядом. На рукаве, под самым погоном, у них была лычка с надписью «Сербия». Очевидно, подумала я, королевские офицеры на службе у англичан. Подошла к ним, поздоровалась и представилась. На их лицах — что угодно, только не дружелюбие.

— Вы желаете? — как-то неопределенно спросил старший, высоко подняв брови.

— Мы ищем одного югославского офицера, поручика, который, по недоразумению, попал в Лиенце вместе с русскими. Мы боимся, чтобы он не был выдан Советам! Может быть, вы нам поможете? Вы в английских формах, вам будет легко узнать, куда отправили казаков из Лиенца.

— Он партизан? Титовский офицер?

— Конечно, нет! Белый!

Старший цинично ухмыльнулся, стряхивая пепел с папиросы в полупустую кофейную чашку: — Тогда ему все равно, где быть. Выдают не только русских: выдают и сербов. Сегодня с утра началась выдача на Виктринге. Ни один фашист, ... этой выдачи не избежит, где бы он по Австрии ни прятался.

На лицах у обоих — партизанская наглость. Титовцы — английские офицеры. Чему еще изумляться? Значит, вся Австрия — это огромная мышеловка. Потому нас сюда и сливали, как в большой котел, со всех сторон, через все границы. Чтобы одним ударом прихлопнуть «гидру контр-революции», всех белых, из какой страны они ни пришли!

Майор слышал наш разговор. Он встал и незаметно вывел из пивной Анатолия и Ольгу. Я вышла во двор. Там — метаморфоза. Анатолий и майор сняли комбинезоны. На них немецкие формы с чинами и знаками отличий. На «Опеле» больше нет югославского флага. Меня толкнули в уборную. Там

меня ждала Ольга, держа в руках мою немецкую форму. — Переодевайся! Теперь, кажется, спокойнее быть просто немцами!

Через несколько минут мы уже мчались по шоссе к Виллаху. Рогаток больше не было. Никто нас не останавливал и не проверял, но все же город мы об'ехали проселочными дорогами и по этим же боковым путям, непрерывно следя по карте, поднялись в горы, чтобы сверху под'ехать к Тигрингу.

Мы не знали, что творится там. Не оцеплены ли они уже? Не выдают ли и их? Что же с Охранным Корпусом?

С высокого холма, с которого открылся вид на Тигринг, большой фольверк, церковь, ряд палаток, самодельных хат, дым костров, мы увидели, что волна террора выдач сюда еще не докатилась.

Лучи солнца отражались в стеклах наших грузовиков. Издалека мы заметили весело играющих беженских детей. Где-то надрывалась гармошка, и чей-то звучный голос из леска с противоположного холма кричал: — Ва-а-анька! Кони сюды-и-и забрели-и-и!

Там еще ничего не знали. Спрятанные в глуши, они понятия не имели о том, какая трагедия происходит в Долине Смерти, на берегах мутной Дравы, в Лиенце и Шпиттале.

Нас первыми заметили два молодых лейтенанта, Николай К-в и Володя С-ко. Они выбежали из сеновала, в котором поместились, и, увидев машину, в ней майора с Анатолием, с ревом восторга бросились навстречу.

Через несколько минут мы уже сидели в палатке капитана К. и связывались по полевому телефону с полковником Рогожиным, а через полчаса майор, забрав меня, поехал в штаб Корпуса в Клейне Сант Вайт.

Я думаю, что, если бы мои слова не подтвердил майор, мне никто бы не поверил. Такое предательство, такая под-

лость казались просто несовместимыми с понятием о командовании королевской армии! От Рогожина мы узнали, что в расположении Корпуса не было еще никаких тревожных признаков. Люди разбросаны по селеньям и фольверкам, кругом леса и горы. Захватить не так легко.

Корпус с моего ухода не имел никаких вестей из Сирница и Вейтенсфельда от Вагнера и фон-Паннвица. Майор и Рогожин согласились, что необходимо без промедления сообщить им о событиях на берегах Дравы.

Мы вернулись в Тигринг. Ольга и я сели в «Тришку», Анатолий за рулем. Перед этим мы опять «стали сербами». Без лиенцевского пропуска было опасно двигаться в места расположения казаков. Нам приказано встретиться с Вагнером и, по возможности, с фон-Паннвицем, доложить обо всем совершившемся и дать совет — разбегаться! Идти в горы, в леса, маленькими группами. Не оставаться в селах или лагерях.



Какой длинный был этот день! Иной раз за всю жизнь нельзя столько пережить, сколько мы пережили в период каких-нибудь двенадцати часов.

Был уже вечер, когда мы под'ехали к Сирницу. Пустота и тишина. На полях нет и следа казаков, палаток, лошадей. Только кучи пепла от костров. Брошенные вещи. Там одинокий сапог, в другом месте смятая шинель; где-то пилотка.

Нас охватил страх: опоздали!

И в самом маленьком селе тихо. Встречные крестьяне отворачивают от нас головы. У самого в'езда на небольшой плац натолкнулись на английский патруль. Солдаты нас остановили. Показала им пропуск из Лиенца. Пропустили.

Ехали к гостинице молча. «Тришка» пыхтел и каприз-

начал на под'еме в горку. Вспоминаются слова Анатолия, которые он сказал перед от'ездом в Сирниц:

— Едем, конечно, спасать, кого можно, но сами суем голову в петлю, из которой только что вылезли!

Сейчас его лицо бледно, и на лбу капельки пота. Никто из нас не знает, что нас ждет в гостинице.

Под'ехали к дому, на котором несколько дней назад вилась флюгарка командира казачьей дивизии. Ее больше нет. На пороге нас встретила толстая хозяйка и Гретл, ее дочь.

На их лицах испуг.

— Абер, фрау Ара! Зачем вы приехали?

Оне быстро ввели нас на второй этаж гостиницы. Комнаты пустуют. Всюду открыты двери. На полу бумаги, вещевые мешки, брошенные брюки с казачьими лампасами. Через открытые окна сквозняк, как с опавшими листьями, играет с оторванными с рукавов значками казачьих войск. Машинально подобрала их и сунула в карман.

— Все началось со вчерашнего дня! — захлебываясь, поясняла толстая хозяйка. — В ночь перед этим почти все немецкие офицеры бежали в горы. После долгого колебания, ушел и полковник Вагнер вместе с ротмистром Я. и поручиком Хаазе. Герр Вагнер ждал вас. Выходил на дорогу. Приказал передать, что он ушел на Зальцбург, если доберется. ...Генерал фон-Паннвиц отказался бросить «козакен», и его забрали англичане... Русских всех увезли... Всех «козакен»... Майн Готт, майн Готт!

— Куда, фрау Хофманн?

— ...Не знаю. Соседи рассказывали, что через Вейтенсфельд и Альтхоффен на Грац. Один Бог знает...



...Опять в дороге. До Вейтенсфельда рукой подать. На пути встретили старого «бауэра». Он охотно нам сказал, что

всех «козакен» увезли, но небольшая кучка все еще находится на выгоне за селом.

Синева сумерек пала на землю. Мы находились высоко в горах. Сильно похолодало, но вода в «Тришке» закипела от постоянного под'ема. Остановились у ручья и стали расхаживать мотор. К нам подошла группа крестьян, возвращавшихся с пашни. Они указали нам на красную крышу большого фольверка, проглядывавшую через густую листву деревьев. Путь круто завернул налево, и мы остановились перед массивными воротами. Перед ними — парные часовые, шотландцы с помпонами на беретах. Посмотрев на пропуск, они открыли ворота. На пороге дома нас уже ждал молодой сержант. Он бойко говорил по-немецки, с берлинским акцентом. Рассмотрел наш документ и спросил, чем нам может быть полезен.

В те дни голова работала быстро. Уже по дороге мы составили план. Спокойно и с весом я сказала ему, что мы ищем русские части, в которых находятся русские же, но поданные Югославии и даже бывшие офицеры королевской армии. Я прибегаю к крайнему средству: — Эти люди в ы д а ч е в Советский Союз не подлежат! Мы имеем особые распоряжения. Они будут возвращены в Югославию.

Сержант помигал глазами. Видно было, что он серьезно задумался. Оставив нас на пороге, он вошел в дом, и через открытое окно мы услышали голоса и затем звук ручки полевого телефона.

Прошло минут десять. Сумерки стали гуще. Анатолий грыз ногти до крови.

Минут через десять в окне промелькнуло лицо в малиновой пилотке. Вспомнилась встреча с капитаном в Обер-Феллахе... Вслед за тем выскочил сержант с веселой улыбкой. — Ваши документы! — сказал он, обращаясь ко мне и протягивая руку.

Я дала пропуск.

— Нет! Его удержите. Ваши личные документы. Все, что вы имеете.

Из внутреннего кармана кителя я вынула действительно все мои документы, включая и метрику, с которыми не расставалась в продолжение всей войны.

— Это — залог! — продолжал он с той же улыбкой. — Залог и ваш шофер с машиной, а вы и сестра милосердия, пожалуйста, садитесь в мой джип.



Анатолий набрал полную грудь воздуха, затем, крепко сжав зубы, выпустил его, крикнув, как бы сдержав себя, чтобы не высказать своих мыслей. Махнул нам рукой, сел в «Тришку» и отвернулся.

Дорога шла под сводом густого орешника. В неожиданном прорыве между кустами, перед нами открылся выгон, окруженный густо намотанной изгородью из колючей проволоки. Проволокой же оплетены ворота. Перед ними часовые и два пулемета.

На выгоне недостроенный барак — скелет без стен и крыша. Перед ним группа людей, сидящих и лежащих прямо на земле. Бросаются в глаза фигуры священников, седой монах, несколько девушек и женщин в формах сестер милосердия. Ярким пятном является группа калмыков с их типичными лицами. Рядом казачьи офицеры и немного казаков. Сразу же замечаю майора Владимира Островского, есаула Антонова, лейтенанта Владимира Трескина, полковника А. Сукало и др.

Островский стоял, расставив ноги. Его лицо с русой бородой, загорелое и темное, светлый чуб из-под фуражки и дерзко смотрящие карие глаза напомнили мне почему-то Стеньку Разина. Широко расстегнут ворот защитной рубахи. Руки глубоко засунуты в карманы. Увидев меня и Ольгу, не выка-

зывая никаких чувств, он медленно подошел к джипу на перераненных в войне, кривоватых ногах.

Ни одним жестом мы не показали, что знаем друг друга. Разговор велся по-немецки в официальном тоне. Я поторопилась рассказать ему вымысел о нашей «миссии» и спросила об именах и фамилиях югославских подданных. Майор Островский начинает перечислять. Я записываю. Выходит, что не-подданных нет. Все из Югославии, и большинство — офицеры королевской армии. Хотя это звучит довольно неправдоподобно, английский сержант кивает головой и просит меня записать все имена. В подкрепление, Островский дает мне свою легитимацию сербского капитана артиллерии.

Сержант повернулся к нам спиной и стал разговаривать с Ольгой. Его заметно поразила ее редкая, яркая красота. Мы пользуемся этим, и Островский, перечисляя имена, тихо вставляет по-русски фразы, рассказывая о происшедшей у них трагедии. В ответ я сообщаю о Лиенце.

— ...Выдали всех! — говорил он торопливо. — Увезли «Панько»... Мы оказали сопротивление.... Отец Адам, монах из Югославии, батюшка Власенков с сыном... Поручик Меркулов... Англичанам пришлось нас выделить. Привели на этот выгон. Угрожали расстрелом: водили в лес и ставили перед пулеметами... Пускали в ход огнеметы... Вахмистр Иванов... все из Югославии. Из Югославии вся группа калмыков... Сделайте для нас, что можете!

Список закончен. Спустилась ночь. Сержант, оторвавшись от карих глаз Ольги, торопит. Движение ночью по дорогам запрещено. Наш автомобиль окружила густая толпа. Каждый хочет пожать нам руки. Со всех сторон просьбы спасти.

...Приехали обратно к дому с красной крышей. Из окон льется яркий свет. Он падает квадратами на дорожку сада и

чение двух дней было увезено для выдачи в СССР (в чем больше никто не сомневался) свыше 70.000 человек. Все, как видно, было заранее продумано и «блестяще организовано».

Вспомнились опять слова, услышанные в танке: — Сопротивления не будет!

Заработали полевые телефоны. Связались с полковником Рогожиным. Он немедленно отдал распоряжения. Ближе всего к шоссе стоял 4-й полк. Он должен был быть настороже и следить за возможным приближением английских грузовиков и танков, вестников надвигающейся выдачи. Мне было приказано на следующий день, 30 мая, утром быть готовой для поездки на автомобиле в Викtring в распоряжение сербов и словенцев и предупредить их о надвигающейся трагедии, рассказав о всем происшедшем за последние два дня. Вместо Анатолия, машиной должен был управлять поручик Ш., командир авто-команды.

Меня и Ольгу устроили спать на сеновале, в котором жили семейные. Удалось умыться и переодеться, но, несмотря на усталость, сон не приходил. Лежа на душистом сене, прислушиваясь к дыханию спящих, я тщетно старалась забыться. Перед глазами проходили картины недавно пережитого: то лицо генерала Шкуро, передернутое отчаянием и гневом, то Островского, о. Адама... пустынные улицы Пеггеца... Весь наш путь вился в мозгу, как фильмовая лента.

Рядом со мной, ложась спать, Ольга шопотом молилась: — Помоги, Господи! Помоги вернуть Сергея! Помоги всем нам, по мукам ходящим!..

— Помоги Господи! — повторяла за ней и я.



на Анатолия, который, как убитый, спит, свернувшись на полу «Тришки».

Нас ввели в комнату. За письменным столом офицер. При помощи переводчика-сержанта, он меня выслушал, взял написанный каракулями список и покачал головой.

— Вы говорите, что они все — югославы? Странно! Эти люди нам причинили массу неприятностей. Они отказались подчиниться верховному распоряжению, отказались ехать в СССР.

— Они — югославские подданные. Среди них много кадровых офицеров. Конечно, они не хотят ехать в СССР! Мне придется ехать в Лиенц к командиру английского корпуса, по распоряжению которого мы получили пропуск... — беззастенчиво лгу я.

Капитан склонил голову на бок, протянул руку к полковому телефону, потом задумался и отказался от мысли куда-то звонить.

— Оллайн! — сказал он медленно. — Вы можете ехать, а я подумаю, что мне с ними делать.

— Уже ночь, нас задержат на дороге. Дайте нам дополнительный пропуск и, пожалуйста, верните мне мои документы.

Неохотно капитан продиктовал сержанту пропуск, опять бумажку без печати, но подписал ее сам. Мои документы я не могла получить: они были положены в ящик, который писарь запер и уехал в Альтхоффен...

Больше этих документов я не видела. Вместе с бумагами казачьей группы, они, по каким-то причинам, были там же, в Вейтенсфельде, сожжены.



Вернулись в Тигринг. Нас ждали. Вести, которые мы привезли, внесли полное смятение. По беглому подсчету, в те-

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПОЛКОВНИКА А. СУКАЛО.

(Последние дни первой казачьей дивизии XV корпуса).

...Пасхальные дни (1-ое мая) застали нас в одном крупном хорватском селении. Устроенный полковником Вагнером для офицерского состава ужин, несмотря на обилие вина, не мог внести оживление в создавшееся ожидание роковой предрешенности. Среди общей подавленности похоронно звучало, прочитанное полковником Вагнером,¹⁾ сообщение оперативной германской сводки о принятии обязанностей Верховного командования адмиралом Дейницем, вместо недавно покончившего с собой фюрера, и отданном им, Дейницем, приказе о прекращении военных действий против союзников и обращении всех сил против общего мирового врага — тоталитарного коммунизма.

Сообщение это несколько подняло наше настроение. Мы питали надежду, правда, очень слабую, что соединенными усилиями немцев и союзников удастся свалить чудовищный большевистский режим. Однако, суровая действительность не оправ-

Примечание: ¹⁾Полковник Вагнер — начальник Первой Казачьей дивизии XV кавалерийского корпуса.

дала надежд на союзников, не только не прекративших войны против немцев, но, наоборот, наносящих сокрушительные удары немецким армиям, направившим все усилия против советских армий. Поэтому уже на второй день Пасхи наши части почти обратились в бегство, еще прикрываемое сильно потрепанными полками первой дивизии: 1-м Донским и 2-м Сибирским.

Широкое и просторное шоссе вскоре заполнилось повозками и грузовиками в несколько рядов. Затор в одном месте останавливал на неопределенное время движение всей колонны.

Сообщение о капитуляции вызвало еще большую панику. Все смешалось. О какой-либо дисциплине не могло быть и речи. Каждый спасался, как мог. Все устремления и желания были направлены на то, чтобы как можно быстрее вырваться из сферы советского влияния и сдать оружие англичанам.

Пробки усиливались. Ехали день и ночь, почти без сна и пищи. Наконец, роковой рубеж был перейден. Пройдя Словению и вступив на территорию Австрии, отступающие орды хлынули по разным дорогам, чем пробки были ликвидированы окончательно. Появилась возможность организации дневков.

Беспрерывно день и ночь слышалась ружейная и пулеметная трескотня: расстреливались запасы патронов, ныне ненужных и тормозящих движение.

Постоянные, особенно по вечерам, ракетные бесцельные сигнализации. Кое-где слышались взрывы гранат и оглушительная стрельба из противотанковых ружей. Имущество либо уничтожалось, либо оставлялось на дороге и немедленно же растаскивалось местными жителями. Немцы сжигали прекраснейшие легковые машины и грузовые автомобили. Там и сям валялись всевозможные орудия, частью целые, частью приведенные в негодность. Бросались в огромном количестве новые военные радио-аппараты. Оставлены интендантские склады

и запасы нового обмундирования, казенных одеял и даже мебели.

Возле лежавших на дороге мешков с консервами, галетами, табаком и сигаретами происходили свалки дерущихся за обладание ими военных и местных жителей, не исключая женщин и детей.

Наконец, мы на территории Австрии. Здесь произошла первая встреча с английским военным командованием, которое предложило нам немедленно разоружиться. За несколько дней до этого мы получили приказ фон-Паннвица о создавшейся ситуации. Генерал, кратко информируя нас о ходе своих переговоров с англичанами об условиях сдачи, сообщил, что он предпринимает все меры к отклонению намерения английского командования о выдаче корпуса Советам. Приказ был составлен в чрезвычайно туманных, ничего не говорящих выражениях и не давал никаких надежд на благополучный исход переговоров.

Все это усилило и без того гнетущее настроение, которое ни на минуту нас не оставляло, с момента оглашения сводки о решении немцев сдаться на милость победителей-союзников. Неясное предчувствие теснило грудь. Бойцы приуныли. Прекратились веселые казачьи песни. Каждый обреченный старался больше спать, чтобы уйти от самого себя, от своих мрачных дум.

Во время одной из дней, недалеко от города Фельдкирхена, последовал приказ англичан об отделении казаков от немцев. Оставлен был в своей должности начальник дивизии, полковник Вагнер (немец В. Н.). Как старший по службе, я получил назначение на пост начальника штаба дивизии.

Вскоре, по распоряжению англичан, произошла реорганизация дивизии: вся она была поделена на пять блоков, причем бывший штаб дивизии отнесен к 4-му блоку с назначени-

ем меня лишь начальником штаба 5-го блока, а ротмистра Теплякова начальником блока.

Дальше события показали сначала благожелательность англичан к нам. Так, на другой день реорганизации дивизии, последовал приказ начальника 34-ой английской дивизии о возвращении офицерскому составу пистолетов и 10 проц. рядовым казакам винтовок. Еще через день (24 мая), по инициативе англичан, в присутствии одного из видных офицеров 34-ой дивизии — полковника, состоялись выборы походного атамана казачьих войск. На с'езде делегатов была выставлена единственная кандидатура — генерала фон-Паннвица, хотя и коренного немца, но любимого казаками за его хорошее к ним отношение. Все делегаты условием своим, однако, ставили, чтобы в будущем управлении штаба атамана не был допущен ни один немец. Но фон-Паннвиц, наоборот, настаивал на предоставлении ему самых широких полномочий в вопросе комплектования штаба атамана. Делегаты были непреклонны. Фон-Паннвиц, в волнении, несколько раз бросал атаманскую булаву, но, в конце концов, любовь к казакам взяла верх, и он, после некоторого колебания, дал свое согласие.

Ход всех этих событий не только не предвещал последовавшей развязки, но, наоборот, вселял в нас крепкую уверенность в решении союзников, в совместной борьбе с казаками, раз навсегда покончить с тоталитарным режимом в России.

25-го мая всем начальникам блоков английское военное командование приказало в суточный срок составить исчерпывающий именной список офицерского и рядового состава. Требование это создало в моем настроении резкий перелом к худшему. Я интуитивно предчувствовал наступление чего-то ужасного, неотвратимого. Офицеры и казаки спрашивали меня о причине такого настроения, но я и сам объяснить не мог.

Дивизия была расположена в горах, где почти отсутствовали населенные пункты. Пришлось устраиваться по своим возможностям и уменью. Сохранившие у себя полотнища частей палаток создавали из них коллективные укрытия от дождя и ветра. Не имевшие палаток рубили сучья и делали настилы, располагаясь на ночь на этих импровизированных кроватях. В Австрии, в особенности в горах, майские ночи настолько были холодны, что многие казаки, за отсутствием у них одеял, дрожа от холода, коротали бессонные ночи и отсыпались днем.

Лошади паслись на склонах гор, обращая эти огромные, поросшие сочной зеленой травой склоны, в течение двух-трех дней, в голую, черную, без единого признака растительности, унылую пустыню.

Довольствовались мы, как попало, главным образом, тем скудным пайком, который отпускался нам англичанами. Главным интендантом являлся офицер пропагандного отдела есаул Богуш. Ему выдали грузовик, в котором он беспрерывно разъезжал, получая со складов продукты и отпуская их, согласно разнарядок, особо уполномоченным от каждой части.

Время протекало в скучном, томительном бездельи. Той неиз'яснимой прелести и очарования гористо-лесистых мест Австрии, которые охватывают богатых туристов, в силу неопределенности нашего положения, мы воспринять не могли и ко всем этим красотам относились безучастно.

В голову упорно лезли назойливые мысли о фальши нашего положения, как бесподданных военнопленных, к которым не могут быть применены нормы международного права, в особенности о правовой охране, согласно Гаагской конвенции международного Красного Креста.

Нас ужасала мысль о возможности выдачи нас Сталину, прочная и дружественная связь с которым западных союз-

ников, несмотря на отсутствие соответствующих политических и военных информации, казалась нам крепкой и незыблемой и поэтому чреватой для нас весьма нежелательными последствиями.

27-го мая в 11 часов утра наш блок получил письменное распоряжение английского командования, переданное нам полковником Вагнером, о спуске с гор на шоссе к 8-ми часам утра следующего дня, т. е. 28 мая, где англичане укажут нам для пребывания специальный лагерь военнопленных.

Приказание произвело на нас гнетущее впечатление. Офицеры и казаки прекрасно отдавали себе отчет в том, что их ожидает в связи с этим приказом. Для получения точных информации, я и ротмистр Тепляков немедленно выехали в штаб полковника Вагнера, расположенный от нашего места в расстоянии 3-х километров. Под'ехав к штабу, мы увидели бродящих по улице казаков из личной охраны полковника Вагнера, который, как они сообщили нам, вызвал их сегодня утром к себе и заявил следующее: — «Друзья мои, обстоятельства так складываются, что я вынужден, не теряя ни одной минуты, отсюда бежать. Вы совершенно свободны и можете располагать собою по своему усмотрению». Вслед за этим полковнику Вагнеру подали навьюченную верховую лошадь.

Попрощавшись со своими приближенными немцами и охраной, полковник скрылся в ближайшем лесу. Немцы последовали его примеру и раз'ехались в разные стороны.

Хотя мы и не получили определенных информации, тем не менее, решение англичан о переводе нас в лагерь военнопленных не вызвало никаких сомнений в готовящейся нам горькой участи. Хмурые и подавленные, возвращались мы к месту нашего бивака. Что мы могли сказать терпеливо ожидавшим нас казакам?

Выстроив весь блок, я вкратце изложил картину посе-

шения штаба Вагнера и, не скрывая своих опасений, предоставил казакам право, с наступлением темноты, уйти в горы и там искать спасения. Тем же, кто останется — сохранять полный порядок, спокойствие, самообладание и тщательно подготовиться к ожидающему лишению свободы.

Тяжело переживая случившееся, я лег спать, еще когда солнце стояло довольно высоко. Тяжелые предчувствия сжимали грудь. Переворачиваясь с боку на бок, я долго не мог уснуть. В 8 часов вечера приходят три штабных офицера, в том числе и хорунжий Химин. Они доложили о своем решении этой ночью уйти в горы и таким образом избежать заключения в лагерь военнопленных. Предложили присоединиться к ним и мне.

Поблагодарив за внимание, я категорически отказался от побега, так как считал для себя недопустимым оставлять вверенных мне казаков на произвол судьбы.

Утром (6 часов) 28 мая, проверяя наличный состав штаба и приданных к нему войсковых соединений, я с горечью убедился в том, что ни один казак не бежал. Все оказались налицо, идя навстречу неумолимому року. Остались и приходившие ко мне 3 офицера.

Утром мой кучер обнаружил пропажу возжей, видно украденных моими хозяевами. Понимая бесполезность розысков, я приказал кучеру достать в обозе веревок и сделать из них возжи, на фоне нарядного экипажа и 2-х прекрасных лошадей, вывезенных моим кучером в 1944 году при эвакуации Кубани.

Приведя в порядок свой отряд, я дал команду к спуску с гор на асфальтированное шоссе.

На шоссе нашим глазам открылась картина тщательной подготовки англичан к принятию боя с неприятелем сильным и хорошо вооруженным. Вдоль шоссе, на протяжении несколь-

ких километров, вплотную один к другому стояли, грозно ощетинясь дулами орудий, новейшей конструкции английские танки. Дула орудий были направлены прямо на нас, безоружных казаков. Трудно передать то чувство подавленности и горечи, какие вызвала у нас такая боевая предосторожность.

Эскортируемые танками, медленным шагом двинулись мы в свой последний жизненный путь навстречу грозной, таящей в себе гибель и страдание неизвестности. Ехали недолго, так как предназначенный для нас лагерь Вайтенсфельд отстоял от места нашей последней стоянки в 8-ми километрах.

Принятые в отношении нас меры предосторожности были настолько внушительны, что 190 безоружных офицеров, очевидно, казались англичанам хорошо вооруженным полком.

Однако, угнетенность духа не мешала усиленной мозговой деятельности. Всевозможные проекты побега то угасали, то снова вспыхивали.

Не было сомнения в том, что прыжок из быстро идущего автомобиля был почти равносильен самоубийству. Но и такая смерть была для нас лучшим выходом в нашем положении.

Начал присматриваться к нашей охране. Три английских солдата — почти юноши; физиономии чрезвычайно добродушные. Попробую говорить с ними. К счастью, они оказались знакомыми с немецким языком, на котором я к ним и обратился.

Первоначально разговор вертелся вокруг моих вопросов об их именах и семейном положении. Затем я незаметно перевел разговор на темы международной политики. Предварительно я угостил их сигаретами и подарил каждому из них по 10.000 хорватских кун.

Упоминание о Сталине вызвало у них одобрителные возгласы: «Сталин гуд». Но, когда я им возразил и назвал Сталина бандитом, то они не только не проявили неудовольствия, но

даже так же улыбались и одобрительно кивали головами, как и в первом случае.

На мой, прямо поставленный вопрос, как нам избежать репатриации, солдаты предложили нам дорогой бежать: в десяти километрах отсюда под'ем в горах настолько крут, что автомобили будут идти самым тихим ходом. Вот на этом под'еме, по их мнению, нам удобнее будет бежать. Стрелять по нам они, безусловно, будут, но целиться станут выше наших голов.

Подается сигнал к от'езду. Скорбный кортеж двинулся. Сердце екнуло, однако, мысль о возможности побега поддерживала необходимую бодрость.

Не успели проехать и двух километров, как колонна внезапно остановилась. Причина остановки нам неизвестна. Проходит 30 минут томительного ожидания. Наконец появляется в хвосте колонны группа военных с английским майором во главе. Приятным сюрпризом для нас было улыбающееся лицо майора Островского, ранее увезенного, по приказанию генерала, на расстрел.

Группа подходит к каждому грузовику и производит какой-то опрос сидящим в них офицерам. Наконец, подошли и к нам.

Спрашивают о месте проживания с 1920 года и до начала второй мировой войны; то-есть комиссию интересовало, принадлежит ли опрашиваемое лицо к старой эмиграции, или же является выходцем из Советского Союза.

Майор Островский ободряюще кивает нам головой и как бы наталкивает на ответ о принадлежности к старой эмиграции, что, повидимому, явится нашим спасением.

Все, за исключением сотника Иванова, есаула Письменского и хорунжего Хими́на, назвались старыми эмигрантами.

Мои аргументы об изменении указанными тремя офице-

рами своего показания в том смысле, что хуже не будет, оказались безрезультатными. Они базировались на незнании иностранных языков, что при тщательной проверке поставит их в фальшивое положение.

По установлении их советского гражданства, им было приказано немедленно перейти к группе в 130 человек.

Последние, несмотря на то, что среди них находилось изрядное количество старых эмигрантов, комиссией не допрашивались.

По просьбе майора Островского, из первой группы был переведен к нам наш дивизионный священник о. А. Затем наши грузовики были возвращены в лагерь, в котором мы ночевали, а 1-ая группа была направлена в сторону Граца, за которым начиналась советская зона.

Узнали от австрийских бауэров-очевидцев, что судьба первой группы и всех казаков оказалась трагической: в Граце англичане передали их представителям советской власти.

Офицеры и казаки, в тот же день, были поставлены перед глубокими окопами, специально, по приказу советского командования, выкопанными австрийцами, и расстреляны из пулеметов.

В лагере Вайтенсфельд мы своих вещей уже не нашли: оне были подобраны либо англичанами, либо жителями близ лежащих сел. Но это обстоятельство нас нисколько не огорчило. Радость спасения была сильно омрачена мыслью о гибели наших друзей и соратников и недостаточной уверенностью в своем собственном спасении.

Часа через два по прибытии в лагерь, снимается стража, убираются пулеметы, и широко раскрываются ворота.

Нам об'явили о том, что мы свободны — это нами воспринимается с большим недоверием. Наступает реакция. После

сильного нервного напряжения, почувствовалась невероятная усталость, как после тяжелой физической работы. Однако, полного душевного покоя мы не ощущали: все ожидали новых сурпризов.

Еще через час, один за другим, в'езжают грузовики и выбрасывают нам в огромном количестве всевозможное продовольствие (муку, сахар, галеты, жиры и пр.).

В 5 часов вечера под'езжает легковой автомобиль с английским офицером и двумя дамами в сербской военной форме. Одна из них, по имени Ара — русская, старая эмигрантка из Белграда, а другая — сербка.

У Ары среди нас оказались знакомые по Белграду (майор Островский, есаул Антонов и другие). Завязался оживленный разговор.

Ара записала наши фамилии и чины и обещала устроить нас на постоянное (относительное) место жительства в район расположения Русского Охранного Корпуса.

Поверив в то, что грозившая нам опасность выдачи Советам миновала, мы решили немедленно отслужить молебен по случаю чудесного избавления от гибели.

Молебен был отслужен в единственном, еще не достроенном, деревянном бараке. Служил о. Адам, монах с длинной, седой развевающейся бородой, бывший есаул Войска Кубанского. Быстро составили импровизированный хор, в котором приняли участие и три остальных священника: о. Федор Власенков, о. Георгий Трунов и бывший дивизионный священник о. А.

У многих, во время молебна, тихо струились из глаз слезы.

Ночь спали спокойно. Утром нам навезли еще продуктов, которые мы не знали, куда девать.

В 12 часов явился английский майор и сообщил, что, по приказанию английского военного командования, в 4 часа дня,

нас из лагеря вывезут в западном направлении, на соединение «с вашими друзьями - белогвардейцами», а для того, «чтобы вы были спокойны и не подумали, что вас направляют к Советам, в автомобилях будет отсутствовать какой бы то ни было конвой, а единственный англичанин - шофер не будет вооружен».

Когда к 4-м часам дня нам были поданы грузовики, мы, не без опасения, разместились в них, решив, в случае поворота на восток, выбросить шоферов из автомобилей и самим двигаться на запад.

От'ехали. Вдох облегчения: едем на запад. Вскоре наша колонна была остановлена английским офицером, вручившим шоферу какие-то бумаги.

В 5 часов дня под'езжаем к австрийскому населенному пункту. Навстречу нам подходит группа русских офицеров в немецкой форме с нашитыми на рукавах надписями РОА. Оказывается, мы прибыли в штаб Русского Охранного Корпуса, расположенного в Клей Сант Вайт.

Полковник Рогожин, командир корпуса, и чины его штаба встретили нас чрезвычайно любезно. Расспросили о злоключениях и, в свою очередь, сообщили, что сегодня, т. е. 30 мая, они видели отправленных в восточном направлении массу казачьих офицеров, в том числе генералов П. Н. Краснова, С. Н. Краснова, Шкуро, Соломахина и других. Это были, как мы потом узнали, обманом увезенные англичанами, под предлогом отправки на конференцию, а на самом деле в Советский Союз, офицеры (2.500 человек) казачьей, так называемой Домановской дивизии.

Так трагически закончилась эпопея этого знаменательного отрезка славной казачьей истории, когда группа патриотов, пламенно любящих свое отечество и родные казачьи станицы, встала на защиту России и всего культурного мира от

невиданной коммунистической агрессии, сулящей человечеству голод, смерть, рабство и бесчисленную сеть концентрационных лагерей.

Ялтинское соглашение навсегда оставит на знамени свободолюбивых демократий позорное пятно гибели храбрых воинов и наложит моральную ответственность на совесть Европы и Америки за непростительную ошибку, допущенную их государственными руководителями.

А. Сукало.

22-го июня 1946 года.

Лагерь Келлерберг.

Австрия.



КОНЕЦ ВИКТРИНГА.

Еще одна заря после бессонной ночи. Все тело ныло. Казалось, что вот сейчас, если бы не нужно было ехать, заснула бы, как убитая, но за мной пришел поручик Ш.

Пошли к майору, который устроился в том же доме у австрийских «бауэров», в котором уже жила жена командира полка и сестра милосердия Ленни Гайле.

На английском языке, скрепив полковыми печатями, майор нам выдал удостоверение-путевку. В ней говорилось, что мы едем в Викtring для связи с немецким комендантом, старшим над военнопленными этого района, полковником З. Нам дали «Опель», который был в большем порядке, чем «Тришка». На всякий случай, не зная, когда вернемся, захватили с собой хлеба и консервов на два дня. Нам дали некоторую сумму денег в марках. Майор предложил нам сделать, после посещения Викtringа, небольшую вылазку по дорогам, по которым могли провезти русских. Он не терял надежды, что где-то мы откроем след «Варяга», желая узнать о его судьбе и одновременно боясь, что он тоже находится среди выданных советчикам.

●

Под'ехали к Клагенфурту к восьми часам утра. По обе стороны дороги, на больших выгонах, привязанные к сделан-

ным на скорую руку коновязям, стояли тысячи лошадей. Они протяжно ржали, вытягивая шеи. Исхудавшие, слабые, страдающие дизентерией из-за корма — свежескошенного клевера, они падали, как мухи. Трупы, страшно вздувшиеся на жаре, очевидно, лежали сутками между живыми. Над ними, как черное облако, вились насекомые. В небесах кружили коршуны.

На жалобное ржание лошадей отвечал вой собак. Англичане построили огромную клетку, в которую сгоняли военных собак, прекрасных овчарок и доберманов, отобранных от немцев. Они визжали и лаяли, метались по этому загону, на смерть грызлись между собой. Кормили их и поили раз в день. Давали кровавые куски мяса павших лошадей. Впоследствии их почти всех перестреляли.

Не считая двух проверок документов по дороге, все шло гладко. Обехали Клагенфурт боковыми улицами. На пути к Виктрингу нас обогнали три громадных грузовика с прицепами, не покрытые брезентом. В них сидели люди в ярко зеленых лохмотьях советских военнопленных, с такими же зеленоватыми, обалделыми лицами. Над ними развевались красные тряпки и плакаты с надписями: «Мы счастливы, что едем на дорогую Родину к любимому Вождю». «Да здравствует освободитель Европы, генералиссимус Сталин». «Тебе, отец народов, наш привет!» и прочие заготовленные лозунги.

Несчастные, взятые из лагерей немецкого рабства, прямоком отправлялись в рабство другое. Позже мы встречали подобные «поезда возвращенцев», бывших «остов» и «остовок». Некоторые пели, иные плакали. Везли их массами, и этому тщательно способствовали западные союзники, стараясь, как можно скорее, очистить от них Австрию и Германию.

Уже с дороги мы обратили внимание на зловещую пустоту на Виктрингском поле. Только на одном краю его стоя-

ли телеги, самодельные палатки и навесы, и в них ютились гражданские беженцы-словенцы. Поле казалось выметенным. При с'езде с шоссе на полигон, мы увидели группу человек в две-сти словенских домобранцев в их голубоватых формах. Они стояли перед десятком грузовиков и перед столькими же маленькими танками, на которых боком сидели англичане с автоматами на груди. Немного дальше был выстроен ряд мотоциклистов в черных беретах.

Перед нашими глазами разворачивался последний акт ужасающей драмы. Англичане, выдавшие уже всех сербских добровольцев и четников и главную часть домобранцев, отправляли на расправу Тито раненых и больных. Вокруг них сновали те же смуглые солдаты в английских формах, которых мы видели в Лиенце. У некоторых через погон на левом плече были пришиты бело-голубые ленты и шестиконечная металлическая звезда. Те, кто мог идти, шли сами к машинам. Лежащих на носилках, ампутированных, в гипсе, слепых, толкали в машины грубо, не обращая внимания на их стоны и крики. Отношение к ним было такое же, как к лошадям у коновязей и собакам в загоне.

Мы сошли вниз и стали рядом с небольшой группой немецких офицеров, которые буквально в оцепенении и ужасе смотрели на происходящее. Вблизи меня на носилках лежал молодой домобранец Янко Оцвирк, брат моей подруги, потерявший глаза во время отступления: телега, около которой он шел, наехала на итальянскую ручную гранату, и она, взорвавшись, осколками выбила ему глаза. Повязка, наполовину скрывавшая его молодое лицо, с двумя яркими пятнами просочившейся крови из глазных впадин, и его судорожно сжимающиеся на груди руки говорили о тех физических и моральных страданиях, которые он переживал. Его подняли двое

английских солдат и ногами вверх втокнули в машину. Воздух прорезал протяжный вопль боли.

Ударами прикладов в грузовики загоняли сестер милосердия, врачей и санитаров. Девушки цеплялись за руки своих палачей, молили о пощаде, хватались за края машины и отталкивались. Одна упала, и англичане стали избивать ее ногами.

Немного дальше, у самого холмика, ведущего к шоссе, стояли восемь домобранских офицеров. Лица их были пепельно серыми, глаза пустыми, оловянными. Казалось, что это живые трупы, что они уже ушли из этого мира, и только их неодушевленные тела подчиняются приказаниям мучителей. Между ними был и известный герой югославской авиации, полковник М-к.

За спинами немцев я тихо подошла к М-ку вплотную и, сдерживая волнение, взяв его осторожно под руку, сказала: — Полковник! Вы меня знаете... Я могу вам помочь бежать. За третьим от угла домом направо по улице, стоит наш «Опель». Сейчас сюда никто не смотрит. Идите, не обращая на себя внимания. Садитесь в машину и ждите. Мы вас увезем...

Полковник не обернулся. Краем глаза скользнул по моему лицу. Я почувствовала, как дрогнули мускулы его руки, отвечая на мое пожатие. Едва слышно он ответил:

— Мои солдаты и офицеры уже отправлены на смерть сегодня рано утром. Сейчас грузят раненых, моих храбрых соратников. Я не оставляю людей. Я виноват... Они хотели разбежаться, а я их отговаривал, веря в гуманность извергов... Передайте всем, кто меня знал, что я спокойно иду на смерть. Я не хочу жить предателем...

Стоявший невдалеке английский сержант, заметив наш разговор, внезапно заорал, ругаясь самыми скверными словами:

— Вон отсюда, нацистская свинья! Что вы здесь делаете? Хотите, чтобы и вас, немцев, отправили гуда, куда мы шлем этих?

Немецкие офицеры быстро отступили, повернулись и почти бегом взбежали на откос к шоссе. Полковник повернулся ко мне, перекрестил меня католическим крестом и пошел к грузовику. В этот момент раздался выстрел, второй, затем началась беспорядочная стрельба.

По выгону бежал, вернее скакал, как загнанный заяц, какими-то зигзагами одноногий инвалид на костылях. Отталкиваясь от земли своими подпорками, громадными прыжками, несчастный стремился укрыться в лесу.

Английские солдаты стали на колени и начали бить его из карабинов. Они хохотали. Они веселились. Очевидно, забавляясь «игрой», они не стреляли в тело, а под ноги калеки, поднимая пулями всплески пыли и земли. Тот негодяй, который заорал на меня и полковника М-ка, сорвал с груди автомат и с живота пустил очередь по инвалиду.

Мне рассказывали, как страшно кричат подстреленные зайцы. Я никогда не была на охоте, чувствуя непреодолимое отвращение к убийству животных из забавы. Но я никогда не забуду крика калеки, падавшего на землю...

Набитые в грузовики люди взревели. Стоявшая недалеко от меня немка, сестра милосердия, упала в обморок. Загудели моторы, и грузовики пошли к шоссе. Впереди них и сзади затопали танки. Из последней машины мне махнула бледная рука полковника М-ка...

Стоявшие вдали словенские беженцы, опустив головы, поплелись к своему скарбу. Австрийцы из соседних с полем домов, перешептываясь, юркнули в свои калитки. Поручик Ш. дал мне знак и пошел к машине. Было опасно оставаться одним на поле с англичанами.

Я пошла, но остановилась и обернулась. На затоптанной ногами земле, у самого леска, среди потухших костров Виктринга, лежало бездыханное тело инвалида и его сломанные костыли...



Мы зашли к полковнику З., и там немецкие офицеры рассказали нам о совершившейся виктрингской трагедии.

Выдача сербов началась одновременно с выдачей частей генералов Доманова и фон-Паннвица. Русских обманули «конференцией». Югославам сказали, что их отправят в «Пальма Нуову, где их ждет король Петр II».

На заре 28-го мая за ними пришли первые грузовики. Погрузка началась с большим подъемом. Четники штурмом брали места в машинах, желая «первыми попасть к королю». Первые 800 человек, с небольшим «почетным» эскортом англичан, криками «ура» и «живели» и воинственными анти-титовскими песнями, двинулись навстречу смерти.

Уже по дороге в сердца людей вкралось сомнение. Путь не вел к Томеццо и на Италию, а к Ферлаху; через Драву, в Югославию. Однако, их убедили, что для сокращения пути они, под эскортом англичан, пересекут маленький кусок Югославии и через село Крушчицу, лежащее на самой границе Италии, отправятся к месту назначения.

Переехав через мост, машины сразу же попали в окружение большого отряда партизан, которые спрятались между домами села Ферлах. Тут же началось избиение четников. Несчастные бросились бежать, под градом пуль из пулеметов и автоматов. Некоторые добежали до моста, но путь был прегражден английскими солдатами. Они прыгнули в мутную Драву, но их и там настигали разрывные пули. Едва десятку удалось переплыть реку и спрятаться в береговых кустах. Неко-

торые днями скрывались в заброшенных хуторах, не смея вернуться на Виктрингское поле и предостеречь своих соотечественников.

Немцы имели в тот же вечер от австрийцев точные сведения о происшедшем, т. к. весть о массовом уничтожении четников сейчас же распространилась среди местного населения.

На глазах у жителей Ферлаха, трупы четников были брошены в партизанские грузовики и отправлены в глубь страны. Место перед мостом было очищено, и англичанам сообщено, что они могут выслать новые транспорты жертв.

Выдача производилась с точностью часов. С полудня 28 мая, когда отправили первых добровольцев, и до утра 30 мая, когда мы приехали на Виктрингское поле, Тито получил свыше 16.000 солдат, беженцев, женщин и детей. Была оставлена только маленькая группа словенцев-пограничников, владевших имениями вблизи Австрии. Они, как нам было сказано, могли хлопотать о том, чтобы стать австрийскими подданными, т. к. их владения, прежде захватывавшие и эту сторону границы, были у них отняты нацистской властью.



Три года спустя, в одном из лагерей Ди-Пи в Шпиттале, я встретилась с одним из страстотерпцев, Станком П., выданным с Виктринга, расстрелянным партизанами, но чудом пережившим этот ужас и свои ранения и также чудом вернувшимся в Австрию, где он нашел жену и в его отсутствие родившуюся дочь.

По его словам, четникам можно было позавидовать. У них была «легкая» смерть. Остальные жертвы были доставлены в Любляну. Там их больше месяца держали на солнцепеке, под открытым небом, почти без воды и пищи, в огороженном колючей проволокой парке Тиволи. Многие там поумирали от жажды и жары. Ежедневно титовские чекисты выводили из пар-

ка специальные жертвы, которые больше никогда обратно не возвращались. Они исчезали бесследно. Там, в Любляне, был казнен через повешение вождь словенцев, генерал Лев Рупник, выданный с такой же дьявольской хитростью и подлостью капитаном Дэвисом, как были захвачены и выданы русские генералы. Рядом с ним был повешен и немецкий комендант провинции Любляны в дни войны и после капитуляции Италии, генерал Эрвин Резенер.

Когда все более или менее крупные личности были выужены и ликвидированы, тысяч пятнадцать добровольцев, домобранцев и словенских четников, вместе с присоединенными к ним черногорскими четниками, которые не успели выйти из Югославии в дни отступления и попали в руки партизан, были снова погружены в грузовики и, как было сообщено в официальном коммюнике, об'явленном в люблянских и других югославских газетах, отправлены в «концентрационно-исправительный лагерь». На самом же деле их отвезли в провинцию Кочевье и там, на краю знаменитой, почти бездонной Кочевской пропасти, было совершено массовое убийство. Погибло свыше 16 тысяч человек, среди которых были не только бойцы, сражавшиеся против коммунистов, но и старики, тяжелые инвалиды, женщины и дети. Там погиб и ушедший от нас к сербам наш фельдфебель, знаменитый резчик иконостасов Пукалов, с женой и дочерью.

Все подходы к Кочевской пропасти (Кочевска Клисурса) были закрыты рогатками, постами и непрерывно циркулировавшими патрулями. Предварительно местным жителям было сообщено, что в районе пропасти будет произведено уничтожение дефектной аммуниции, оставленной немцами, и что всякое приближение связано с опасностью для жизни.

Мучеников привозили на машинах, строили цепью на самом краю пропасти и большими партиями расстреливали из

пулеметов. Свыше шестнадцати тысяч людей были в ударном порядке расстреляны в течение всего двух дней.

Станко П., рассказавший об этом страшном преступлении коммунистов не только мне, но давший и официальные зарегистрированные показания, попал в одну из последних партий. Партизаны, утомленные бойней, стреляли небрежно. Он был ранен в обе ноги, без повреждения костей, и, падая вниз, сначала задержался на небольшом выступе, а затем скатился на толщу трупов. Очнувшись только ночью, он с трудом понял, где он находится. Было трудно поверить, что он еще жив. Стоял удушающий смрад быстро из-за жары разлагавшихся трупов. Раздавались душераздирающие стоны других, недобитых. Его мучила жажда, лихорадка и страшная боль в ранах. Не зная куда, он полз, увязая среди трупов. Впадал в беспамятство, опять приходил в себя. Наконец, на рассвете добрался до неглубокой пещеры на дне ущелья и заполз в нее.

В пещере сочилась подпочвенная вода. Он лизал языком влажные камни, хоть немного утоляя этим мучительную жажду. Сняв с себя рубашку и нижнее белье, с трудом перевязал раны и остановил кровотечение. Без пищи, совершенно изможденный, задыхающийся от трупного запаха, он провел в пещере три дня. В ночь на четвертый, он наощупь пополз вперед, заранее рассмотрев местность, и к рассвету добрался до западного выхода из ущелья. Это было его счастьем. К полудню приехал целый караван грузовиков, доверху нагруженных «танковыми кулаками» — базаками, аэропланными бомбами небольшого калибра и ammunition для минометов. Весь груз был сброшен в пропасть на трупы, и затем был произведен взрыв, потрясший все ущелье и вызвавший хаотический обвал скал и камней.

Часть расплзшихся раненых была уничтожена вместе с трупами. Уцелело только несколько человек, выбравшихся раньше, среди них и Станко П. Он дополз до первых крестьянских домов, был подобран кочевскими «фольсдойчерами», спрятан и вылечен. Они же помогли ему перейти границу в Австрию.

Недавно мне говорили, что, с медицинской точки зрения, никто не может сразу поседеть от страха и переживаний. Голова 24-летнего Станка была бела, как снег...



Полковник З. сказал нам, что, по их сведениям, выдача, как она захватила полевой лазарет словенских домобранцев, захватит и всех русских, находящихся в немецких госпиталях, разбросанных в окрестностях Вертерского озера.

Поручик Ш. предложил, вместо возвращения в Тигринг или поездки в еще неизведанные в нашей разведке края, об'ехать лазареты и предупредить о грозящей опасности.

Мы об'ехали десяток госпиталей, расположенных около Клагенфурта и вдоль шоссе, ведущего на Виллах. У входов стояли английские часовые, но, видя на нас немецкие формы, пропускали без вопросов.

Немецкий персонал охотно указывал нам, в каких палатах лежат русские и югославы. Мы нашли много легко раненых, которым предложили немедленно покинуть госпиталь. Там мы нашли больного отца поручика Охранного Корпуса, капитана Дубину, и обещали прислать за ним сына с перевозочными средствами. Тяжело раненые сильно волновались и умоляли, как можно скорее, их вывезти.

Не скрывая ничего, мы рассказали о выдачах в Лиенце, окрестностях Альтхоффена и Виктринга. Всем мы раздавали на скорую руку нарисованные карты расположения Корпуса и путей к Тигрингу.

До пяти часов вечера мы делали об'езды, добравшись по правой стороне озера до самого Виллаха. На левую проникнуть не рисковали, т. к. в маленьких курортах до сих пор находились титовские партизаны.

Большинство послушалось нашего совета. Немецкий персонал помогал, как мог. Сестры милосердия приносили одежду, формы и даже штатские костюмы, и в некоторых местах в списках больных вычеркивались русские и сербские имена, и тут же вписывались фальшивые, немецкие, в случае, если раненый не мог уйти из лазарета.

Часть казаков, остовцев и чинов РОА добрались до нашего расположения и были сейчас же приняты в списки частей. На следующий день утром поручик Дубина поехал на телеге и привез больного отца.

День 30 мая был полон встреч, полон лиц. По дороге мы встречали машины, увозившие «остов» и бывших военнопленных. Как нам сказали немцы, имевшие лучшую информацию, чем мы, их всех, через Юденбург, Грац и затем Сигет-Мармарош, в Венгрии, отправляли в СССР.

Проезжая мимо железнодорожной станции в Виллахе, мы заметили целые составы поездов, товарные вагоны, у которых окна были густо заплетены колючей проволокой. Впоследствии мы узнали, что вагоны были приготовлены для несчастных жертв дикой лиенцевской расправы.

Из Виллаха мы хотели продолжать путь в Шпитталь, но за городом, у первой же рогатки, нас задержали и приказали ехать, под страхом ареста, обратно. В придорожной гостинице, куда мы зашли выпить воды, узнали, что в Лиенце происходит насильственная репатриация всех людей Домановской дивизии...

Возвращаясь в Тигринг, по дороге подобрали несколько человек русских, вышедших из больниц. Машина была перегружена до отказа.

В Тигринге нас встретила большая радость, первая за все последние дни. Перед палаткой капитана К. нас ожидал майор Островский. Капитан в малиновой пилотке решил, очевидно, освободиться от строптивой группы казаков и нашел прекрасный выход: освободив их из проволочной клетки, прислал всех в распоряжение Русского Корпуса. Возможно, он думал, что 4.500 русских, находящихся в окрестностях Клейне Сант Вайт, раньше или позже тоже будут выданы, и вместе с ними и остаток казаков фон-Паннвица.

Вечером, на совещании, на котором присутствовали полковник Рогожин, майор Г., майор Островский и другие высшие офицеры, было решено, что на следующий день, 31 мая, на «Тришке», которого немного отремонтировали, с шофером Борисом Червинским я сделаю вылазку в Альтхоффен, в надежде напасть на след выданных казаков 15-го корпуса и самого генерала фон-Паннвица. Одновременно главное внимание обратить на розыски полка «Варяг».

В надежде, что нам это удастся, жены офицеров и солдат «Варяга», находившиеся с нами, и сама жена командира, полковника М. А. Семенова, Анна Романовна, писали письма, с просьбой их передать.

Наше положение считалось очень серьезным. Трудно было считать себя исключением. Массовые выдачи во всех пунктах Австрии, захват венгров вблизи Перчаха и отправка и их в Сигет Мармарош, о чем нам рассказали местные австрийцы, заставляли предпринять меры крайней осторожности. Вокруг всех стоянок была выставлена стража. Спокойного сна не было. Все прислушивались и вздрагивали при каждом шо-

рохе. На сеновале, в котором мне было отведено место, наши разобрали доски пола и решили, что, если появятся англичане, прыгать прямо вниз, в кусты, и оттуда бежать в лес.

Еще один день прошел, и за ним приближалось неизвестное «завтра».



АЛЬТХОФЕН — ВОЛЬФСБЕРГ.

Четырнадцать долгих лет легли между мной и пожелтевшими листками записной книжки. В ней записаны только даты, вшиты отдельные «документы» того времени. Для всех, кроме меня, они — просто мятая бумага с иероглифами, сделанными карандашом, но, когда я их просматриваю, передо мной встают образы, живые люди, с кровью и плотью, страдающие, гонимые. Встают картины прошлого с изумительной ясностью, со множеством мельчайших, казалось бы, давно забытых подробностей. То, что раньше было днями, сегодня переживается мною в минутах, но, являясь как бы концентрацией, квинт-эссенцией ушедших лет, все воспринимается особенно болезненно и остро...

Четырнадцать лет — достаточный срок для того, чтобы стереть все чересчур личное. Человек перестает быть в своих глазах самым важным объектом переживаний и начинает смотреть на факты, как на нечто такое, что, как мельчайшие кусочки мозаики, попадает в общий рисунок исторических фактов. Трагедия 1945 года, разыгрывалась ли она на территории Австрии, Италии, Германии, Франции или в Ньюйоркской гавани — это та картина, которая должна остаться запечатленной в общей схеме страданий людей, боровшихся против коммунизма,

не понятых, не признанных теми, кому сегодня и завтра придется, так или иначе, встречаться с этой борьбой в мировом масштабе.



**Майор
В. Островский.**

лось высоко в горах, но зато оно было в той же местности, где стоял Русский Корпус и «Варяг».

Привыкшие во время войны к всевозможным реквизициям и расквартировкам, австрийцы не протестовали. Английское командование закрепило этот выбор, и началось переселение.

Ясеничницг согласился сдать две комнаты в своем доме. В одной поместились Островский с двоюродным братом и капитан Г. Антонов, в другой — я. Не имея в Тигринге своего постоянного угла из-за моих поездок, которые не оставляли времени для устройства хоть какой-то личной жизни, связан-

ная дружбой с Островским, я согласилась переселиться в Нуссберг и там исполнять должность телефонистки, писаря, переводчика, а также и «домохозяйки», заведующей кухней.

Офицеры группы, священники и казаки разместились в соседних домиках, в палатках и на сеновалах.

Внизу, в Тигринге, жизнь была до некоторой степени налажена. По утрам строились на молитву и перекличку; из штаба батальона назначались дневальные. Производилась уборка и отстраивание жилых помещений. Питание было очень слабым, и все ходили в лес за грибами и за ягодами, ловили раков в узенькой речушке. Молодежь организовала спортивный кружок и в свободное время занималась играми и гимнастикой. День заканчивался опять молитвой и перекличкой. И Корпус и «Варяг» устроили в лесу свои церкви. С изумительной, чисто русской изобретательностью, создавалась церковная утварь из еловых шишек; банок от консервов, дерна и древесной коры. В те дни, в этих лесных храмах молились особенно горячо и искренне.

Для того, чтобы всем быть готовыми к возможным новым, даже единичным, выдачам, были созданы «курсы». Старые эмигранты снабжали бывших подсоветских сведениями «об их жизни в Югославии». Люди серьезно и усидчиво зубрили названия улиц, места работы, имена шефов, обычные сербские слова. Одновременно майор Г. давал желающим уроки английского языка.

Странно, но тогда еще не было тяги к уходу, к бегству из общей массы. В этом, конечно, играли роль незнание местного языка, отсутствие штатской одежды, денег, но также и стадное чувство. Вместе — легче! Наше расположение было таково, что незаметно окружить и захватить нас было почти невозможно. Люди просто надеялись на свои быстрые ноги, на густоту леса, на возможность скрыться. Некоторые пригото-

вили себе звериные норы, в которых держали спрятанными сухие продукты, даже оружие и аммуницию: на всякий случай. Постепенно в эту игру были втянуты и австрийцы, даже ребята, пасшие коров на склонах холмов. Заметив английские автомобили, они немедленно прибегали и сообщали об их приближении, даже если речь шла не о грузовиках, а об одиноком джипе.

Однако, я сильно забежала вперед.

Переселение казаков в Нуссберг произошло без меня: в это время я делала очередную «вылазку». На заре 1-го июня 1945 года на «фольксвагене», с шофером Борисом Червинским, мы отправились искать следы 15-го казачьего корпуса и одновременно, конечно, «Варяга».

Накануне долго рассматривались карты, выбирался маршрут по проселочным дорогам во избежание встреч с английскими патрулями. Путь должен был идти на Сирниц, Вейтенсфельд, Альтхофен и, возможно, дальше. Из запасов Красного Креста нам выдали достаточно бензина. В слепой надежде, что мы все же найдем «Варяга», мне были даны письма официального и частного характера к командиру и офицерам. Майор вычертил целую пачку маленьких карт нашего расположения, для того, чтобы мы их раздавали тем страстотерпцам, которым удалось избежать расправы, и с которыми мы можем встретиться в дороге.

Зная уже приблизительно судьбу тех, кто был отправлен из Лиенца, мы еще ничего не знали о пути, по которому был отправлен казачий корпус и его командир, ген. фон-Паннвиц.



Тронулись рано утром. Сидя рядом с Борисом, я невольно отвлеклась от серьезных мыслей, любуясь зеленью клеверных полей, обрызганных искрящейся росой, яркостью листвы деревьев, прислушиваясь к пению птиц. Как мало все это

имело общего с предательством, с человеческой трагедией, со смертью!

Проселочные дороги были в отчаянном состоянии. По колдобинам и выбоинам, пыхтя и кашляя, «Тришка» с трудом полз в гору. Местами мы двигались по каким-то тропам, проложенным колесами крестьянских телег, пробившими два желоба, оставляя между ними холм, поросший высокой травой. Иногда, воспользовавшись полянами, мы ехали просто напрямик. На полях работали крестьянки в огромных «лошадиных» шляпах. Завидев наши немецкие военные формы, они махали нам руками и кричали: «Грюсс ойх Готт!»

Временами мне казалось, что мы попали в другой мир, в котором не было места ни для англичан, ни для выдач, ни для страданий, — мир, который не знал, или поторопился забыть о войне...

Часам к одиннадцати мы под'ехали с задворков к Альтхофену. Тут еще все дышало войной. Брошенные орудия и танки в канавах, целые горы минометов, винтовки, разбитые в куски, кладбища испорченных автомобилей, ящики с патронами и противотанковые гранаты — «панцир-фауст» лежали по обе стороны дороги. Между ними мы заметили целый ряд могил. Простые холмики с необтесанными крестами, надписи чернильным карандашом и сверху стальной немецкий шлем.

Дул крепкий ветер и нес по шоссе маленькие смерчи пыли. Внезапно я заметила мелькание каких-то тряпочек и попросила Бориса остановить машину: ветер играл оторванными нарукавными знаками казачьих войск. В канаве я заметила донскую автомобильную флюгарку. Сошла и подобрала ее... Следы 15-го казачьего корпуса.

Остановились перед первой корчмой, стоявшей на отлете от города. Борис завел «Тришку» во двор, и мы пошли в дом утолить жажду и собрать хоть какие-нибудь сведения.

Кабачок оказался грязным и сильно запущенным. Через стекла окон едва проникал свет, и на них бились сонмы громко жужжащих мух. Нас встретила старуха, с восковой бледностью лица, тяжело передвигавшая отекие от водянки ноги. Она подала нам «крахёр», отвратительный газированный напиток цвета марганца, просто в бутылках, без стаканов.

— Ди козакен? — откликнулась старуха на мой вопрос. — О, я! Много их тут провезли. Вы тоже «козакен»? Зачем вы сюда пришли? Вы видели на полянах их лошадей, их брошенные вещи и горы седел?

Меня поразила сердечная тоска, которая звучала в голосе старой женщины.

— Куда их повезли?

Она помолчала, пожевала бледными губами и со вздохом ответила:

— Как говорят, на Юденбург... Грац... Дальше... Куда-то в «Сибирю». Их всех шлют на смерть. Сколько трагедий я видела в эти дни!

Старуха присела на краешек скамьи и, обняв руками свой огромный живот, стала рассказывать. Она видела целые караваны грузовиков, в которых везли русских. Она была свидетельницей нескольких самоубийств, когда люди прыгали из машин, прямо под гусеницы топавших за ними танков... Она оказалась доброй и сердечной женщиной; на войне она потеряла сына и двух внуков. По ее желтому лицу текли слезы, когда она рассказывала:

— Тела самоубийц подобрали наши люди и похоронили, там, где хоронили и наших солдат, гибнувших во время полетов аэропланов. Просто на поле у дороги...

— Нам говорили, что казаки перерезали себе горло... Это все было так страшно! Как страшна должна быть страна, в которой остались лежать мои внуки, если ее дети не хотят

возвращаться, и их туда насильно, как на убой, тянут палачи!

— Вы, конечно, хотите знать больше... Я вижу, вы -- добрые люди, вы сами в опасности. Погодите минутку. У нас тут, на чердаке, в комнатухе живет русская девушка. Ее привела моя невестка Ида, работавшая сестрой в местном лазарете. Мы ее переодели в австрийское платье. Она была в такой же форме, как и вы. Она все знает. Хотите, я ее приведу?

Старуха, кряхтя, пошла вверх по лестнице и вернулась минут через пять с тоненькой, очень бледной девушкой. Ее русые волосы были коротко, почти под гребенку подстрижены. На лбу забавно торчал мальчишеский хохолок. Лицо носило следы загара, который исчезал там, где когда-то начинался воротник кителя. Шейка и худенькие плечики, не покрытые австрийской блузкой с большим вырезом, были бледны и поддельски худы. Старуха толкала ее в спину, тоном заботливой бабушки подбадрывая и все время повторяя: — Хаб дох кейн ангст, Саня! Не бойся, Саня! Они — свои!



Где ты сегодня, через четырнадцать лет, милая, чистая, честная русская девушка? Где ты, Саня? Жива? Доехала ли до своей суровой родины? Попала ли в канцлагерь ледяного севера или давно уже закрыла свои по-русски серые, лучистые глаза?..

В сбивчивых словах девушка рассказала нам, что прямо из лагеря «остов» она попала штабной служащей в корпус фон-Паннвица. Была ранена в Хорватии и отправлена в Австрию на лечение. Там, в Альтхофене, застала ее капитуляция. Тут она узнала и о выдачах. Вырвалась из лазарета, и, при помощи сестры милосердия Иды Шмальц, «нырнула» в гражданскую жизнь, поселившись в кабачке.

— Думала ли я, где я с ними встречусь? — говорила она скорбно. — Все мечтала вернуться в родную часть.. А их вот как обманули и выдали! Тут, мимо нас, провозили. Из чердачного окна я их видела...

— ...Генерал фон-Паннивиц здесь. Боюсь, что его не сегодня - завтра отправят вдогонку за казаками. Я нашла его. Добилась разрешения встречи. Позволили передать папиросы. Была у него вчера и пойду сегодня. Англичане предложили генералу перейти в немецкий лагерь для военнопленных. «Панько» категорически отказался. — Какой же я походный атаман, если я оставлю людей и сбегу с тонущего корабля! Всего несколько дней тому назад они меня выбрали и мне, немцу, оказали полное казачье доверие... Куда они, туда и я! — сказал им генерал.

Голос Сани прерывался. По щекам лились потоками слезы — она их не вытирала. Сидевшая рядом с ней старуха, не понимавшая ни слова, но внимательно следившая за нашими лицами, сама разрыдалась вслух.

— Саня, когда пойдете к генералу, возьмите меня с собой, — попросила я.

.. Девушка задумалась, но затем кивнула утвердительно головой и сказала:

— Вас возьму, а его, — она мотнула головой в сторону Бориса, — опасно. Пусть тут сидит. Женщине легко, если она и в форме, а мужчину могут схватить и отправить вдогонку, в собачий ящик!



По пыльной дороге, затем какими-то закоулками, Саня повела меня в центр города. Мы подошли к большому зданию, окруженному садом. У ворот стояли часовые у пулеметов. Нас без труда пропустили. Вошли, и Саня уверенно повела меня влево. В жидкой тени молодых акаций был сооружен квадрат-

ный загон небольшого размера. Столбы и колючая проволока. У входной калитки — опять два солдата с автоматами. Посередине загона, на обычном венском стуле сидел генерал фон-Паннвиц. Это называлось, что его «вывели погулять».

Генерал издалека заметил Саню и махнул ей рукой. Солдаты разрешили нам подойти вплотную. Девушка вынула из кармана коробку немецких папирос «Режи» и протянула англичанину. Он вытряхнул содержимое на ладонь и, убедившись, что там ничего постороннего нет, протянул папиросы генералу, а коробку выбросил.

Фон-Паннвиц страшно изменился. Загар его лица казался пепельно-серым. Глубокие морщины залегли от углов рта к подбородку, виски совсем поседели. Но глаза его искрились радостью, и он улыбался широкой ласковой улыбкой.

— Здравствуй, Санечка! — сказал он по-русски.

— Донт спик рошен! — крикнул один из часовых.

— Говорите по-немецки, — на немецком же языке добавил второй.

Саня подошла вплотную к проволоке и, вцепившись в нее руками, прильнув лицом к колючкам, стала молить:

— Генерал... Панько... оставайтесь! Согласитесь на их предложение. Это не измена, это не предательство. Ведь не все же выданы... Вы нам и здесь нужны. Будете людей отстаивать! Вот она, — и Саня махнула в мою сторону рукой, — пришла сюда из части, которую не выдали. Русский Корпус... Островский с казаками, их батальон. Христа ради, атаман, оставайтесь! В этом нет позора. Вы нам нужны! Что мы без вас будем делать?..

Ласковый взгляд честного немца скользнул по моему лицу. От улыбки его лицо помолодело и стало опять знакомым. Он поднял руку и отдал честь.

— Привет Островскому и всем вашим, — сказал он громко, а затем, повернувшись к Сане, твердо и раздельно выговорил:

— Нет, Саня! Я больше не немец: я — казак. Пусть мне будет и казачья смерть. Как они, так и я! Берегите себя, девочка. Вы молоды...

— Генук! — рывкнул маленький англичанин. — Время прошло. Довольно. Идите! — Он подошел к Сане и грубо рванул ее за плечо. Второй сделал несколько шагов ко мне.

— Прощайте, генерал! — крикнула я. — С Вогом, Панько! — зазвенел голос Сани.

Слезы застилали наши глаза. Круто повернувшись, мы пошли к воротам, не оборачиваясь.

Шли обратно в кабачок молча. Санечка шагала крупными шагами, но казалась сгорбленной маленькой старушкой. Ее лицо было в крови: шипы колючей проволоки оставили глубокий след на нежной коже.

Подходя к дому, она прошептала: — Разве вы не видите, что это конец? Конец всему. Его сегодня увезут... А мы его так любили! Ведь это он меня подобрал из лагеря, где люди дохли от голода. Он меня отправил в Австрию в лазарет... Вот, видите, немец — но какой немец! Таких и среди русских нет!

Во время нашего отсутствия старуха расспросила зашедших к ней бывших жандармов, а теперь городских стражников о положении русских. Главная часть уже была отправлена в Юденбург. Оставалась только небольшая группа каких-то офицеров. О полке «Варяг» или «Варэгер», как его называли немцы, они ничего не слышали. Никакая русская часть не проходила через Альтхофен в дни сдачи в плен. Они знают, что около городка Вольфсберг находится большой лагерь, и

там проходили какие-то русские части. Может быть, их там поместили за проволоку.

Пока я разговаривала со старухой, Саня ушла наверх. Нам пора было ехать. Посоветовавшись, решили испробовать этот Вольфсберг. Я не хотела уйти, не попрощавшись с Саней. Хотелось предложить ей поехать с нами и затем присоединиться к группе Островского. Пошла наверх и на ступеньках столкнулась с девушкой. Саня переделалась. Она была в форме, с медалью за храбрость на зеленой ленточке. В руках у нее был небольшой тючок. На бледном исцарапанном лице — полное спокойствие.

— Куда вы? — спросила я.

— Иду «замельдоваться» у англичан. Пусть шлют в Союз. Всех увезли — значит, и мне туда дорога. Слыхали, что Панько сказал? Надо не смерти бояться, а позора!...

— Саня!

— Не отговаривайте. Дело мое решенное. Прощайте и не поминайте лихом. Жаль, что коротка была наша дружба, а, вижу, могла бы быть крепкой...

Узкая рука нашла мою и крепко сжала. Ни дрожания губ, ни слезинки. Саня рывком прижалась к моей груди и, оттолкнувшись, быстро сбежала по ступенькам и вышла на улицу, по которой крепкий ветер мел пыль...



В Вольфсберг мы добрались только к четырем часам дня. Путь был трудным для машины. Несколько раз останавливались и толкали ее в гору. На пути не встретили ни одной заставы, ни одного патруля, только при переезде через мост, горбом выпятившийся над узкой и быстрой речушкой, нас остановили англичане. Тут же мы были арестованы и под конвоем отправлены в комендатуру на главной площади.

Началась странная игра. Сопровождавший нас капрал пе-

редал нас какому-то сержанту. Сержант отвел в комнату, где сидел молодой лейтенант. Тот, выслушав его доклад, отвел нас в следующую комнату, где сидели два капитана, оба говорившие по-немецки. Нас сразу же взяли в оборот. Был произведен легкий обыск. Ощупали карманы, ища оружия, и провели тщательно руками по штанинам брюк до самой щиколотки. Затем нас развели в разные стороны комнаты и поставили друг к другу спинами — лицом вплотную к стене. Начался допрос. Вскоре, убедившись, что Борис не говорит по-немецки, его оставили в покое. Меня же спрашивали, кто мы, куда и откуда едем, откуда у нас бензин, и какая цель нашего пути. Я дала им свой пропуск, написанный майором Г. и подписанный им и английским сержантом в Тигринге, а также и тот знаменитый документ, который получила в Лиенце. Цель поездки? Поиски нашей главной части и растерянных семей солдат и офицеров.

— Никаких других?

— Никаких.

— Вы в этом уверены?

— Станный вопрос!

После короткого совещания, офицеры приказали нам следовать за ними. На улице Бориса сразу же отпустили и сказали, что он может ехать обратно в часть, меня же повели через площадь в большое здание ратуши. Я не успела сказать ни слова Червинскому, даже махнуть ему рукой.

Поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Тут же, на первых шагах встретились, вернее, почти столкнулись с двумя советскими офицерами. Они козырнули англичанам и прошли мимо.

Коридор был очень длинным и, по всей вероятности, опоясывал все здание. Мы проходили мимо множества дверей с разными табличками и надписями. Завернули за угол. Еще

несколько дверей, и англичане задержали шаг перед одной из них. На ней стояла надпись: «Офицер для связи. Репатриационная миссия СССР».

У меня подкосились ноги — но мы прошли мимо нее и вошли в соседнюю. За письменным столом сидел белокурый офицер с длинной, типично англо-саксонской физиономией.

Он встал и, оставив меня одну, вышел в другую комнату с моими сопровождающими. Вернувшись, привел с собой писаря. Предложил мне сесть, протянул коробку с папиросами, даже кружку чая, стынувшую у него на столе.

Начался второй допрос. Меня поражала его схема. Капитан усиленно спрашивал, не встречалась ли я с советскими офицерами, и если да, то при каких обстоятельствах. Он говорил на академически чистом немецком языке, но с английским акцентом. Все его фразы были вычурно сформулированы. Каждый мой ответ точно и дословно записывался писарем через копировальную бумагу в трех копиях. Некоторые вопросы повторялись несколько раз, но ставились в разбивку: выход из Любляны, переход через Драву нашей части; день сдачи в плен; день ухода в Тигринг. Совсем «незначительные» вопросы, вроде: шел ли дождь в тот день, когда мы пришли на Виктринг? Затем опять возвращались к Любляне, к моему образованию, последнему месту жительства в Белграде. Все это шло очень быстрым темпом. У меня не было времени на раздумывание. Видно было, что, как профессиональный следователь или контр-разведчик, капитан старался поймать меня на лжи. Несколько раз он переспросил меня, не хочу ли я вернуться на родину и не желаю ли, чтобы на допросе присутствовал его сосед по комнате, советский офицер. Ужас, появившийся у меня на лице, вызвал у него не только улыбку, но просто громкий смех. Мне смешно не было.

Затем капитан положил передо мной карту Каринтии и

попросил показать, где находится Тигринг, и каким путем мы ехали из Альтхофена в Вольфсберг. Наконец, он встал, забрал запись допроса и вышел. Вернулся очень быстро, с конвертом в руке, и предложил следовать за ним. Опять длинный путь по коридору, спуск по лестнице.

Вышли на улицу. Перед самым домом стоял мой «Тришка», и у руля сидел Борис, кусая ногти. Я была тронута: не бежал, не бросил. Остался ждать, чтобы узнать о моей судьбе.

Капитан приказал мне сесть в наш «фольксваген», к которому под'ехал джип с двумя сержантами. У одного из них был автомат. Капитан передал им конверт, а нам приказал следовать за их машиной и не пробовать бежать. Джип рванул вперед, и мы двинулись за ним.



Путь был коротким. Выехав из города и переехав мост с заставой, мы быстро промчались каких-нибудь два километра по шоссе, идущему между пахотными полями и редкими домиками, и вскоре под'ехали к какому-то очень большому лагерю, окруженному высоким деревянным забором с вышками, на которых стояли английские часовые у пулеметов и больших рефлекторов. Верх забора был густо заплетен колючей проволокой, глубокий ров, отделявший его от шоссе, тоже был сплошь забросан ее ржавыми клубками. Перед широкими воротами — парные часовые. Над воротами доска с надписью: «Internment Camp 373».

Уже смеркалось, когда мы в'ехали во двор. Налево и направо стояли бараки. За ними — еще одни ворота и еще один огромный двор, в'рнее, целый городок, с рядом серых, однообразных деревянных бараков. Перед воротами опять часовые. За ними — пусто, серо, пыльно, угрюмо и мертво. Ни души.

Нас встретил молоденький капрал. Он принял нас от

сопровождавших и сказал, что мы должны здесь заночевать, так как после захода солнца запрещается передвижение по дорогам. Помещение он нам дать не может, и, если мы «ничего не имеем против», то можем спать в машине. Джип уехал, и мы остались сидеть в «Тришке», с смутно-неприятным чувством рассматривая казавшийся пустым лагерь.

Из английских бараков в первом дворе выходили солдаты. Они шли с котелками в небольшой домик и возвращались с дымящейся едой. Только тут я вспомнила, что мы не ели целый день, но ощущения голода не было.

Зажглись огни в окнах. Произошла смена часовых. Одна группа ушла за вторые ворота, и вскоре вернулась смена, за которой бежало несколько собак-ищеек.

Было уже темно, когда маленький капрал вынес нам плитку шоколада и две пачки папирос и пожелал нам спокойной ночи.

Сна не было. Я сидела в машине, а Борис свернулся на земле, набросив на себя плащ-палатку.

Мои мысли были далско, хотя, казалось бы, нужно было думать о сегодня и о том, что нас ожидало завтра. С темного покрова неба иногда падали звезды. Невольно улыбаясь, я старалась «загадать» что-то очень хорошее, очень радостное. Мне и в голову не приходило, что с этим лагерем, на воротах которого стояла надпись «Интернмент Кэмп 373», меня крепко свяжет судьба, что верный и преданный Борис окажется тем камешком, который, выскользнув из-под моей ноги, вызовет обвал на избранном мной пути...

В молчании, мы курили папиросу за папиросой. Борис только изредка тяжело вздыхал и про себя говорил: --- Нинн-да! Попали!..

•

Мне не хотелось отвечать на эти слова. Мы, действительно, попали, и усталый мозг не мог разбираться в этой проблеме.

Когда начал сереть рассвет, стало холодно и сыро. Туман тряпками прикрыл безобразие бараков, почти совсем прильнув к земле.

Часов около шести утра из барака вышел молодой незнакомый офицер. Он сказал, что мы можем ехать, но прямо в Тигринг, не задерживаясь и не сворачивая с пути: так приказал приславший нас сюда на ночевку капитан Кинг из Вольфсберга. Он предупредил, что через два часа он позвонит сержанту в Тигринг, и, если нас там не окажется, нас будут искать, как беглецов.

— Нам не хватит бензина!

— Ничего. До Фелькермаркта — это городок по дороге — хватит. Там обратитесь в комендатуру, и вам дадут. Я позвоню коменданту. Вот вам конверт.

Он передал тот конверт без адреса, который везли сопровождавшие нас до лагеря сержанты.

— Что с ним делать? Кому передать?

— Вашему старшему офицеру.

Остывший за ночь мотор «Тришки» не хотел заводиться. Борис нервничал. У него дрожали руки. Ему так хотелось скорее вырваться из этого жуткого лагеря! А в нем просыпалась жизнь. На дороге появились какие-то люди. Они, в тон всей обстановке, были одеты в серое и громко на ходу стучали деревянными сабо. На длинных палках, положенных на плечи, они несли котлы, от которых шел пар.

— Кто они? — буркнул Борис, бросая на них осторожный взгляд.

Через месяц я точно узнала ответ на этот вопрос. Выезжая, мы еще раз бросили взгляд на надпись над воротами: «Internment Camp 373» а внизу, крупно: Wolfsburg.



В Фелькермаркте нам без проволоочки дали два бидона бензина — больше, чем мы смели ожидать. Когда мы приехали в Тигринг, нас встретили равнодушно: никто не волновался, так как нас так быстро не ожидали. Мы разочаровали людей тем, что приехали с пустыми руками, ничего не узнав о «Варяге». Однако, мой доклад и рассказ о встрече с генералом фон-Пан-вицем произвели сильное впечатление.

Я передала майору Г. конверт. В нем, как это ни странно, оказался мой допрос, одна из копий, с припиской внизу: «Установлено, что не является советским агентом или шпионом», сделанной капитаном Кингом. Этот листок и сегодня находится в моих личных бумагах...

Очевидно, уже в те времена, несмотря на «боевую дружбу», несмотря на то, что они шли во всем навстречу Кремлю, англичане не доверяли советчикам.

Вероятно, они знали, что во многих русских частях, носивших немецкие формы, были вкраплены сексоты, которые играли свою роль до конца и снимали с себя маски только тогда, когда эти части, в порядке выдачи, попадали в руки советских «репатриаторов».

Я думаю, что и самый допрос в комнате, бок-о-бок с помещением, занимаемым советским офицером для связи, было известным «испытанием огнем», через которое я должна была пройти, для того, чтобы заслужить относительную свободу, т. е. возможность вернуться в Тигринг.



О «Варяге» мы получили сведения от пробравшегося к нам лейтенанта Али Я. Полк должен был изменить маршрут и, вместо того, чтобы добраться до Шпитталя на Драве, был отправлен в Италию, где пережил свою трагедию. Старые эмигранты были интернированы, как военнопленные. Подсоветских выдали в СССР. Правда, некоторым из них удалось прыг-

нуть с поезда и бежать во время проезда через Австрию и даже из Сигет-Мармароша в Венгрии, и позже, ведомые инстинктом гонимого зверя, звериным же чутьем они нашли нас в Тигринге и разделили с нами нашу судьбу.





А. И. Делианич.

ВОЛЬФСБЕРГ.

8-ГО АВГУСТА 1945 ГОДА.

...Нуссберг. Маленькое селение, заброшенное в горах Каринтии. В Нуссберге казаки — печальные остатки некогда сильного, brave, боевого корпуса генерала Гельмута фон-Паннвиц. Они — пленные. Пленные в относительной свободе. Такие же, как чины Русского корпуса, расположенные частями в этом же районе, сгруппированные по поселкам вокруг местечка Клейне Сан Вайт, в котором находятся их штаб и командир полковник А. И. Рогожин. Такие же, как и «Варяги» — батальон этого полка, разбивший палатки и шатры у села Тигринг.

Я — с казаками. Я не покинула своих «Варягов»: я просто перешла туда, где оказалась нужна, тем более, что внизу у нас, в Тигринге, было много военнотружениц женщин, сестер милосердия, телефонисток, машинисток, были жены офицеров и солдат, и, следовательно, было кому позаботиться о лазарете, дежурной службе при все еще не потерявших свою важность штабах, на кухне, в швейной. Старшой у казаков, их последний командир, майор В. Островский — мой друг. Там, среди казаков, у меня было много друзей. Мне хотелось им помочь. Жизнь была тяжелая, голодная. Казаки на волосок избежали сначала выдачи, а затем расстрела. Им нужны были руки, гото-

вые работать на кухне, собирать в лесу грибы и ягоды — главную пищу, зашивать порванное, вымыть и выгладить одежду, отвечать на телефонные звонки...

Наша «относительная свобода» заключалась в том, что мы на законном основании могли передвигаться в районе расположения пленных русских частей. Англичане, оккупировавшие Каринтию от югославской границы до местечка и туннеля Мальниц, откуда шла территория американцев, смотрели первое время сквозь пальцы на наше «незаконное» передвижение. По разрешениям, ездили за продуктами в Клагенфурт, Фельдкирхен, Виллах. Тогда у нас еще были грузовики и даже легковые машины, и еще давали какое-то количество бензина.

Но и без всякого разрешения люди стали разбегаться. Одни узнавали о местонахождении их семейств, другие просто тянулись в Германию, в Баварию, узнав о большом скоплении русских в Мюнхене и его окрестностях. Всех беспокоила близость советской зоны, и в летние месяцы 1945 года мы все еще стояли на шаг от возможного окружения английскими танками и новой волны выдач в красные лапы.

Командиры частей относительно сквозь пальцы смотрели на уход людей, поскольку это не вредило дисциплине, не нарушало морали и духа корпуса, в батальоне Варяга и в казачьем стане. В многих случаях специально снаряжали гонцов, говорящих по-немецки, переодевая их в штатское платье, для того, чтобы входить в связь с русскими частями и группировками, собирать сведения о судьбе близких, находить рассеянных по лазаретам и лагерям для военнопленных, а главным образом, для того, чтобы узнать хоть что-нибудь о Власове и его частях, о которых мы в то время ничего не знали.

Так пришла и моя очередь быть отправленной в Мюнхен и дальше для сбора сведений. Все это делалось с согласия полковника А. И. Рогожина, признанного англичанами старшим над

всеми русскими пленными частями, находившимися в расположении Клейне Сан Вайт. Назначен был день — 9 августа.

Я уже писала о том, что наши военные шоферы собирали из разных частей всевозможных и очень многочисленных военных «фольксваген» машин одну очень оригинальную, получившую имя «Тришка». «Тришка» бегал, чихая, кашляя, развинчиваясь, на рваных, чиненных и перечиненных покрышках и внутренних шинах, но он бегал. «Тришка» возил меня в прежние «экскурсии» в поисках следов полка Варяга и других русских частей. «Тришка» был незаменим. На него никто не мог польститься. Он скорее напоминал «примус» или кастрюлю, чем автомобиль, и на «Тришке» я собиралась доехать до австро-немецкой границы в лучшем случае, или хоть до Мальницкого туннеля в крайности, и дальше продолжать «по образу пешего хождения». Штатского у меня ничего не было. Та форма, которую я носила, в рюкзаке смена белья и остатки сербской формы — это было все мое богатство. Одна из сестер милосердия предложила мне свою серенькую форму, шапочку и передник. Женщины, служившие в Красном Кресте, имели все же преимущество на всех дорогах.



Спускались сумерки дня 8-го августа. В открытые окна врывался вечерний гомон птиц, стрекотание кузнечиков, ржание казачьих лошадей, возвращавшихся с пашни, и крепко тянуло дымком с костров, на которых готовилась незатейливая еда.

Мы жили в доме богатого «бауэра» Ясеничнитг. Занимали две комнаты на верхнем этаже. В одной — три офицера, в другой — полевой телефон, пишущие машинки и я. Мне разрешалось варить для офицеров в кухне у хозяев, и в этот вечер, мой последний вечер перед походом на Мюнхен, я готовила котлет из конины, соус из белых грибов и «крем» из

собранной свежей, душистой лесной земляники. Лукулловский ужин, который мы, конечно, не хотели с'есть одни. По телефону было сообщено в Тигринг, «варягам», и мы ожидали гостей, помощника командира полка Варяг, майора Г. Г., и капитана К. В комнате у майора О. собрались казачьи офицеры, стол из ящиков и козел был накрыт простынями, поставлены «приборы» из крышек к походным котелкам, с походными же, складными вилко-ложко-ножами.

Тихо позванивал телефон, давая позывные разным линиям. Я сидела у себя, подшивая подол чересчур длинного платья сестры милосердия. На заре должен был за мной придти «Тришка», снизу, из Тигринга, и верный, как я думала, шофер Борис Ч. должен был меня отбросить, как можно, дальше отсюда, ближе к цели моего пути.

Монотонность привычных звуков, пересмеивания солдат, голоса денщика Иванушки и ординарца Иванова прервало гудение автомобильных моторов. Ясно можно было различить, что идет не один майорский «Штайер», а две-три машины. Я ужаснулась. Бывало, что наезжали неожиданные гости, каждому находилось место сесть на кровати или на чемодане и хоть немного еды, но в этот вечер, перед «походом», у меня просто не было желания выдумывать, как разделить пищу на «энное» количество голов.

Невидимые машины вползли на горку. Я слышала, как они развернулись во дворе перед домом Ясеничницгов. Долегал в открытое окно гул голосов и донесся странно нервный, приподнятый голос майора Г. Г.: — Ара!

— Сейчас! — ответила я не очень любезно и с сердцем воткнула иголку в подол платья. — Иду!

Вышла в коридор. До меня долетел дружный смех из комнаты офицеров. Очевидно, кто-то рассказал веселый анекдот. Сбежала вниз по лестнице и широко открыла входные две-

ри. В тот же момент дула двух автоматов коснулись моей груди.



В густеющих сумерках моим глазам представилась странная картина. Во дворе стояли три незнакомые машины, английская легковая и два джипа. За хлевом у пригорка густой группой столпились казаки. У одной из машин стоял майор Г. Г. и несколько англичан, два англичанина с автоматами встретили меня, и рядом с ними стояла брюнетка, женщина лет тридцати с типичным южным лицом.

— Это она? — указывая на меня, спросил ее один из автоматчиков.

— Она! — кивнув головой, решительно сказала брюнетка.

Говорили по-немецки. Я вопросительно смотрела на майора, но он молчал, опустив глаза. Лицо его было сосредоточенно и печально.

Выдача! — мелькнуло у меня в голове. Все кончено. Поймали, как крыс. Бежать? Куда?

— В чем дело? — спросила я не очень твердым голосом.

— Вы арестованы!

— Почему?

— По обвинениям, предъявленным этой дамой.

— Каким обвинениям? Я в жизни не видела этой особы. Откуда она меня знает?

— Я вас видела в Люблине, — улыбаясь, ответила «обвинительница».

— Я в жизни моей не была в Люблине.

— То-есть, простите, во Львове!

— Я никогда не была во Львове! — приобретая присутствие духа, ответила я, прямо глядя в бегающие глаза брюнетки.

— ...Лемберг? ,

— Львов и есть Лемберг! — отрезала я. — Я никогда не была в Польше.

— О, я ошиблась. Я вас знаю по г. Лайбах... Любляна. В Словении.

— И в чем же я обвиняюсь?

— Вы расстреливали там людей в подвалах вашей казармы.

Я просто задохнулась от чудовищности подобного обвинения. — Какая ложь! — воскликнула я. — Я в жизни никого не расстреливала! Не только у нас в казарме в Любляне, но, вообще, наш полк не участвовал ни в каких экзекуциях! Вы меня никогда не видели. Вы меня не знаете. Вы путали названия городов...

— Шат-ап! — заревел на меня автоматчик. — Кругом, марш-марш! Ведите нас в свою комнату. Мы сделаем обыск.

Втроем, два автоматчика и я, поднялись в мою комнату. Из-за закрытых дверей офицерской комнаты все еще слышался смех. Там, ожидая ужина, «заговаривая голод», беспечно шутили люди... Окна их комнаты выходили в лес, и никто не успел им сообщить о том, что происходило во дворе и в доме.

Обыск был короткий. Разбросали кровать, перевернули матрац. Потыкали в телефон, спросили, с кем он имеет связь. Прочли английское разрешение на телефонную линию. Вывернули мой рюкзак, забрали все фотографии и пару писем, приказали надеть полную форму и повезли. Куда — я не знала.

Выйдя из комнаты, я попросила разрешения попрощаться с майором О. и офицерами. — Пожалуйста, но без эксцес-

сов, слез и скандалов. У нас есть приказ стрелять, если будет оказано сопротивление.

Я вошла в комнату. В сизых клубах махорочного дыма, в темноте (мы берегли керосин в лампах) меня встретили вопросами: — А где же ужин?

Только когда я сказала, что произошло, мои друзья увидели за мной в дверях двух человек в английских формах с автоматами в руках.

— Сколько их? — шопотом спросил майор О. — Скажу казакам, мы их голыми руками передадим!

— К чему? Тут какая-то ошибка. Берут только майора Г. Г. и меня. Все выяснится, и я вернусь... Не надо! Глупо, и может отозваться на всех...

Сошли к автомобилям гурьбой. Майору Г. Г. не разрешили разговаривать со мной. Торопили. Тяжелые грозовые облака затянули все небо и ускорили падение тьмы. Из группы казаков слышались приглушенные крики: — Прикажи, батя! — обращаясь к майору О. — Мы их, гадов...

Три англичанина и майор сели в первую машину. Во вторую тоже с тремя посадили меня. В третьей расселись брюнетка и курчавый сержант. Тронулись... Выехали со двора Ясеничиггов и повернули на дорогу. С пашни раздалось печальное ржание моей гнедой кобылки и ответное только вчера родившегося жеребенка — моего жеребенка.



В театральных пьесах очень часто, для подчеркивания драматичности момента, вводится элемент грозы. Гром. Молнии. Завывание ветра. Ливень.

Такой грозовой была ночь нашего ареста. Душная, полная электричества. Молнии прорезали черное небо. Удары грома потрясали землю — это была воробьиная ночь, без дождя.

Куда мы ехали, куда нас везли — ни майор в первой машине ни я не знали. Ехали мы в полном молчании. Машины подскакивали по проселочным горным дорогам. Вспышки молний озаряли на мгновение пейзаж, высокие деревья, группы кустарников, и этот сценарий казался подходящим для какой-то демонической трагедии.

Мой мозг, ошеломленный арестом, стал мучительно работать. Почему? Почему вообще этот арест? Почему мы? Только мы или еще кто-нибудь?

Совость была чиста. Мы в немецких формах? Конечно! Но ведь мы шли против коммунистов. Когда-нибудь, возможно, очень скоро Запад очнется от своего опьянения союзом с СССР и поймет нашу психологию...

Причин для ареста майора я уж совсем не видела. Он — строевой офицер. С политикой ничего общего не имел, ни к каким партиям не принадлежал. У меня был известный «багаж». Я принадлежала к особой небольшой группе русских и сербов, которых должны были подготовить для сбрасывания их парашютами в тыл титовских партизан, в Сербию, на Копачиц и в его окрестности, с передаточными радио-аппаратами, для связи и поддержки отрезанного со всех сторон генерала Дражи Михайловича. Возможно, что это и послужило поводом к аресту.

Трудно в рамках того, что я поставила себе целью описать, объяснить, почему немцы, в то время, перед самым концом войны, решили связываться с генералом Михайловичем, не ушедшим из Сербии. Конечно, немцы надеялись, что они вернутся обратно в утерянные края, и сотрудничество четников и генерала Михайловича было бы для них в высшей степени ценно.

В Любляне мы проходили срочные курсы радистики, изучали шифры и готовились для своей будущей, однако, не

сужденной нам работы весьма тщательно. Наша миссия держалась в секрете. Все мы были прикомандированы к полку под жалась в секрете. Может быть, кто-нибудь донес победителям об этой команде, которая носила официальное название саботажной? Тут, в Австрии, в этом районе, я была единственным чином этой группы.



Мы ехали в полной темноте. У меня, шестым чувством ориентации, создавалось впечатление, что мы движемся по направлению югославской границы. Неужели выдача? Сжималось сердце. Нестерпимо болела голова от неудобного сидения — меня буквально зажали между собой мои сопровождающие; ныла уже зажившая рана на ноге.

Вдруг в мозгу мелькнули три буквы, машинально зарегистрированные зрением, замеченные на дверцах легковой английской машины: «F. S. S.» Эф-Эс-Эс... Филд Секьюрити Сервис. Разведка...

Внезапно в новой вспышке молнии, под грохот совсем близкого грома, мы заметили, что первая машина остановилась, и из нее высыпали на дорогу англичане и майор. Остановились и мы. Вышли. Оказалось, что мы сбились с пути. Вместо того, чтобы повернуть из двора Ясеничницгов направо, машины пошли налево, и мы действительно оказались в нескольких километрах от Югославии, всецело находившейся в руках победителей, советчиков и красных партизан. Англичане были принуждены сказать нам, куда нас везут: в Фельдкирхен, где находился штаб этого отдела Эф-Эс-Эс, в тюрьму для дальнейшего следствия. — Знаем ли мы дорогу?

Мы, зная эти районы, сразу же скромно указали, радуясь в душе тому, что приближение к страшной границе было только ошибкой, что нам надо развернуться, ехать обратно и брать все больше и больше влево, к долине.

Дальнейшее путешествие прошло гладко и сравнительно быстро. В 1 час 20 минут ночи мы в'ехали в освещенные улочки маленького провинциального городка и остановились перед зданием небольшой, очень древней, вероятно, времен Марии Терезии, тюрьмы. Третьей машины за нами уже не было. Брюнетка и ее компаньоны отделались от нас при в'езде на главное шоссе и уехали, очевидно, по направлению к городу Клагенфурту.

Ворота в под'езд тюрьмы открыл не англичанин, а небольшого роста, болезненного вида австриец. Нам сказали, что он «керкермейстер» — тюремщик. Мы были переданы ему, и, звеня допотопного облика и величины ключами, открывая одну за другой двери, он провел нас через двор - колодец, окруженный зданием и высоким забором, и по задней лестнице мы поднялись на второй этаж.

Узкий коридорчик, освещенный заплыванной мухами маленькой лампой. Двери с миниатюрными зарешеченными окошками-глазками. У двух камер они открыты настежь: обе пусты и приготовлены для нас. Нас ждали. Меня ввели в камеру № 12, а майора, через дверь, в № 10.

Усталая, отупелая, я опустилась на кровать — один матрас на железных козлах. «Керкермейстер» вышел, захлопнув за собой дверь.

Жарко. В решетку окна все еще блещут молнии, но гроза ушла дальше. Нестерпимо ныла нога. Хотелось снять тесные сапоги. Попробовала, но ноги, от неудобного сидения, опухли. Легла на спину и впиалась ничего не видящим взглядом в едва светящую лампу в сетчатом колпаке.

Дверь открылась опять, и тюремщик вошел, неся в охапке одеяла, подушку и две простыни. Все эти постельные вещи не выглядели тюремными. Улыбаясь, он сказал: — Я взял у жены для вас и для «герр майора». Не можете же вы спать

на этом грязном соломенном мешке. Меня зовут Франц Грунднигг... Просто — Франц. Встаньте, я вам сделаю постель. Дверь в камеру «герр майора» не заперта. Можете пойти с ним поговорить. Англичане уехали...

Как все странно и превратно в жизни! Вчерашний верный друг становится предателем. Вчерашний враг — благодетелем. Я никогда не забуду Франца Грунднигга, царствие ему небесное, умершего в 1948 году от туберкулеза.

Когда я, немного кобыляя, пошла к дверям, в ту памятную ночь, он спросил меня, не жмут ли мне сапоги, и, добродушно подведя к табуретке, ткнул меня рукой в плечо, усадил и умелым движением снял с моих ног это орудие пытки. — Теперь идите и разговаривайте, но у вас только час времени. Эф-эс-эсовцы вернутся. Они допрашивают и по ночам. Договоритесь, — прибавил он конфиденциально, — чтобы в разную сторону не говорить. Вижу, что вместе за одно отвечать будете! А потом вернитесь в свою камеру и захлопните дверь, чтобы замок заскочил!

Позже я узнала, что Франц недавно вернулся из немецкого концлагеря, отсидев четыре мучительных, страшных года в Ораниенбурге. Он был теперь на «привилегированном положении», как «кацетлер», жертва нацизма. За это он получил место тюремщика, которое до войны занимал его отец. — Колесо счастья поворачивается, — говорил он нам. — Вчера вы были господами, а я врагом режима, сегодня вас посадили, а я буду вас стеречь... Но и это не вечно. Опять какой-нибудь поворот, и я снова пойду «под лед».

Франц Грунднигг не был коммунистом. Он был просто австрийцем, не сочувствовавшим гитлеризму, не желавшим соединения с Германией и мечтавшим о своей маленькой, но свободной Австрии...

За час разговора с майором я многое поняла. Мы были жертвами мести, глупой, ненужной мести маленького человека.

Незадолго до конца войны полковой врач Варяга, д-р Дурнев, бывший подсоветский, предвидевший конец войны, выдачи и расправы, потерял нервы. Он стал молчалив, угрюм и на все расспросы отвечал: — Пора уходить!

— Совсем уходить! — говорил он мрачно. — Боюсь мук.

Д-р Дурнев застрелился. Его похоронили на люблянском кладбище со всеми почестями. Одни его осуждали, другие даже втихомолку завидовали его решительности. Но полк не мог быть без доктора, и вскоре к нам прибыл молодой, красивый поручик, бывший военнопленный, с немецкими документами, подтверждавшими его положение военного врача.

С нами в Австрию пришел и полковой лазарет полка, с больными и ранеными, этот врач К., сестры и санитары.

Расквартированные русские части получали кое-какие продукты питания, медикаменты и бензин для автомобилей у англичан. Русский корпус получал для себя, а Варяг и казаки из Нуссберга принимали вместе. От нас был делегирован и снабжен всеми полномочиями именно этот врач. Казалось, что автомобиль Красного Креста меньше всего рискует попасть в руки советчиков и титовцев, все еще довольно свободно разгуливавших по Каринтии. Итак, за всеми этими благами в Клагенфурт, в Виллах и в Фельдкирхен ездил врач К. с санитарями. К тому времени мы были уже почти три месяца в плену. Осмотрелись. Точно знали, сколько гороха, фасоли, сухого молока, сухого «эрзатц» сыра, сахара, чая, хлеба и пр. получали корпусники, сколько они выдавали женщинам и детям. У нас всегда был недостаток. Люди голодали. Выловили и съели всех

раков в речушке, зарезали всех слабых лошадей, которые, не имея овса и питаясь только травой, болели и пропадали. Жить только на грибах и землянике было трудно. Продавать нечего. Странно нам было и то, что Варяг получал несравнимо мало бензина, и движение наших машин было затруднено.

Заинтересовались и (слухами земля полнится) узнали, что доктор подобрал себе людей среди санитаров и шоферов и обтяпал с ними дело. Получив продукты и горючее, он гнал машины в Виллах, где, при помощи «одной знакомой» (которая и оказалась брюнеткой, обвинившей меня в злодеяниях), снял склад, где прятал сахар, муку, молоко и другие ценные предметы в виде медикаментов, а также целые бочки бензина. Продавать это он еще не спешил. Хотел собрать запас, чтобы хватило на всю братву, и ему остался куш побольше, и, загнав одним махом, разделить деньги и бежать в Германию, Италию, куда попало, в хорошем штатском костюме, с купленными документами и полным валюты бумажником.

Тогда, в те летние месяцы 1945 года, недостаток чувствовался во всем. Гражданское население жило черным рынком. Затруднений в том, чтобы сбыть утаенные вещи, эта компания не встретила бы. Узнав об этой «комбинации», майор Г. Г., являвшийся старшим в нашем расположении, вызвал к себе врача и, в присутствии майора О. и моем, разругал его, добавив, что ему известно место склада утаенного провианта.

Это было вечером 6-го августа. Майор, сказав врачу, что, кроме презрения и отвращения, он к нему ничего не питает, добавил, что ему противно жаловаться англичанам и показывать, что в наших рядах есть воры, которые крадут хлеб изо рта голодающих женщин, детей и своих боевых товарищей. Врач буквально валялся в ногах и умолял простить. Ему было предложено до 9-го августа, т. е. не дольше, как через 48 часов, привезти из Виллаха все утаенное и сдать в штаб

и после этого, получив документы об отпуске из части, уйти на положение беженца в уже сформировавшиеся лагеря для Ди-Пи.

Весь понедельник, 7-го, доктор пролежал в своей палатке, сообщив майору, что на следующий день он поедет и на большом грузовике привезет все спрятанное. 8-го августа, взяв двух санитаров и шофера Бориса Ч., моего, как я считала, верного спутника во всех моих путешествиях, он поехал «за продуктами». Обратного пути не было. Вместо них приехали офицер и сержанты Эф-Эс-Эс и брюнеточка, которая, как оказалось, познакомившись с врачом К., научила его всем комбинациям, и привезли ордер на арест майора Г. Г. и меня.

Майор Г. Г. прекрасно говорил по-английски. Из обрывков разговоров он сразу же представил себе полную картину. Врач К. и его дама сердца не желали расстаться с награбленным. Они предпочли доносом удалить возможных обвинителей и свести их обвинения на степень якобы личной мести. Око за око — зуб за зуб. Трюк удался. Но через каких-нибудь шесть месяцев и без нас была открыта вся история, и оба доносчика и утаителя сели на скамью подсудимых, а затем в тюрьму. Однако, это не меняло дела, как не меняло и то, что в течение первых же двух недель нашего пребывания в тюрьме в Фельдкирхене, была на все сто процентов установлена ложность доноса. Судьба наша уже была запечатана, и мы должны были по ее воле пройти неожиданный стаж в жизни.



Четырнадцать лет, конечно, стерли многие острые углы. Сегодня невозможно вспомнить все, тогда казавшиеся важными, подробности. Я не могу, во всяком случае, назвать наше положение в тюрьме Эф-Эс-Эс тяжелым. Ежедневно из Нуссберга на «Тришке» приезжали майор О., сестра Л. Г., капитан

Г. А., фельдфебель О., и раз навестил нас иеромонах о. Адам. Мне подарили маленький, порванный молитвенник. В нем была вся всенощная, литургия, акафисты и молитвы на разные случаи, до отходной включительно. Нам привозили еду: грибы в соусе из «эрзатц» сыра, немного тушеной конины и свежие ягоды. Папиросы нам давали эф-эс-эсовцы. Дважды в день Грунднигг выводил нас на прогулку. Мы могли гулять вдвоем, разговаривая, или сидеть на ящике на солнце. Вечером, когда англичане уходили на ужин, Францл давал нам возможность посидеть вместе и поболтать. Ежедневно нас вызывали на допрос, который продолжался час - два. Нам говорили приятные вещи, даже одобряли нашу борьбу против красных. Однако, на вопросы, когда же мы вернемся в Нуссберг, отделялись неопределенными фразами. С нас взяли слово, что мы не будем стремиться к побегу, пригрозив, что, прежде всего, нас сразу же поймают, а затем это отзовется тяжело на остальных офицеров в Тигринге и Нуссберге.

С остальными арестантами мы не встречались. Несмотря на все свое добродушие, Грунднигг очень строго следил за этим. Мы знали, что в остальных камерах, уже не одиночных, сидят арестованные немцы, главным образом, офицеры африканского корпуса генерала Роммеля, какой-то старый черногорец (почему он туда попал, мы никогда не узнали). Отдельно держались уголовники — спекулянты черной биржи.

Однажды нас оставили одних с посетителями в «приемной», пустой комнате, в которой было всего два стула и скамья. Англичанин - сержант вышел. Прошел час. В тюрьме раздался звонок — обед. Мы не хотели делать неприятностей Францлу и вышли. Коридор был пуст. Стукнули в двери канцелярий Эф-Эс-Эс. Молчание. Дверь в тюремное помещение и ведущая к ней решетка тоже были заперты. Один выход был...

на улицу. Мы сошли по ступенькам в под'езд и вышли на улицу, где покорно стоял «Тришка» и...

— Бежать?

— Нет! Зачем? Вчера нам сказали, что все обвинения разбиты, все было «квач», т. е. ерунда. Бегство — знак страха, признание каких-то вин.

Мы стояли, облитые лучами августовского солнца. На улице шумно, сует народ. Свобода! Где-то в горах — Нуссберг, к которому стали привыкать, где можно часами ходить в лесу, искать грибы, продираться в малинник, собирать орехи... Там друзья, с которыми хотелось делить и добро и зло...

— Нет!

Мы круто повернулись, дернули за рукоятку старинного звонка и стали ждать прихода тюремщика. Медленно, как бы нехотя, «Тришка» тронулся и завернул за угол, увозя посетителей.

Нужно себе представить лицо заспанного капрала, молодого эф-эс-эсовца, выскочившего на улицу.

— Что вы здесь делаете? Как вы сюда попали?

Об'яснили. Он почесал затылок и попросил молчать об этом инциденте. Было это искренне, или из-за жалюзи окон канцелярий за нами следили бдительные глаза, желая узнать, как мы выдержим это искушение?



Тринадцать дней в тюрьме. Последние четыре дня без допросов. Прошлой ночью мы проснулись от шагов многих ног в подкованных сапогах в коридоре. Кого-то построили. Кто-то отвечал на переключку: хир! (здесь). Затем опять шаги. Грохот в'езжающего во двор грузовика. Светила луна. Я встала на спинку кровати и выглянула через решетку во двор. Строем стояло человек тридцать высоких парней в песочной форме африканского корпуса. Их куда-то отправляли. Еще раз пере-

считав, англичане приказали грузиться в машины. Роммелевцы сбились в тесную группу и запели боевую песнь своей части. Раздались ругательства, пинки, тупые удары резиновыми палками. Песня не прекращалась. Один за другим «африканцы» взбились в грузовики, не прерывая пения. Загудели моторы, и под бодрящие слова песни куда-то уехали эти светловолосые солдаты.

На следующее утро Грунднигг сообщил нам шопотом, что тюрьма должна быть освобождена для «очень важных крисфербрехеров». Может быть, это наш шанс быть выпущенными на волю?

К полудню майора и меня вызвали в канцелярию и какой-то новый, носатый и курчавый сержант на прекрасном берлинском немецком языке сообщил нам, чтобы мы были готовы со всеми нашими «бебехами» к 2 часам дня.

— Наконец! — подумали мы, быстро встретившись глазами. Однако, нам ведь не сказали, что нас отпускают? — Ничего! — утешил меня майор. — Поживем — увидим!

Ровно в два часа за нами пришел другой парнишка с большим носом, одетый в летнюю форму, «шортсы», которые показывали кривые ноги, сплошь заросшие кудрявой шерстью. Мы взяли подмышку вещицы, которые нам из Нуссберга привезли друзья, и вышли на улицу, быстро, мимоходом попрощавшись с тюремщиком.

Нас ждал «джип». «Джип» и два эф-эс-эсовца. Куда?

Дорога знакомая. За три месяца «плена» я не раз ездила по ней на «Тришке». Едем по направлению Клагенфурта, то есть по направлению нашего лагеря, Тигринга, а затем в горах Нуссберга. Мчимся быстро. Англичане на нас как бы не обращают внимания. Солнце, солнце, мягкий бриз... В сиреневой дымке горы...

Проезжаем первый поворот к Тигрингу и едем дальше. Мы переглядываемся. Есть еще один поворот дороги. Может быть, туда? Нет, едем дальше. Наверно, в Клагенфурт, в главный штаб Эф-Эс-Эс, а оттуда на свободу? Промчались и через Клагенфурт. Майор не выдержал: — Куда мы едем?

— О! — любезно повернулся к нам курчавый. — В Эбенталь!

Никаких больше об'яснений.

●

Небольшой нарядный лагерь. Ворота из посеребренного витого металла, а над ними по-немецки «Лагерь Эбенталь». У ворот английские часовые в формах танкистов. Вкатили лихо, развернулись, как утюг на гладильной доске, перед домиком, утопающим в розах. Очаровательные барачки направо. На окнах — белые занавесочки. Прямо и налево обычные, но очень чистые бараки. Клумбы, деревья, тень... По аллеям ходят женщины в австрийских «дирндл» платьях и мужчины в формах. Нам жарко, и хочется пить. Нас ввели в первый домик, и там мы встретились с красивым молодым сержант-майором в черном, танковых частей, берете и со стеклом под мышкой. — Джонни Найт, помощник коменданта лагеря Эбенталь, — представил его нам курчавый.

— Это, — нам об'яснили, — «энтлассунгслагер», лагерь, откуда отпускают «после известной процедуры» на волю. — Сколько это берет времени? Любезная улыбка на лице и вежливый ответ: — Это бывает своевременно или несколько позже!

Курчавый передал нас сержант-майору и ускакал на своем джипе. За ним закрылись кружевные ворота, и только тогда я заметила, что лагерь окружен тремя рядами колючей проволоки и целым рядом вышек, на которых стояли у пулеметов все такие же танкисты в черных беретах.

...Свобода самое лучшее, что имеет человек, и потеря ее ужасна. Это я знаю твердо, но если в неволе не все черно, то таким светлым пятном в моих воспоминаниях является месяц жизни в Эбентале.

Нас было всего человек двести. Меня сразу же отвели в женское отделение — это и были два домика налево от ворот, окруженные клумбами, молодыми березками и с занавесочками на окнах. Меня познакомили с 27 женщинами. Все австрийки. Старшая, г-жа Хок, встретила меня с немного поднятыми бровями: не своего поля ягода. Узнав, что я — русская, меня поместили в комнату, в которой было всего три кровати. Моими соседками оказались словенка Марица Ш. и жена штандартенфюрера «мутти» (матушка), как молодые австрийки называют более пожилых дам, Грета М. - К., очаровательная, прехорошенькая, несмотря на свои пятьдесят слишком лет, высокая блондинка с вьющимися волосами и ясными синими глазами.

Все мои новые знакомые были привезены в Эбенталь из их домов. У них были чемоданчики, в которых лежали красивое белье, косметические принадлежности, даже духи. У меня — форма, состоящая из кителя и брюк, сапоги и рucksack с «зибенцвечкен», как говорят немцы. Все эти дамы были «партейгенносе», нацистки. Их роль была маленькая. Благотворительность, работа по лазаретам, лагерям для детей, но они носили названия «Крайсфрау», «Бецирксфрау», даже «Гауфрау», что указывало на то, что они были председательницами отделов в районах, округах и даже целой провинции. Помоложе — начальницы БДМ (Союз немецких девушек) или еще ниже «Ха-Йот» (Хитлер-югенд). Только две, кроме меня, были «военными», в формах: симпатичная круглолицая пруссачка Урсула Пемпе и Лизхен Груббер, служившие в штабах армии.

Майор попал в офицерский барак, в котором тоже преобладали австрийцы. Устроился удобно. Он всегда любил чистоту и комфорт.

Весь лагерь никак не мог понять, почему мы попали в их общество. Там были или большие партийцы, или командиры каких-нибудь известных частей. Кроме словенки Марицы и меня, была еще одна иностранка, Марта фон-Б., жена большого венгерского дипломата.

Еще меньше понимали мы с майором, почему нас не отпустили сразу, а привезли в это, довольно уютное, чистилище.

В женских бараках были настольные лампы, шкафы для платьев и белья. На удобных пружинных кроватях — простыни, подушки и белые пушистые одеяла. Мне объяснили, что до прихода англичан не было ни колючей проволоки ни сторожевых вышек в Эбентале. Это был лагерь РАД (рабочих отрядов учащейся молодежи). Этим объяснялась и чистота, и гимнастические площадки, и масса цветов на клумбах.

Нас стерегли солдаты строевых частей. Начиная с капитана, коменданта лагеря, сержант-майора Джонни, и до последнего солдата, они были любезны и приветливы. Кормили нас, как на убой. Три раза в день нам давали пищу, и можно было брать вторые порции. Из громадных консервных банок в котел попадали курицы, овощи, иной раз ветчина или корнбиф. Прекрасный чай с молоком и сахаром на завтрак и два раза в день горячая еда. Хлеба было мало, но давали коробками бисквиты Грэхэм. Разделения между женской и мужской частью лагеря не было. Мы гуляли вместе, играли в карты, разговаривали, и только в десять часов вечера дамы должны были удалиться за жиденькую садовую ограду своих домиков и до следующего утра не смели выходить в общий круг.

Два раза в день нас выстраивали, утром и вечером, в торжественные карэ. Появлялись английский капитан и Джонни со стеками подмышками, поднимался или опускался гордый флаг Великобритании. Старшие барачников по очереди подходили к начальству и сообщали о численности и наличии заключенных. Англичане считали наши головы и после этой церемонии распускали.

Изредка кого-то вызывали в увитый розами домик рядом с воротами. Там заседал таинственный мистер Блум из Эф-Эс-Эс, который «рассматривал дела». От него, говорили, зависело все.

За исключением двух-трех дам, ко мне все отнеслись очень сердечно. Их забавлял мой не совсем чистый немецкий язык, а главное, то, что я не понимала их диалектов, которыми так богата Австрия. Их смешило мое полное незнание чинов, положений, названий и значков нацистской иерархии. Все считали, что нас с майором отпустят очень скоро, и давали нам адреса в Клагенфурте и других австрийских городках, где мы, по их рекомендации, могли найти «и стол и дом» и штатскую одежду. «Мутти» Грета М.-К. не выносила вида моего солдатского белья, считая «шокингим» уродливые длинные «подштанники», и преподнесла мне чудную ночную рубашку нежно-розового цвета в незабудках и остальные части двух смен женского туалета.

Нас через день продолжали посещать наши друзья из Нуссберга. Казалось бы, все было прекрасно, но постепенно мы стали узнавать и другую сторону этого «курорта». Еще и к т о не ушел из Эбенталя на свободу. Во всяком случае, никто из местных аборигенов, а мы были первыми иностранцами. Из Эбенталя отправляли в «ад», в лагерь Вольфсберг 373, находящийся в полутора километрах от города Вольфсберга, в котором я оказалась после первого ареста англичанами в на-

чальные дни плена, когда мы, после выдач, искали осколки русских частей, стремясь создать хотя бы какую-то картину происшедшей трагедии и помочь тем, кто, бежав, не знал, куда идти.

Нам сказали, что там царит произвол, что там ужасная еда, грязь, пыль, насекомые, строгость, отсутствие элементарной, хотя бы в границах лагеря, свободы. Нам говорили, что каждые десять дней из Эбенталья туда отправляют эшелоны, что Эбенталь не «Энтлассунгслагер», а «Дурхгангслагер», т. е. передаточный пункт, и что в Вольфсберге находится уже около трех тысяч людей, женщин, мужчин и подростков обоого пола, а самое главное, что там первое слово имеет не армия, а Эф-Эс-Эс, и первым человеком является некий капитан Чарлз Кеннеди, и что это имя ничего общего не имеет с его настоящим именем и фамилией.

— Вы туда не попадете, Арахен! — утешали меня новые подруги. — Вас, наверно, выпустят на свободу или отправят туда, где сербы, в Италию, или где русские.

При этом «утешении» у меня сжималось сердце. А вдруг как отправят в советскую зону Австрии!

Мне рассказали, что почти все они были арестованы чуть ли не в первый день прихода английских частей, что не всегда в Эбентале были «цветочки». Были и суровые дни шипов, когда все те же Блумы и Кеннеди держали лагерь всецело в своих руках, когда не было ни белых одеял, ни посещений, а только пинжи, брань и даже побои.



Сержант - майор Джонни Найт был вообще милым человеком, но особенно хорошо он относился к майору, говорившему по-английски, и ко мне, стараясь дать нам еще какие-нибудь льготы. Для него мы были просто солдаты, камрады, которые по ошибке попали в «калабуш». Настал сентябрь. По утрам туман с Вертерзее обволакивал наш лагерь. Вечера то-

же были холодными. У нас не было ни одной теплой вещи. — А вообще у вас есть что-нибудь теплое? — Ну, конечно. Меховые куртки, шинели, теплое белье, одеяла! Мы там, в горах, оставили все. Даже лошадей.

— Лошадей? — Джонни был заинтересован. И он и его капитан обожали лошадей. Будучи хозяевами этого лагеря, они могли бы держать на казенном фураже — кто тут в чем разбирается? — по одной лошадке. Можно получить наших лошадей?

Майора, конечно, не пустили, но мне Джонни выговорил один день отпуска из Эбенталя. На английской машине, в Нуссберг через Тигринг и обратно. Конечно, в сопровождении солдата с автоматом. Если бы я убежала, за это будет отвечать майор и «все те, кто мне в этом поможет там, в горах».

Никогда не забуду то туманное сентябрьское утро, когда на грузовой небольшой машине, в сопровождении автоматчика и шофера, я отправилась туда, где, мне казалось, жила и пела моя свобода и радость.

Каринтия своими ландшафтами очень похожа на Словению. Те же пашни, те же холмы и сопки, сосновые леса, ореховые рощи. Их, как двух сестер-близнецов, разделяет мутная и быстрая река Драва. Выезд из лагеря Эбенталь воскресил в воспоминаниях все так недавно пережитое: последние дни борьбы, отступление в неизвестность, полное терзаний, опасений и унижения, сдача в плен после перехода через мост на Драве, поле Виктринг, с которого нас увели за несколько дней до ужасных выдaч... Вспомнились стройные ряды сербских добровольцев-льотичевцев, домобранцев-словенцев генерала Рупника, отряды сербских и словенских четников... все те шестнадцать тысяч анти-коммунистов, которых безжалостно выдали на расстрел в кровавом ущельи Кочевья...

Вспомнились дымки костров лагеря казаков генерала фон-Паннвица на огромном полигоне около Фельдкирхена, их отвод в горы, в окрестности Сирница и Вайценфельда, откуда их так же немилосердно, обманом отправили в СССР. Ленинц... Ленинц, из которого чудом спаслись майор Г. Г., сестра милосердия Ольга П., наш шофер Анатолий Г. и я...

Маленький грузовичок бойко бежал по шоссе. На гречишных полях, кругом, как обрывки тюля, лежал туман. Было свежо. Поеживаясь и потирая холодные руки, я взглядом скользила по ставшим мне за короткий период знакомыми окрестностям. Проскользнули через Клагенфурт. Выехали на извилистую дорогу, по которой мы так недавно впервые ехали на подводах и машинах, шли пешком в районе Клейне Сант Вайт. Вот коновязь у громадного водопада, у которой уже в значительно меньшем количестве, но все еще стояли беспризорные, исхудавшие до неузнаваемости, верные боевые товарищи, кони, ставшие тоже жертвами этого катаклизма.

Неожиданно быстро из-за покрытых лесом сопок выскочило солнце. Туман стал рассеиваться. Шофер и сопровождавший меня солдат с автоматом распевали заунывные песни Уэльса. Им до меня не было дела. Они знали, что по-английски я не говорю, и поэтому я для них была просто грузом, который нужно, охраняя, доставить по назначению и обратно.

Когда мы в'ехали в Тигринг, у меня невыносимо заняло сердце. Все те же палатки и хатки, построенные из коры деревьев, сеновалы, в которых разместились часть «варягов», домики, построенные из балок, для супруги командира полка, приветливой и дружелюбной А. С., и для помощника командира полка по хозяйственной части. Автобус без колес, в котором была «канцелярия», «штаб» и телефонная станция. На поляне солдаты. Вот справа лазаретные палатки, и перед одной из них, с улыбкой на лице и с чистой совестью, стоит молодой док-

тор К., купивший свою временную свободу нашим арестом. Бегают ребята. Под деревцем сидят выехавшие с нами из Любляны супруги Г. и Коленька Катагошин...

Кто-то заметил меня в английской машине и стал кричать, показывая в нашу сторону рукой. Народ зашевелился и побежал наперерез грузовичку. От шума мотора я не слышала, что мне кричали, и только махала рукой. Мостик через реку — и Тигринг, в котором стояли корпусники. И тут меня узнали и заметили, но мы быстро проехали по крутой дороге к Нуссбергу.

Вероятно, видевшие меня предполагали, что я свободна, что я возвращаюсь, и спрашивали себя: а где же майор?

По крутой, размытой дождями дороге, между рядами акаций и орешника, «Бетфорд», гудя, лез к вершине сопки, все еще покрытой, как облаком, тряпкой тумана. Сколько раз эту дорогу я исходила пешком или проезжала на «Тришке»! Все выше и выше. Уже видны контуры лесной католической часовни на самой вершине. Поворот налево, еще налево, и из-за вершин деревьев видна зеленая крыша дома Ясеничницгов, сеновал, домик, в котором жили батюшки и ветеринар... Еще немного — и мы въехали в открытый двор.

Все — как раньше. Костер. У него, приготавливая завтрак, возятся рыжий Иванушка и суровый на вид Иванов. Немного дальше калмыки свежую конину, подвешенную между двумя деревьями. Из - под колес автомобиля с резким кудахтаньем разлетелись курицы. У колодца дочь хозяина, Гретл, застыла с открытым ртом и ведром в руках.

— Фрау Ара! — наконец выкрикнула она в тот момент, когда я уже выскочила и побежала к дому. Через минуту я была окружена со всех сторон казаками. Меня обнимали, целовали, поздравляли с... свободой. Мне было трудно их убе-

дить, что я только в отпуску на пару часов, и что мне предстоит вернуться в «собачий ящик», как солдаты называли Эбенталь. Наконец, я об'яснила свое и майора положение, попросила, чтобы дали двух лошадей для сержант-майора Джонни Найта и его командира, и отправилась наверх, в дом, собирать свой скарб.

Англичане спокойно расположились у своей машины. Им предложили свежей земляники и молока. Вынув свои продукты, они присели позавтракать, а наверху, в комнате у майора О., состоялся «военный совет». Разве нельзя мне бежать?

Опять все то же! Конечно, нельзя. Майор в Эбентале. Я боялась каких бы то ни было репрессий, и, кроме того — куда бежать без денег, оставляя за собой только неприятности для людей, которые сами все время под Богом ходили!

Это прощание было еще более тяжелым, чем в вечер ареста, когда все произошло так неожиданно. Правда, я все же верила, что вот - вот нас отпустят. И верила и... не верила.

Наш разговор все время прерывался телефонными звонками. Работали полевые линии. Звонили из Варяга, догадавшись, что я проехала в Нуссберг, звонили из корпуса. Было отратно на душе, волновали отзывчивость и живой интерес людей.

Время бежало, и я должна была на обратном пути захватить за вещами майора.

Равнодушные и спокойные мои «тюремщики» повезли меня вниз. Одновременно из Нуссберга на двух истощенных, но с следами бывлой красоты, молодых и породистых кобылках в Эбенталь выехали два офицера, уводя этот невольный дар англичанам.

В Тигринге меня ждали с завтраком. Опять тесный круг, расспросы, предположения. Рассказы, что здесь произошло без нас, новые сведения о Варяге в Италии... Мне по-женски хо-

телось плакать, но я старалась улыбаться, храбриться, даже немного бравировать, дразня, что я не сплю под шатрами в болотистой местности, а на мягкой постели под белым одеялом и ем курятину из английских консервов...

Врача К. я не видела. Он, зная, что я вот - вот приеду, уехал на машине Красного Креста. Но я видела шофера Бориса Ч., который стоял бледный, с бегающими глазами, и издали смотрел на меня. Я подошла к нему и просто сказала: — Ну, что, Борис! Больше не поедem мы с тобой ни в Мюнхен и никуда?

— Прости! — глухо ответил он. — Соблазнился... Документы обещали... Штатский костюм... Деньги и волю...

Может быть, это странно, но я его поняла. Для бывшего подсоветского человека, гонимого и в родной стране, как дикий зверь, страх перед отправкой на родину был сильнее, чем честность и дружба. У меня нет никакой злобы и обиды против Бориса. Он где-то живет в свободном мире, и я от души желаю ему счастья.



Возвращение было тяжелым. Мне казалось, будто что-то оборвалось, что возврата нет, и все бодрые слова, сказанные мной и моими друзьями, скрывали за собой полное сознание, что окончательно перевернулась страница моей жизни, и начинается новая, таящая в себе еще неощутимую опасность.

Приехали мы в Эбенталь перед вечерним построением. Лошади уже были здесь. На гимнастической площадке капитан и Джонни в восторге гоняли их то на корде, то верхом, коротким галопом.

После переклички и до десяти часов вечера я сидела с майором и рассказывала ему по порядку все происшествя этого дня. Привезенные мною вещи были сданы для обыска и получены нами только на следующий день. Майор был возбуж-

ден и взволнован так, как будто бы он сам был со мной в этих знакомых и вдруг в сердце ставших близкими местах. Ему тоже болотистый, бедный Тигринг, отвратительная пища, сырость, все неудобства казались верхом вожделений, и легкой горечью в душе отзывался ропот на нашу судьбу.

●

Через три дня к часу для посещений, которые происходили раз в неделю, появилась только сестра Ленни Г., бледная и напуганная. Накануне к ним в Нуссберг приехали англичане и забрали майора О. В Нуссберге началась паника. Офицеры решили раз'езжаться, кто куда может. Присоединяться к корпусу. Идти в лагеря для Ди-Пи. Пробираться в Германию... Куда угодно, но не оставаться на этом пятачке, в котором победители без труда вылавливали одну за другой рыбок.

В этот же день, вечером, при перекличке сообщили, что на днях отходит транспорт в Вольфсберг. Прочли список. Среди них было имя и майора Г. Г.

Мои тяжелые предчувствия стали сбываться.

●

От'езд людей в Вольфсберг всегда сопровождался известной церемонией. Англичане - танкисты, охранявшие Эбенталь, сдавали арестованных страже из лагеря 373. Приезжал странного вида серый грузовик, похожий на окованную железом коробку, с дверцей сзади, в которой было единственное окно с густой решеткой. «Кандидатов» опять обыскивали. Предупреждали, что в Вольфсберге нельзя иметь ножей, ножниц, ногтевых пилочек, даже вилок. Какие-то носатые людишки в форме Эф-Эс-Эс бегали по лагерю с документами в руках. К полудню осужденных на отправку женщин и мужчин кормили «белым обедом» — как на смерть осужденных последней вкусной едой. Затем их отделяли от нас, и, построившись у ворот, с вещами у ног, они ждали момента погрузки.

С майором Г. Г. уезжало несколько молодых девушек, между ними миляга — круглолицая Уши (Урсула) Пемпе. Она рыдала, прощаясь с ее женихом, тоже сидевшим в Эбентале, капитаном Виктором С., русским из Рити. Уезжала и моя «мутти» Гретл М.-К. Она этому радовалась. Ее муж уже был в Вольфсберге. Отправляли и так называемого «нашего» коменданта лагеря, старшего между арестованными, майора Брауна, веселого, элегантного австрийца, до войны очень богатого человека, жившего в Кении и имевшего там алмазные россыпи. С ним Эбенталь терял свое беспечное лицо. Майор умел развлечь, рассмешить, собрать хор любителей, устроить забавное спортивное соревнование. К тому же он был дамский угодник, и молодые арестантки со вздохом провожали своего любимца.

Моя грусть была глубже. Майор Г. Г. был моим большим другом. Другом в лучшем смысле этого слова. Моя связь с прошлым была отрублена, и с ним я теряла последнего близкого, чуткого и понимающего человека. Впервые за многие месяцы, может быть, даже годы, я не смогла сдержать слез.

— До свиданья! — говорила я, пожимая крепко его руку. — До скорого свидания в Вольфсберге! — повторяла, крестя его седеющую голову.

— Не дай Боже! — отвечал он мне, стараясь казаться спокойным и даже веселым. — Я желаю тебе, мой друг, скорой свободы. Ведь в этом будет лежать и мое освобождение. Ты-то уж меня выцарапаешь оттуда.

...Ровно через неделю я так же стояла в строю отправляемых. На этот раз ехало больше женщин. Очистили весь барак. Всех нас внесли в список. Нас так же осматривали, обыскивали, передавали из рук танкистов в руки юрких человечков в форме Эф-Эс-Эс. Остававшиеся в Эбентале так же нам пели трогательную австрийскую старинную песню о «скором свида-

нии»: — Ауф видерзехен мейн Шатц! Бальд верден вир цузаммен эейн!

Дамы, ехавшие со мной в Вольфсберг, были дружной компанией. Большинство из них знали друг друга давно, некоторые были друзьями детства. В национальных «дирндл» платьях, розово - голубых с синими передниками, причесанные на средний пробор с узлом низко на шее, говорившие на каринтийском диалекте, они мне были так же чужды и непонятны, как и я им. Самый мой вид делал меня чем-то посторонним. В форме, с пилоткой на довольно коротко остриженных волосах, в сапогах, с рюкзаком через плечо, я, сознаюсь, выглядела довольно печально. Я не знала их веселых, задорных народных песен, не понимала их юмора, не разбиралась в их политической иерархии, не сочувствовала нацизму.

Самой близкой была Марица Ш., словенка по крови, выросшая на границе в Австрии, но она была какой-то странной, не совсем нормальной, крайне нервной особой, и переходы от истерического хохота к потокам слез у нее происходили чересчур часто. Уши Пемпе была милой девочкой, но что у меня, кроме формы, было общим с пруссачкой? Венгерская аристократка, высокая, элегантная дама, с дорогими кольцами на длинных тонких пальцах рук, в норковом роскошном пальто, в то время держалась в стороне и в Эбентале чаще всего разгуливала одна или в обществе своих венгерских офицеров, которые относились к ней с подчеркнутым почетом и уважением.

Эбенталь, розы, солнце, хорошее отношение сержант-майора Джонни и, конечно, присутствие майора, помогали мне не вдумываться во взаимоотношения с женщинами заключенными. Мы спали вместе, вместе пользовались душем, строились два раза в день для переключки или становились в очередь за едой, и это было все. Все эти Грэтл, Финни, Анни, Ильзы и Фрит-

ци были мне безразличны. Я считала, что мы разные люди, разных взглядов, разных рас и религий, и что только ирония судьбы могла соединить нас под одной крышей за колючей проволокой.

Я часто замечала неприязненные взгляды. До моих ушей долетали колкие словечки, вроде «флинтенвайб», то-есть женщина-солдат, что-то совсем неудобоваримое для этих дам наци-общества. Реагировать на это я не хотела, думая, что все скоропреходяще, и только с одной прехорошенькой немкой, Эльзой Гюхов, вдовой какого-то крупного офицера, прошипевшей мне вслед, что все русские — коммунисты, у меня произошла стычка. Короче говоря, я дала ей пощечину. Это дошло до ушей коменданта, и нас обеих вызвали к нему. Мое объяснение было принято во внимание. Эльза не отрицала своих слов, прибавив, что ее мужа убили русские коммунисты, и что она терпеть не может этот народ. Комендант отпустил меня с миром, а немке прочитал нотацию. На этом все кончилось, но в душе у меня осталась глубокая царапина.

Теперь мы все ехали вместе по дорогам, залитым дождем ранней осени, в страшный по рассказам и неизвестный Вольфсберг 373.

В то время я еще сильно хромала из-за осколка под коленной чашечкой, но не старалась занять место на скамьях в машине, а предпочла стоять у маленького окна и через решетку смотреть на дорогу.

Несколько мужчин, ехавших с нами, уселись прямо на пол. «Переселенцы» пели. В железных стенах машины это пение казалось неестественно громким. Кто-то с мастерством «йодловал» по-тирольски, хор дружно подхватывал и раздражался новым шуточным куплетом. Наружу лил типичный для Австрии нудный «шнюрл реген», мелкий, частый дождь, которому, казалось, не было конца.

Всю дорогу, на которую пошло около трех часов, я раздумывала о том, что нас всех и меня в частности ждет в этом, действительно «собачьем ящике». Промелькнул городок Фелькермаркт, старинное сонливое местечко, в котором англичане оставили нас запертыми в стальной коробке, а сами пошли перекусить и выпить эля в казарме полка Дорсет. Где-то, за густыми зарослями вербы и ивы, бурлила и шумела мутная, коричневая вода Дравы. В прорывах облаков видны были в мое окошечко горы Словении...

Пробовала молиться, но мозг плел свои мысли, и я никак не могла сосредоточиться.

Часов около четырех дня мы, наконец, под'ехали к месту, в котором мне было суждено пробыть два долгих года. Машина остановилась перед воротами, которые охраняли четыре английских солдата, с медными бизонами на беретах. После долгих переговоров, их открыли, и мы в'ехали в первый двор, знакомый мне по воспоминаниям. Налево — бараки для солдат. Направо — штаб коменданта лагеря. Дальше — штаб Эф-Эс-Эс и одновременно чистилище для приезжающих. Направо — английские кухни и прачечная.

Перед нами вторые ворота, заплетенные колючей проволокой, и за ними, как мне показалось, бесконечное количество бараков, уходящих куда-то вдаль.





**Карриатура на А. И. Делианич:
«Тоска по свободе», рис. Мики.**

КАПИТАН ЧАРЛЗ КЕННЕДИ.

Это имя мы часто слышали в Эбентале. Нам говорили, что он — «гроза и трепет» всего Вольфсберга и вообще всех арестовываемых. Настоящее его имя было Хаим Хилман. Родился он в Германии, но долго жил в Австрии и, после так называемого «Аншлуса», то-есть соединения этих двух стран, под режимом Гитлера, в одну, бежал в Венгрию, а оттуда в Англию. Нам говорили об его зверствах, полном бессердечии, об его ненависти ко всем немцам и австрийцам, будь они или не будь нацистами, и, конечно, ко всем тем, кто волей или неволей, по любым причинам, носил немецкую форму. Нам описывали его наружность, но я, как-то, не веря в возможность попасть в «373», не думала о встрече с ним.

Когда открылись двери клетки-автобуса, я оказалась лицом к лицу с маленьким, толстым, почти совсем без шеи, от жира горбатым человечком в английской форме, с черной пилоткой на таких же черных, мелко вьющихся волосах. Толстое красное лицо, толстые отвисшие, алого цвета губы. Маленькие глазки, злые, как у разъяренной свиньи, за толстыми же стеклами очков.

Мы встретились взглядом, и я сразу поняла, что это и есть капитан Кеннеди - Хилман. Он же осмотрел меня бегло с

головой до ног и вдруг, свирепея, еще больше краснея, схватил меня за левый рукав шинели, за знак «РОА» с Андреевским флажком.

— Ха! — возопил он во весь голос. — Наконец-то хоть одна власовская свинья, русская собака! — и, дернув меня со ступенек, повернул и пинком толкнул к дверям барака, комнаты для обыска.

У меня, в буквальном смысле слова, потемнело в глазах. Забывая, где я нахожусь и с кем имею дело, что у меня нет ни защиты, ни прав, я повернулась и крикнула прямо в красную физиономию: — Как вы смеете вашими грязными руками хватать за мой значок! Сами вы свинья и собака!

Капитан не то оторопел от моей дерзости, не то его сбила толпа арестованных, вышедших из автобуса, но он мне только погрозил кулаком и стал считать головы.

В небольшой, голой комнате барака все прибывшие разместились на скамьях, ставя перед собой вещи. Меня окружили женщины. В глазах их я читала известное уважение и страх. — Что вы наделали? — шептали оне. — Вам здесь жизни не будет!

— Мне наплевать! Скорее выберусь отсюда — все равно, куда! — отвечала я, все еще кипя от бешенства. — Я не позволю этому грязному типу...

Открылась дверь, и капитан Кеннеди влетел в нее в сопровождении полудюжины английских солдат. — Обыск! — сообщил он. — Открывайте чемоданы и рюкзаки. Все на скамьи! Ничего не скрывать. Никаких острых предметов. Не найдем сегодня — найдем при обыске в бараках. Наказание — неделя в «бункере» (тюрьме) на хлебе и воде.

Мы повыбрасывали вещи на скамьи, а сами стали перед ними. Подошел мой черед. Кеннеди резко приказал солдатам обойти мой «гвинкл» (барахло). — Ее последней! — ска-

зал он. У женщин отбирали вязальные спицы, большие иголки, маникюрные ножнички, приборы для еды. У мужчин — опасные бритвы и ножи, обещая возместить их безопасными. Обыск подходил к концу. Кеннеди, наконец, обратил свое внимание на мои солдатские рубахи, так патетически жалостно выглядевшие для того, чтобы убедиться, что в нем ничего не осталось, прощупал все швы и бросил на пол. Вещь за вещь проходили через его толстые пальцы с не по-мужски длинными, полированными ногтями. С тем же презрением и омерзением он отбросил мои солдатские рубахи, так патетически жалко выглядевшие длинные подштанники. На его губах играла ироническая улыбка. Наконец, он добрался до молитвенника.

— Это что? — Молитвенник!

— Это что? Молитвенник?

— Как видите!

— Какой религии? — Православной. — Что вы с ним делаете? Молитесь? Вам здесь никакие молитвы не помогут!

Я промолчала, но твердо взяла молитвенник из его рук и положила в карман шинели. Следующими были фотографии. Одну за другой Кеннеди раскладывал их на скамье, каждый раз спрашивая: — А это кто?

— Генерал Андрей Власов... — отвечала я. — Король Петр Югославский. Генерал Дража Михайлович...

— А где у вас Гитлер?

— У меня его нет, не было и не будет! Я не нацистка, а анти-коммунистка!

За нами внимательно следили все приехавшие, ловили каждое слово.

— А кто это?

— Мои родители!.. Мой муж... Мой сын...

— А это что?

— Учение стрельбе из револьвера во дворе казармы!

Цель на этой карточке не была видна.

— Лжете! Это вы расстреливали бедных евреев..

— Вы лжете! — ответила я так же резко.

— Эту карточку я забираю. Она будет служить обвинительным доказательством против вас.

Карточка исчезла в кармане капитана Кеннеди.

— Снимите шинель!

Сняла. Она была также вытряхнута, вывернута наизнанку и прошупана.

— Снимите сапоги! — рявкнул Кеннеди.

Я села и протянула ногу. — Снимайте. Я сама не могу.

Мы скрестили взгляды, смотря друг другу прямо в зрачки. Капитан должен был прочесть в моих глазах решимость отвечать ударом на удар.

Воцарилась жуткая пауза. Кеннеди поднял плечи, еще больше выставил свой жирный горб спины и буквально поси-
нел в лице. Правая рука поднялась, как бы занесенная для удара, но я быстро встала на ноги. Об этом моменте потом долго говорили в лагере Вольфсберг. Замер весь барак, и все ждали, чем это кончится.

Кеннеди медленно опустил руку и, не говоря ни слова, круто повернувшись, вышел из барака. Маленький сержант-майор, со значком бизона на фуражке, весело скомандовал: «Вещи в руки, марш за мной!»

Возможно, что читающий эти строки подумает, что картинка первой встречи с капитаном Кеннеди если не выдумана, то «сделана», приукрашена мною. Однако, это не так. В тот день я просто не отдавала себе отчета, какие последствия могут иметь подобные стычка и сопротивление. Во мне говорил протест против ареста, против соединения с совершенно чуждыми элементами. Во мне говорило стремление на волю и от-

вращение к самому Кеннеди, вспыхнувшее с первого взгляда. Повторяю, что о моей «храбрости» было рассказано по всему лагерю, и это был первый шаг к постройке морального моста, который дал мне возможность не только терпеливо перенести два года в Вольфсберге, но и вспоминать о бывших там со мной людях с благодарностью, дружбой и любовью.

Это первое столкновение, как я много позже узнала, произвело впечатление и на самого Кеннеди. В городке Вольфсберг, где он имел частную квартиру, женившись на молодой, пухлой и рыжей австрийке, он рассказал о нем, смакуя, с удовольствием. Ему, как это ни странно, импонировал мой отпор. Как мне впоследствии передавали, он «убедился» тогда, что я не «наци» и не «кригсфербрехер».

— Я мог бы ее очень скоро выпустить, — говорил он, — но в этом «цирке — 373», я считаю, должны быть представлены всякие экземпляры фауны... Я решил — пусть посидит. Фактически в лагере люди были более сохранны, чем на свободе.

Забавный маленький сержант-майор, с лицом состарившейся рыжей моськи, повел сам женскую группу. Лил дождь, но женский блок от помещения Эф-Эс-Эс отделял только забор. Перед моими глазами, во всем отчаянии холодного осеннего дня, встала вся мизерия жизни в этом грязном, сером, длинном бараке, с трех сторон огороженном очень высоким деревянным забором с колючей проволокой наверху, второй оградой из столбов с колючей же проволокой и целыми клубками этой же проволоки, набросанной спиралью между ними. Фронт был только из столбов и проволоки, с большими густо заплетенными воротами на замке.

Около барака стояла группа женщин в голландских сабо, серых брюках из крапивного материала и голубых, некогда французских шинелях. Лица их были серы, как этот серый день.

Оне махали руками, когото приветствуя, узнавая среди нас своих знакомых.

Сержант-майор подождал «блок-кипера», молодого солдата с румяным детским лицом, и когда тот открыл замок ворот, впустил нас в «наше новое царство».

Небольшого роста смугленькая дама представилась нам, назвав себя «баракен-муттер», то-есть старшей среди заключенных, назначенной англичанами, и сообщила свое имя: — Я, сказала она, — фрау Йобст, аптекарша из Фелькермаркта. Меня назначили следить за порядком и быть связной между вами и тюремщиками. Это очень неприятная должность, и я прошу вас не делать ее еще более тяжелой. Помните, что Вольфсберг — не пикник. Дисциплина. Тяжелая пустая жизнь. Грязь, если мы сами не делаем все, чтобы ее удалить, и... голод.

Новоприбывших разбили на группы и ввели в барак. Всем, кто жил в каком-либо лагере, известны эти длинные деревянные постройки с коридором посередине, освещаемым только через стекла входных дверей, с комнатами направо и налево и «латриной» и умывалкой в конце.

Я попала с десятью другими в большую, первую налево комнату в четыре окна. Шестнадцать «бункеров», двуярусных кроватей. Жестяная небольшая печь, длинный стол и две скамьи. В комнате нас встретили «старожилки», двенадцать женщин, все в деревянных «колотушках» на ногах, брюках и защитных рубахах. Оне зябко жались и с интересом рассматривали новую группу. Нашлись старые знакомые, нашлись «сосиселки» по Эбенталю. Я, конечно, не увидела ни одного знакомого лица.

Разбирались койки. Более пожилым уступались нижние. Мне указали на верхнюю, на которую нужно было взбираться без каких-либо приспособлений. Койки? Голые доски. Ни одеял, ни матрасов, ни подушек Эбенталю. Рама, в которук

было вложено по четыре доски, с таким расчетом, чтобы щели между ними были пошире, и спящий ощущал и холод и врезание их острых краев в бока и спину. Я бросила на койку свой мешок и подошла к окну, глядящему в слепой забор и крышу барака, в котором нас обыскивали. Кругом меня жужжали голова, восклицания, расспросы и рассказы. Немецкий язык мелкой, картавой дробью бил в уши, отдавался в голове. Во мне накинупало странное, мне до тех пор незнакомое чувство подкатывающей истерии. Стараясь сдерживать себя, я прижалась лбом к грязному мутному стеклу. Со спины кто-то подошел ко мне и положил руку на плечо:

— А почему вы попали сюда?

Сколько раз позже мне пришлось слышать этот вопрос и отвечать на него! Он был так понятен в Вольфсберге, в который со всех сторон стекались древние старики и старухи, солдаты и женщины, бывшие гестаповцы и сторожа кацетов, эсэсовцы и дети, больные, калеки, виновные и безвинные, немцы и иностранцы. Но в этот момент мне только не хватало, чтобы кто-нибудь спросил меня, почему я попала в среду этих чуждых женщин.

— Почему я здесь? — вдруг криком ответила я. — Я сама себя спрашиваю, почему я здесь среди вас! Я не немка. Я не нацистка. Я презираю всех нацистов. Я — русская из Югославии, анти-коммунистка, власовка. Я не желаю оставаться здесь! Если я в чем-либо виновата, я хочу к своим. К сербам, к русским... в Италию... в Пальма Нуову, где их держат, в Римини, к чорту на кулички! С вами я быть не желаю, будьте вы все прокляты!

Как мне стыдно за этот взрыв! Я и сегодня чувствую, вспоминая его, как краска заливает мое лицо и шею. За что? За что я обидела этих женщин и девушек? Среди них были ни в чем не повинные, матери, оторванные от детей, от се-

мы, от дома, обычные служащие, мобилизованные, и даже среди партийных, как я вскоре убедилась, были просто ослепленные, верившие в Гитлера, в светлое будущее и ничего общего с зверствами режима не имевшие.

Но тогда я понесла, как конь, закусивший удила. Ударом ноги сшибла скамью, другим — повалила стол. Я оттолкнула от себя чьи-то по-еестрински открытые руки и побежала к дверям. Бегом через коридор наружу, к воротам блока. Они были завязаны цепью, и на ней висел тяжелейший замок. По лужам «аллеи» проходил патруль англичан. Напротив, я только сейчас заметила, в таких же «блоках», за проволокой вокруг барачных корпусов, нахохлившись, попарно или в одиночку, в деревянных сабо, в голубых или своих военных шинелях ходили мужчины. В небольшом домике-кухне возились повара. Перед этим бараком столпились люди с громадными палками в руках, — носильщики еды по баракам.

Блоки... Блоки... Блоки... Бараки. Сторожевые вышки с пулеметчиками. Лай собак. Веселые крики в «английском» дворе. Я не заметила, что, лбом прижавшись к колючкам проволоки ворот, я раскровянила кожу. Нет! Отсюда никуда не уйти...

Стыд и раскаяние мучили меня теперь больше, чем мое отчаяние. Повернувшись, я пошла обратно. В дверях комнаты меня встретила знакомая с Эбенталя, добрая, сердечная красавица мутти Гретл М.-К.

— Аралейн, дитя! — сказала она, крепко обнимая меня. — Крепись! Ты была таким героем перед Кеннеди... Помни, что, только если мы будем все держаться вместе в пассивном, но решительном отпоре, мы отстоим свои жизни и свободу. Гордость прежде всего! Ты думаешь, что ты нам чужая? Как можем мы быть чужими, если мы страдаем вместе! Время все изменит, а времени у нас будет очень много... Ты

узнаешь нас, а мы тебя, и увидишь... Мы будем друзьями!

Эти слова были пророческими.

Смущенно я вошла с мутти Гретл в комнату, в которой уже были убраны следы моего бесчинства. Сожительницы прибрали свои вещички, на гвоздях развесили кофточки и шинели. В углу лежала куча серых грязных одеял. Их разбирали. По два на кровать. Редкие, как решето, одеяла военнопленных. Кто-то заботливо положил на мою койку два, не очень порванных, и на изголовье чье-то чистое, домашнее полотенце.

Ни слова упрека. Ни одного угрюмого лица. Как будто ничего не произошло. Тоненькая, со странным египетским лицом девушка, имевшая место подо мной, протянула мне руку. — Я — Аделе Луггер. Служила машинисткой в С. Д. Мы — соседки. Сплю очень беспокойно и по ночам во сне плачу. Не сердитесь. — Направо старушка в форменном кителе, такой же юбке и громоздких сапогах. — Катарина Хоффман. Надзирательница кацета Ораниенбург. — Под ней блондинка с длинными лунного цвета волосами и русалочьими лицом и глазами: — Ингеборг Черновски. Машинистка канцелярии гаулейтера.

Тянутся со всех сторон руки. Крепкие пожатия. Имена. Причины сидения или предположение причин.

Незаметно втянутая в общий разговор, уже успокоившись, уже примирившись, но сильно пристыженная, я дождалась своего первого «ужина» в лагере Вольфсберг 373.



Как быстро привыкает человек к новой, даже очень тяжелой обстановке, начиная от наказания «твердой постелью», которому мы были подвергнуты на первые шесть месяцев сидения в лагере, до холода и голода...

Передо мной лежат маленькие «сувениры». Брошечка, сделанная из колючей проволоки, мундштук, вырезанный из щепки с надписями на его четырехгранных сторонах: 24.9.1945

года (день приезда в Вольфсберг); САМР 373; Вольфсберг; 251926 — мой арестантский номер, который был наклеен желтой краской и на спине рубахи. И карриатура, которую мне к первому Рождеству в Вольфсберге преподнес румын, офицер-летчик. Карриатура изображает «тоску-печаль» в глазах моих, устремленных вдаль, к свободе.

С первого дня человек должен был втянуться в «рутину». Подъем в 6.30 час. утра, появление «блок-кипера», англичанина, обычно сержанта, которому вверялся контроль над блоком; он с грохотом открывал ворота и двери барака и врывался, громко стуча подкованными сапогами, барабани кулаком в каждую дверь, с выкриком: «Уэки, уэки, райз ин шайн!» Вольфсберг находится высоко в горах. С сентября лагерь до полудня был или в густом тумане, или обливался дождем. «Шайна» не было, и даже с дощатой постели не хотелось вставать. В 7 часов строились в коридоре и ожидали прихода нашего «кипера» и начальника сторожевого поста. Считали. Иной раз по три-четыре раза, путаясь и сбиваясь. С ними ходила маленькая, кругленькая фрау Йобст, заверяя, что никто не сбежал. Первое время после моего приезда нас было только 121 женщина, но к «разгару сезона», через неполных 8 месяцев, нас уже было 398 женщин, старух и совсем молодых девочек.

В 8 часов утра «фрасстрегеры» (носители «жратвы»), наши же заключенные мужчины, попарно вносили на палках котлы с бурдой, которая называлась чаем. Капитан Кеннеди и его окружение умудрялись и на нашем пайке в 900 калорий (штрафной, но одинаковый для всех) нагревать карманы. Из английских казарм привозили вываренный чай и кипятили его до тех пор, пока вода не делалась бурой-мутной и не начала отдавать пареным веником. В эту бурду прибавлялось немного сухого «ским» молока. Сахара не полагалось. Это и был наш «завтрак», и все же мы все становились в очередь и

брали в ржавые полулитровые котелки эту горячую жидкость. Обед выдавали между 12.30 и 1 часом дня. Состоял он из такого же котелка сухого гороха, разваренного в пюре, якобы с корнбифом, но даже волокно этого красного мяса встречало восторг и «зондермельдунг». Счастливица бежала по всему коридору и на одном зубце вилки несла этот драгоценный «продукт питания». Обычно давали пищу «в общелк», но, когда на дне котла оставалось хоть немного, по очереди вызывалась комната, и «штуббенмуттер», то-есть старшая, разделяла эти жалкие «абштаубер» (крохи) между своими сожительницами.

В 3 часа дня приносили белый ватный хлеб. Дележка менялась: от четверти буханки до одной шестой. От чего это зависело — никто не знал. Хлеб с'едался тут же, до последней крошки, так как он являлся фактически нашей единственной пищей.

В пять часов вечера опять тот же «бурдистый» чай и два раза в неделю, по субботам и воскресеньям, полмисочки «порриджа», овсяной каши на воде.

Энергии подобное питание не придавало, да, в общем, и на что нам была нужна энергия? Начиная с сентября месяца и до Рождества из всего женского блока работало только шесть крепких, здоровых девушек в прачечной, где они стирали руками солдатское белье, за что имели 100 гр. сахара и две пачки папирос в неделю. Остальные лежали на твердых кроватях, ходили друг к другу «в гости», меняя только комнату, или бродили вокруг барака, переглядываясь издали с мужчинами, находившимися в блоках визави. Лазарет наш был тогда еще «в пеленках», и в нем, кроме двух-трех врачей, работали еще четыре сестры, среди которых старшей была графиня Грета Н., пожилая, мужеподобная аристократка очень демократического характера, говорившая низким басом, вся увешанная

боевыми отличиями за работу на первых линиях, обладательница изумительного ангельского сердца.

Мужчины работали в кухне, на уборке «аллей» и площади в лагере, в конюшне у англичан, на постройках, в столярных и слесарных мастерских, и партиями их гоняли под конвоем на рубку дров для лагеря, которые затем англичане привозили на больших грузовых машинах.

Пять раз в неделю, за исключением суббот и воскресений, нам давали полчаса «прогулки». Победители, наши тюремщики, растягивали, как змею, грандиозную спираль колючей проволоки от нашего блока до клумбы (без цветов), где ставили часовых. Мы, женщины, выходили из своего блока и становились вдоль этой колючей змеи, а с другой стороны подходили мужчины из одного блока. Таким образом, наши разговоры и встречи с мужчинами сводились на эти полчаса криков, плача, несвязных перебрасываний словами, драки из-за места у самой проволоки, вытягивания шей через плечи других, под окрики и брань часовых, которые не разрешали через проволоку протянуть друг другу руки.

Приняв во внимание, что в лагере было 8 мужских блоков, плюс два «свободных дня», ясно было, как редко мы видели знакомых. Небольшой свободой пользовались супруги, которые могли встречаться на полчаса каждый день, пять раз в неделю, гуляя перед кухней, опять же под свирепым надзором рабовладельцев. В очень дождливые дни прогулки отменялись для того, чтобы не мокли надзиратели.



ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ.

Лагерная «почта», или переноска вестей, называлась у нас довольно грубым словом «латрина». О моем приезде в Вольфсберг майор Г. Г. узнал сразу же, но до нашей первой встречи прошло почти пять дней. К нашей радости, он находился в блоке «Ф», бо-о-бок с нашим, женским «А» блоком. Нас разделял очень высокий забор из грубых досок и с женской стороны только «дракон», т. е. клубы набросанной проволоки, которой заплетались и доски ограды. С мужской стороны были еще ров и проволочное заграждение «кружевами», т. е. протянутое между столбами.

На второй день моего приезда «фрасстрегеры» сообщили мне о нашем соседстве. Сделано это было опять же путем «латрины». Они шепнули фрау Йобст, она передала мутти Гретл М.-К., а та мне. «Старожилки», попавшие в «373» раньше нас, отвели меня к «стене плача», т. е. к забору, отделявшему нас от блока «Ф», и, образовав кружок, якобы разговаривавший между собой, отвлекая этим внимание часового на сторожевой вышке, выкрикнули имя майора. С другой стороны «латрина» действовала с такой же быстротой и точностью, и через несколько минут я услышала мое имя, сразу же узнав голос Г.

Обмен вестями был краток и немногословен. Назначена была встреча у «змеи» в день прогулки блока «Ф». Я никогда

не забуду этот серый, дождливый день, эту массу мужчин с одной стороны и женщин с другой. Мне помогли пробраться почти вплотную к проволоке, но англичане следили за тем, чтобы мы друг другу не подавали руки.

Трудно разговаривать в такой обстановке. Кругом гул голосов, выкрики, давка, кто-то плачет, кто-то истерически смеется. После недолгой беседы мы остались стоять молча, просто глядя друг на друга. Майор сильно осунулся, пожелтел в лице, но старался выглядеть бодрым. На нем все так же ловко и элегантно выглядела форма, щеки были гладко выбриты, но круги под глазами говорили о многом.

После этого первого «свидания» я вернулась в комнату разбитая и, молча, ни с кем не делаясь впечатлениями, легла на свою жесткую койку.

В общем, первое время, пока наш блок не был укомплектован, мы могли делать весь день, что мы хотели. Обязанности сводились к вставанию во-время, построению, уборке комнат для инспекции, построению вечером и укладыванию спать в 10 часов вечера, когда во всем лагере тушилось освещение по баракам.

Для меня жизнь шла от встречи до встречи с майором. Остальные блоки меня не интересовали. Вестей извне не было. «Латрины» то возбуждали какие-то надежды, которые сейчас же гасли, то приносили самые невероятные сведения о выдачах, расстрелах, которые нам всем поголовно угрожали. Вечно полуголодное состояние убивало какую бы то ни было энергию. Подобно мне, большинство женщин проводило день или в прогулке вокруг барака, или в лежании на постели.

Почти каждую неделю прибывали новые арестанты. Население лагеря разрасталось. Новичков встречали сердечно и помогали как-то разместиться. Постепенно происходило отсеивание элементов, группировки. Дамы, бывшие партийки, за-

нимавшие большие должности, разместились в двух самых больших и светлых помещениях. Более молодые, принадлежавшие к Союзу немецких девушек, тоже, с разрешения фрау Йобст, сгруппировались в трех комнатах. В одной, маленькой, собрались сестры милосердия, среди которых была Эрика Мюллер, русская немка из колонисток, жившая под Одессой. С ней у меня сразу же установились дружеские отношения.

В одной небольшой комнате, получившей название «упрямой», жили чиновницы больших министров Третьего Райха, высокие, красивые девушки, работавшие в прачечной. Они почему-то обратили на меня внимание и не раз зазывали к себе на папироску, покурить и поболтать. Почему их посадили в Вольфсберг, сказать было трудно. Две из них были германскими победительницами на Олимпиаде: Ингеборг Кенйке — бросание копья и диска, и Анна Куликке — лыжный спорт. Обе — пруссачки, выше меня ростом, красивые, прекрасно сложенные; они даже не принадлежали к партии. Самой красивой между ними была Ютта фон-Г. из Кельна, служившая в министерстве обороны. Маленькая блондиночка Магда Бонтенакль была машинисткой министерства труда.

Только двое могли считать, что их по праву засадили, т. к. обе работали в Отделении Государственной Безопасности: будущая моя подруга Гретл Мак из Клагенfurта и Адельгейд Экснер из Виктринга.

Рано утром они уходили в прачечную и возвращались перед закрытием блоков на замок, к 5 часам вечера. Через них мы узнавали все новости. Окна прачечной выходили во двор англичан. Они первые видели приезжающих, имели возможность поговорить с более любезными и приветливыми «киперами», поболтать с мужчинами, работавшими в соседней с ними кухне. Некоторые солдаты регулярной армии оставляли нарочно в карманах своих кителей и брюк папиросы, спички, конфеты или

кусок туалетного мыла. Всем этим эта «упрямая» шестерка делилась с менее имущими. Они приголубили меня, Урсулу Пемпе, Финни Янеж, болезненную бледную девушку, и вскоре за нами прибывших двух совсем молоденьких девочек, Бэби Лефлер и Гизелу Пуцци, о которых позже будет речь.

Я осталась в первой комнате, вскоре до последней койки занятой новоприбывшими. Мы были странным конгломератом. С нами сидела ненормальная Иозефина Майер, странная пожилая женщина, о которой говорилось, что она доносила Гестапо в дни войны, Иоганна Померанская, полька, бывшая надзирательница немецкого кацета, тоже странный тип женщины, ненавидящей все вокруг себя. У нас была беременная семнадцатилетняя Эрика Ребренигг, дочь крестьянки, которая никак не могла понять, за что ее арестовали, пять девушек из Вены, служивших в... пожарной команде. С одной из них, Эльзой Оберностерер, мы заключили пакт о совместном хозяйстве. Состояло оно в том, что я ей отдавала по субботам и воскресеньям порридж, а она, не курящая, свои папиросы. Через месяц по прибытии нашем в «373», нам стали их выдавать пять штук в неделю. Мы стали получать по куску мыла «Люкс» на две недели, одну зубную пасту на четырех раз в месяц и иной раз конфетки «Лайфсэйвер» «за хорошее поведение».

Я всегда много курила. В дни войны курила все — до чая, начинки матрасов, сухих хризантем, сорванных на кладбище. Папироса для меня была единственным утешением и другом. Я меняла все, что могла, на них, иной раз отказываясь даже от хлеба. Об этом узнали и, видя меня иной раз сидящей с мрачным видом в углу или ходящей под проливным дождем вокруг барака, кто-нибудь из более молодых внезапно срывался и, мчась по коридору, начинал кричать: — Слушайте, слушайте! Ара осталась без папирос!

Как это было трогательно! Из многих комнат выходили старушки, просто некурящие женщины и даже подобные мне курильщицы и давали из своих сбережений от «бычка» до двух-трех папирос. Почему-то им хотелось помочь мне в моем одиночестве, в моей тоске и особенно мне подчеркнуть, что я — не чужая, что они меня понимают и считают своей.

Трогательно было отношение к трем беременным женщинам, к маленькой Эрике, носящей под сердцем незаконного ребенка, к вдове одного летчика, разбившегося в день капитуляции, и к вдове бывшего гаулейтера Каринтии, нацистского босса Глобочнигг, высокой, спокойной женщине, героически несшей свой крест. Ее муж после капитуляции Германии, зная, что его ожидает процесс и, может быть, казнь, покончил жизнь самоубийством. Его имя у нас никогда не упоминалось, о его судьбе никогда не говорилось, и фрау Глобочнигг, тяжело перенося свою беременность, никогда ни одним словом не показала своих страданий, не пожаловалась, не просила облегчений или милости у тюремщиков и спала на твердых досках.

Этим трем помогал весь барак. Отдав платочки, шали и даже платья, им смастерили какие-то подстилки, пряча их на день, чтобы их не нашел контроль. Им отдавалось то небольшое количество сахара и конфет, которое изредка нам раздавалось. В конце ноября нам впервые выдали фрукты: раз в неделю одно яблоко или апельсин на четырех или пятиерых женщин. Все эти фрукты мы отдавали беременным, девочкам, все еще растущим и нуждающимся в питании, и древней старушечке фрау Грузитц, которой у нас в бараке исполнилось 82 года.

Просматривая сегодня в мыслях весь состав женского барака и зная их дальнейшую судьбу, я часто думаю, что, может быть, две-три являлись «кригсфербрехершами», но остальные были собраны с бору да с сосенки просто для того, чтобы суще-

ствовал блок «А» в лагере Вольфсберг, рассчитанном на 5.000 человек.

Внутреннее разделение на «касты» было, в общем, вполне понятным. Общее прошлое, общие воспоминания, интересы. Чиновницы и военные помощницы ничего общего не имели с «дамами из партии». Но вражды не было. Была только тенденция как-то группироваться, чтобы легче было переносить безнадёжную тоску, голод, холод и безделье.

Холод. Уже с октября стал падать снег. Горы вокруг Вольфсберга покрылись не тающей белой пеленой. Бараки в одну доску, с ординарными, плохо пригнанными многочисленными окнами не держали никакой теплоты. Дрова выдавались очень оригинально: в день на голову одно полено. В больших, населённых комнатах, в которых жило по 18 и даже 28 женщин, можно было хоть раз в день, вечером, хорошо протопить помещение и немного согреться. Однако, в маленьких, в которых жило по шесть заключённых, шесть полешек тепла не давали. Поэтому мы сами от себя отчисляли им лишние поленья и следили за тем, чтобы «утром не найти замерзшие нацистские трупы».

Мужчинам в этом отношении было легче: от каждого блока люди шли на рубку леса. Вечером, возвращаясь, они имели право принести с собой столько дров, сколько можно было обхватить поясом от брюк, и, стянув его, нести за плечами. У мужчин в бараках не было разделения на комнаты, и в каждом бараке было по две-три печи, которые топились коммунальным способом. Мужчины приносили из леса картофель и даже хлеб, который им там оставляли сердобольные граждане окрестных поселений.

Эти мужчины с радостью помогали бы нам, но в ту первую зиму лагерные строгости доходили до абсурда. Проходя мимо женского блока, заключённые не смели смотреть в нашу сторону. За обычное приветствие, поднесение руки к козырьку

или «Гуттен-морген» женщину оставляли без прогулки, мужчин садили в «бункер». Нас в то время стерегли сбродные солдаты, что-то вроде штрафного батальона, главным образом, лондонцы, грубые, неотесанные, сквернословящие парни. С ними сговориться было просто невозможно, и, боясь Кеннеди и всех чинов Эф-Эс-Эс, они старались открыть какие-либо проступки и срочно о них донести.

Кеннеди окружали его земляки, только во время войны ставшие английскими служащими. Все эти Брауны, Зильберы, Вейсы и Шварцы, пылали к нам упорной и лютой ненавистью и презрением. Проступки, о которых им докладывали, превращались из мухи в слона, и, зная, что мужчины подвергаются гораздо более строгим наказаниям, мы старались ни в чем их не подвести.



Наказания... Странные были наказания для сидевших в Вольфсберге людей. В первые дни после моего приезда, когда солнце иной раз баловало прозябших заключенных, нас поймали на разговоре через забор с блоком «Ф». Мужчин захватить не успели, и весь гнев обрушился на нас.

Наш «кипер» вызвал, Кеннеди, и тот появился разъяренный. Построили всех замеченных в стоянии около забора, девять женщин.

От нас потребовали сказать имена мужчин, с которыми мы переговаривались. Конечно, мы отказались, зная, что это было бы непростительным преступлением против неписанного кодекса дружбы и солидарности заключенных в лагере.

Это был воскресный день, и в женский барак было приведено пять надзирателей. Всех женщин построили в два ряда для того, чтобы оне на примере учились, как наказываются виновные, в нарушении дисциплины. Нам, провинившимся, были

выданы маникюрные ножнички и указано на тонкую, жалкую травку, кое-где пробивавшуюся через каменистую почву двора.

— Резать под самый корень! — приказал мистер Кеннеди. — Брать только по одной травинке. Одиннадцать травинок связывать двенадцатой, как маленький снопик, складывать каждый снопик вот тут и, когда я дам команду прекратить, сдать мне отчет о «жатве». Присаживаться нельзя. На колени становиться нельзя. Всю работу производить, согнувшись!

Между двумя шпалерами мрачно молчавших женщин, одетых в серые крапивные штаны и голландские колотушки, в защитных рубахах, с лицами такого же серо-коричневого цвета, мы, девять, стали резать маникюрными ножницами тонкие травинки. Был полдень, и через полчаса мы должны были получить «воскресный обед» — суп из гороха с ниточками корн-бифа. Сам Кеннеди и сержант Зильбер издали наблюдали за нашей работой, а двое длинных, как жерди, парней из лондонских подонков строго следили за каждым нашим движением.

Прошло полчаса. Прошел час. Мужчины давно получили и с'ели свой обед. Октябрьское горное солнце припекало. Ныли спины. Дрожали ноги. Мы резали и считали. Считали и связывали. Связывали и складывали. Маленькая Бэби Лефлер немного присела. Грубый пинок солдатской ноги в мягкое место свалил ее на землю. В нас кипели ненависть, гнев, презрение. Молча продолжали резать и связывать, складывать и опять резать. Внезапно чей-то молодой голос в рядах женщин запел незнакомую песню. Песню подхватили другие голоса. Слова ее говорили о насилии, о запретах, о тюрьмах и о вере в то, что придет день, когда падут преграды, разобьются замки и запоры, и засияет свобода.

Позже я узнала, что это была песнь нацистов, сложенная в то время, когда нацизм был в Австрии под запретом. Может быть, в нормальной обстановке я бы поморщилась от нее,

но в тот день, в тот час она была смелой, революционной, полной презрения к тюремщикам и стремления к свободе.

Кеннеди не сразу разобрал слова, не сразу узнал мелодию, но, вслушавшись, он ринулся к женщинам, стал раздавать пинки, кричать, плевать в лица, сбивать с ног нас, все еще режущих соломинки...

— По комнатам! В барак! Без обеда! Без ужина! Без прогулки на всю неделю!.. — вопил он, толкая перед собой побледневшую от волнения фрау Йобст.

Наказание было прервано. Солдаты загнали нас в барак и заперли двери. Они забыли отнять от нас ножнички, и с того дня в женском бараке стали делать маникюр.



«ЛАГЕРЬ КОЛЛЕР».

«Лагерной холерой» называлась та болезнь, которой заболевали все, кто раньше, кто позже: и сильные и слабые, и молодые и старые, и одинокие и те, кого на свободе ждала семья. Болезнь выражалась в том, что человек на голодном пайке совсем терял аппетит. Он становился неразговорчивым, угрюмым, то апатичным, то раздражительным и обычно проводил дни и ночи в лежании и смотреии в одну точку.

У одних, устойчивых и крепких, лагерная холера проходила без всяких последствий для кого-либо, кроме самого больного. Она продолжалась более длинный или короткий период и в один, обычно неожиданно солнечный день, под влиянием тепла, света, чьей-то улыбки, чьей-то дружеской ласки — исчезала. Но был и второй, опасный тип заболевания.

Заболевшего этой болезнью сразу же замечал опытный глаз тюремщиков. Они знали, что теперь у них имеется шанс заставить «холерного» говорить, то-есть, что он созрел для допроса, на котором он сам «признается» во всех обвинениях и назовет других, целый ряд имен.

В помещение Эф-Эс-Эс вызывали на допрос почти ежедневно, поскольку капитан Кеннеди и его «борзые» были в лагере. Но они путешествовали. Благодаря «латрине» и приезжаю-

шим, мы узнали, что, кроме Вольфсберга, существуют еще два небольших вспомогательных лагеря. Вскоре один из них, Федерлаум, был ин корпоре переселен к нам. С этой партией прибыла и русская, Машенька И., бывшая военная служащая немецкого Вермахта, хохлушечка из-под Полтавы, подсоветская, однако, прекрасно говорившая по-немецки с акцентом, в котором ей могли позавидовать австрийки. Приезд этой веселой, симпатичной девушки внес в мою жизнь большую радость.

Редкие встречи с Г., разговоры через «колючую змею» не вносили смирения в мою мятушуюся душу. Я чувствовала, как надо мной нависает темное облако. Виной этому была полька, Иоганна Померанская. Она, отболев «лагерной холерой», определенно решила купить себе жизнь и свободу. Вначале она нам показывала свои фотографии, с автоматом через плечо, с двумя собаками-волкодавами, и рассказывала о своих строгостях в немецком кацете, где она, варшавянка, измывалась над своими же поляками. Затем, как бы спохватившись и перепугавшись, увидев на наших лицах отвращение к ее поступкам и подлости, Иоганна заболела. Лежа в постели, она проводила весь день молча, темными, пылающими каким-то внутренним огнем глазами следя за каждой из нас, как бы выбирая жертву.

Время убивалось игрой в «крестики и нолики», рассказами, анекдотами, и, ввиду того, что я прилично рисовала, вокруг меня собирались сосиделки и заказывали мне каррикатуры то на одну, то на другую из сожительниц. Раз я нарисовала каррикутуру на самое себя: в форме, с ружьем и ручными гранатами за поясом и страшными глазами. Каррикутуру я бросила на столе и только к вечеру заметила, что ее нет между другими рисунками.

На следующее утро Иоганна через «кипера» потребовала, чтобы ее отвели в бюро Эф-Эс-Эс. Подобные добровольные заявления всегда вызывали настороженность.

Через час за ней пришли, и полька вернулась в барак только к вечеру. Не только в нашей комнате, но и во всем бараке царила напряженная атмосфера. От Иоганны все сторонились, и никто не хотел с ней говорить.

В десять часов, когда мы все легли по кроватям, и после сигнала было потушено электричество, в темноте раздался задыхающийся от злобы голос Померанской:

— Сволочи!.. — вдруг прошипела она. — Белоручки! Сплошные невинные овечки! Видите ли, «случайно» сюда попали! Ни в чем не виновные жертвы! А я знаю, за что я здесь сижу. Знаю, за что и вы сидите! И насколько вы белее, настолько вы мне противнее...

Комната молчала. Из-за стенки, от соседей, долетал чей-то голос, рассказывающий сказки. Там жила австрийская детская поэтесса, писавшая в свое время книги для детей младшего и среднего возраста. Часто и мы, пользуясь тишиной, прислушивались к ее изумительно красивым рифмованным сказкам. Но на этот раз мы не слушали фрау Эберг-Мурау. Мы напряженно ожидали, что еще скажет захлебывающаяся от злобы на всех нас, на себя самое, испуганная на смерть, боящаяся своей тени Иоганна. В черной тьме вспыхивал красным огоньком конец ее папиросы. Английской папиросы, которую ей дали в Эф-Эс-Эс...

— Что этот Вольфсберг? Вы были в Бухенвальде? Вас не пугают картины гор человеческих живых трупов, которых везут заживо в печи крематория? Вы видели «морских свинок» на двух ногах, над которыми производилась вивисекция? Что этот голод, холод и тоска, по сравнению с тем, чего я насмотрелась? — продолжала Иоганна. — Я жить хотела. Я жить хочу! Там я поляков предавала, а тут я всех вас с наслаждением предаю. Всех, и немков и австриек, а прежде всего русских. Русских я ненавижу больше всего!

Темная комната молчала. Все лежали, затаив дыхание.

— Отчего вы молчите? — уже громко закричала Померанская. — Почему вы не набросите одеяло на мою голову и не задушите, не избьете меня до смерти? Если бы вы знали, что я о всех вас говорила! О всех. И об Аре!.. Ну? Вскикивайте! Торопитесь!... Я украла твою каррикутуру и на ней пририсовала и приписала такого, что и чертям жарко будет. Все про евреев... как будто ты писала!

Ни одного звука. Ни вздоха. Ни движения...

Так в полной напряженной тишине прошла эта ночь. На следующее утро Иоганна Померанская заявила фрау Йобст, что она больна и просит ее перевести в госпиталь. К полудню пришел английский доктор в сопровождении немецкого врача — заключенного и, переговорив с Померанской за закрытыми дверями комнаты нашей «старшей», увел ее в лазарет.

Иоганны с нами больше не было, но какое-то чувство гадливости, липкого отвращения и невольного страха осталось в душе.

О случае с Померанской говорили во всем бараке. Произошло совещание — что делать? Если она покупала свою жизнь и надежду на свободу, продавая нас — поверили ли ей? Неужели же между правдой и ложью не будет разницы?.

Через два дня за одной из девушек нашей комнаты, работавшей санитаркой в лазарете для заключенных, пришли «киперы» и отвели ее в Эф-Эс-Эс. До вечера мы ее не видели. Ее не привели и ночью. Наш барак не спал. Забывались на момент и затем в тревоге прислушивались. Казалось, что через забор, от здания Эф-Эс-Эс, долетают стоны, то нам слышались шаги «киперов», звон цепей ворот и скрип замков... Рано утром, «фрасстрегеры» сообщили, что маленькую Анне-Луизе Приммл вечером, в темноте, отвели в «бункер», в каталажку, а часов около шести утра опять доставили в Эф-Эс-Эс.

Это был первый случай, чтобы женщину садили в «бункер», этот небольшой домик за семью замками и рядами колючей проволоки, за которым особенно наблюдали с сторожевых вышек.

Английские солдаты выглядели как-то странно настороженными и смущенными. Рыженький «моська» сержант-майор несколько раз заходил в наш барак, заглядывал в каждую комнату и, строя таинственное лицо, бросал: — Дон'т ворри! Ит вилл би «О. К.». Аллес гут!

К полудню, стоявшие около внешней ограды девушки вдруг загорланили. Сержант-майор появился из здания Эф-Эс-Эс, и с ним шла торжествующая, с пылающим гордостью и радостью личиком, маленькая фройлейн Приммл. «Моська» довел ее до наших ворот, впустил, и, расшаркавшись, как галантный кавалер, отдал честь и крикнул вдогонку: «Гуд герл!».

Вскоре, собравшись в коридоре, мы все услышали из уст маленькой героини ее историю.

Фамилия Приммл, как нельзя, больше подходила к этой, на наш взгляд похожей на девушку из Малороссии, смуглой, румяной малютке. Приммл — примула, первоцвет. Спокойно, не делая из этого никакой сенсации, она рассказала нам, что ее вызвали на допрос, очевидно, судя по всем данным, по доносу Померанской. Обвинялась она в том, что, в первые дни после окончания войны, она, как сельская учительница, одновременно была и осталась старшиной германских девушек. Вся деятельность Приммл проходила в кругу школьных детей и опекаания раненых, приезжавших на отдых домой. Жили они высоко в горах, в небольшом селе, и с внешним миром общались редко.

По окончании войны, в дни выдач из Лиенца и окрестностей Сирница, в эту деревушку забрели до смерти напуганные власовцы. Для Приммл они были людьми в немецких формах,

значит, своими, своими в опасности. Группу человек в пятнадцать, среди которых были два глубоких старика-казака и одна старушка с внучком, наша маленькая героическая девушка развела по удаленным хуторам, где ее слово было закон, а имя — гарантией правильных поступков.

Арест Приммл прервал, конечно, ее связь с селом. Однажды, очевидно, желая сделать мне что-то приятное, она рассказала об этих власовцах. В комнате сидела и Иоганна. Кто тогда мог думать, что она все время планировала свое предательство и собирала о нас сведения! Через несколько дней доставили в лагерь новую группу арестантов, и среди них был дядя Приммл. После первой же встречи с ним у «змеи», Приммл рассказала мне, что все власовцы живы, работают у «бауров» и выжидают момента, когда им можно будет безопасно спуститься в долину и попасть в лагерь для Ди-Пи.

Из всего этого Померанская сделала в своем доносе совсем другую историю. Она доложила, что Приммл скрывает эс-эсовцев, так называемый «вервульф», т. е. людей, которые еще не сложили оружия и собираются совершать акты саботажа против оккупационных войск. Она указала, что только Приммл знает, где они «с оружием и аммуницией» скрываются.

Приммл вызвали на допрос. Чего проще было сказать, что это были не эс-эсовцы, а власовцы, бежавшие от выдачи в Лиенце? Но эта маленькая австрийка молчала. На все требования отвечала лишь: — Я ничего не знаю!

Допрашивали ее об ее прошлой деятельности, о коллегах, о том и сем, но в каждом, казалось бы, наивном вопросе лежала опасность ареста любого названного ею лица. Допрос производил весь «тим» Кеннеди. Уставая, он передавал ее Зильберу, Зильбер — Брауну, Браун — Вейсу. Ни есть ни пить ей не давали, и к ночи, озверев от ее упорства, сам Кеннеди, вызвав сержант-майора «Моську», в его присутствии сказал: — Гут,

фройлейн Приммл. Вы не хотите говорить? Олл райт! Я даю вам время — одну ночь в «бункере» на размышление. Если вы откажетесь и завтра назвать имена и места, о которых я вас спрашиваю — я вас отдам взводу «баффс» (солдаты полка Бизонов), и, когда вы пройдете через 23 пары рук, вы запоете иначе!

«Моська» вел Приммл в бункер, низко опустив голову. Перед самым входом, прежде чем передать ее сержанту, надзирателю тюрьмы, он внезапно сказал: — Не бойся, герл! Мы — солдаты. Мы не Эф-Эс-Эс. Держи язык за зубами. Даже если тебя оставят с нашими солдатами, поверь моему слову — с тебя волосок не упадет. Мы умеем ценить стойкость, верность и честность!

О чем думала Приммл в эту ночь, верила ли она словам сержант-майора, сказать трудно, но в угрозу Кеннеди она верила вполне. Утром тот же «Моська» отвел ее к следователям. Ее посадили в комнату, в которой с мрачным видом сидели двадцать три солдата. Все молчали. Солдаты нервно курили, смотрели друг на друга, в окно, на потолок, избегая встретиться взглядом с побледневшей девушкой. Это сидение продолжалось до полудня, когда, наконец, ее потребовал к себе мистер Кеннеди.

— Ну? — заревел он с места в карьер. — Будешь ты говорить, ты, «наци-швейн»?

— Мне нечего вам сказать. Я ничего не знаю и ничего не видела!

Капитан разразился потоком площадной брани, новыми угрозами. Бил кулаком по столу, подносил его к самому носу Приммл, но, по своему обычаю, вдруг осел, встретившись с непоколебимой волей, и, вызвав «Моську», приказал ему вернуть девушку в наш барак.

Ведя ее к нам, маленький сержант-майор торжествующе спросил на ломаном немецком: — Хаб ик дик заген? Инглиш

солдджер никс макен! Солдджер ис гуд! (Говорил я тебе, что английские солдаты тебя не тронут. Солдаты хорошие!).

Вечером, запирая нас на ночь, наш суровый «кипер», сержант Кин из пригорода Лондона, вынул из-под дождевой накидки коробку, в которой лежали пачки папирос Кэпстэн, конфеты, мыло, пара новых солдатских носков, белые нитки, иголки и кулечек с сахаром. Он передал эти подарки фрау Йобст и смущенно промычал:

— Это от двадцати трех солдат... храброй девушке!

Как отрадно было у нас на душе! Какое-то необычное спокойствие воцарилось хоть на одну ночь в сердцах. Нет! Не все люди — звери. Охраняющие нас солдаты просто выполняют свой долг, выполняют приказания. Может быть, они видят в общей серой массе заключенных кригсфербрехеров, но, встречаясь с «человеком», они сами становятся человечными.

История моего допроса, в связи с Иоганной Померанской, не была ни интересной ни романтической. За мной тоже пришел «Моська» и отвел меня к сержанту Зильберу. Желая быть беспристрастной, должна отдать справедливость, что он имел полное право ненавидеть нацистов. Как нам рассказывали его земляки по Грацу, вся семья Зильбер была уничтожена в лагере Маутхаузен. Это был нервный, щупленький субъект с громадными темными глазами. На его письменном столе стояла рамка, в которой на черном бархаге была прикреплена желтая тряпка с шестиконечной звездой, повязка, которую на рукаве носили евреи — его собственная повязка, которую он сорвал, когда ему, тогда еще мальчику лет шестнадцати, удалось бежать в лес, а оттуда в Италию и дальше, но которую он не бросил.

Зильбер не предложил мне сесть на стул рядом с его столом, а только молча протянул мною нарисованную каррикатуру, украденную Иоганной.

— Это вы рисовали?

Я, просто не веря своим глазам, смотрела на то, что Померанская сделала с моим рисунком. На заднем плане бушевал пожар, горели дома, у стены валялись очень примитивно нарисованные трупы. На «небе» этого рисунка была написана фраза: «Смерть англичанам и евреям»...

— Я рисовала только эту фигуру, каррикутуру на самое себя, но остальное дорисовано, и притом человеком, который не умеет рисовать.

— Вы написали эту надпись?

Тон был ровный, какой-то монотонный и холодный. У меня в голове мелькнула мысль — что скрывается за неподвижной маской на лице сержанта?

— Нет! Она написана, очевидно, тем же, кто дорисовывал фон, пожар и трупы.

— Садитесь и напишите быстро, не раздумывая, эту же фразу.

— Я эту фразу писать не буду!

— Почему? Разве вы ей не сочувствуете?

— Я ей не сочувствую, и, кроме того, она, написанная моей рукой, может быть впоследствии употреблена против меня.

— Остроумно. Тогда напишите любую фразу, которая придет вам в голову.

Я присела и на клочке бумаги написала: «Югославия, Белград, 18 мая».

— Что это значит?

— Это дата, когда западные аэропланы бомбами уничтожили 27.000 жизней нашего города.

— Хм...

Зильбер долго сравнивал почерк на каррикатуре и то, что написала я. Не поднимая головы, он протянул руку к рамке со звездой и подвинул ее ко мне поближе. Так же не глядя, он задал вопрос:

— Вы принадлежали к партии национал-социалистов?

— Никогда и ни к какой партии я не принадлежала. Кроме того, я не немка.

— Вы носили немецкую форму?

— Я ее ношу и сейчас.

— Почему?

— Раньше потому, что я пошла бы хоть с чортом, но против коммунизма. Теперь потому, что не считаю достойным сбросить ее в беде.

— Вы любили генерала Дразу Михайловича?

— Не понимаю вашего вопроса.

— Ну... вы принадлежите к его последователям?

— Да!

— Нарисуйте на этой же бумаге, быстро, не задумываясь, забор, дома, пожар и тела людей.

Я нарисовала.

Опять сравнение, рассматривание. Наконец, сержант Зильбер встал и нажал на кнопку звонка. Вошел «мосыка».

— Отведи ее обратно! — И, повернувшись ко мне, добавил: — Как видите, мы стараемся быть справедливыми. Я убедился, что не вы рисовали эти глупости и писали гнусную фразу. Можете идти!

На этот раз это было все, но мне пришлось еще встретиться с Зильбером и отвечать на его вопросы.



Приближалось Рождество. Вялые, исхудавшие, вечно мерзнувшие, мы мало думали о праздниках. Горох в нашем обиходе сменило нечто ещё худшее — гнилая вонючая кислая капуста, отваренная в воде, без всякой заправки. Начались заболевания. Женский барак был молчаливым, сумрачным. Так же выглядели и мужчины. Большинство из них, одни — желая сберечь свои костюмы или формы, другие потому, что у них не было ничего

теплого, были одеты в голубые шинели бывших французских военнопленных, когда-то живших в этом же лагере, или в ярко, изумрудно зеленые, с желтыми буквами «С. С. С. Р.» на спине, шинели, в которые были одеты русские военнопленные.

Худые, с бледно-зелеными лицами, они казались тенями. Исхудал и мой майор Г. Г. Мы виделись редко. Выходили не на каждую встречу около «змеи». Нам так много хотелось сказать, но в этой обстановке мы молчали. От него я узнала, что в «373» находились украинцы из Галиции, хорваты частей Домобрана и усташи, много словенцев, четников генерала Прежеля, домобранцев генерала Рупника и тех, кто служил в особых охотничьих (егери) частях немцев по разведке и погоне за красными партизанами.

Однажды к нам в барак прислали мужчин-заключенных, поправить канализацию. Один из них, проходя, заглянул в нашу комнату и бросил на пол записочку. Она была адресована мне. В ней меня просили выйти на следующую встречу с блоком «Е», т. к. меня хочет видеть некто, кто меня знает по Белграду и Пожаревцу.

Я вышла с другими женщинами и довольно растерянно смотрела на сотни лиц у «колючего барьера». Кто-то меня окликнул. Незнакомое лицо, но полное доброжелательности. Улыбка. Веселые глаза. Подошла к «змее».

— Вы меня не знаете. Я Хуберт М., поручик военной контр-разведки. Мне было предписано одно время следить за вами, за вашим домом, за людьми, которые к вам приходили в Белграде. Когда вы уезжали по делам в Пожаревац или в Сеньский Рудник, я следовал за вами в одежде сербского мужика. Здесь и мой шеф, капитан Бауэр. Мы оба вас сразу же узнали и решили: когда вам будет плохо, положитесь на нас. Мы можем засвидетельствовать, что вы были курьером у четников и с немцами не коллаборировали...

— Спасибо! — растерявшись, как-то неловко поблагодарила я. — А как же вы?

— О, о нас все знают. Мы — АСТ (Абверштелле — военная контр-разведка). Это долг каждого офицера служить своей родине. Мы — не партийцы...

— Мы симпатизировали «дражевцам». Мы даже им помогали. Мы желали сохранить национальные сербские силы и давали необходимые сведения о передвижении красных частей воеводам (командиры этнических частей) Калабичу, Пилетичу, Палошевичу, Чатичу и другим...

Так я узнала, что у меня и вне женского барака есть в Вольфсберге друзья.

За четыре недели до Рождества католички и протестантки немного зашевелились. По их обычаю, в каждую субботу, четыре раза перед Рождеством, по вечерам они собирались по комнатам и у зажженной одной, затем двух, трех и, наконец, четырех свечей читали молитвы и рассказывали старинные германские христианские легенды. Это — так называемые Адвент-абенд. Меня втянули в свою компанию девушки из «упрямой» комнаты. Они рассказывали мне о королеве Гудрун и других персонажах легенд, а я должна была им говорить о русских и сербских рождественских обычаях. Это так понравилось, что меня стали приглашать по всем комнатам, где я должна была, Бог знает, в который раз повторять рассказанное. Одновременно проснулся дух желания кому-то, хоть одной из соседниц, доставить радость, подарить что-нибудь к праздникам. Закипела работа.

Наравне с английским квартирмейстером мы имели и своего, дантиста-доктора из Вены, симпатичного, румяного, седоволосого старичка, д-ра Брушек. Он нам напоминал гнома. В забавной вязаной шапочке на серебряной голове, хорошенький и голубоглазый, в короткой пелеринке из голубого французско-

го сукна, он был единственным мужчиной, которому разрешалось хоть изредка навещать женский барак. Он ходил без сопровождения англичан по всему лагерю, выдавал одеяла, одежду, следил за работами в мастерских, на конюшне, в кухне. Его стараниями и заботами наш лазарет стал становиться настоящим госпиталем. Среди арестованных находили врачей, а были и некоторые с мировыми именами в области хирургии и внутренних болезней.

Этот маленький гномик притащил к нам в барак старые шинели, брюки, красивые французские офицерские кэпи с красным дном, золотыми шнурами и лакированным козырьком. Откуда-то достал разных ниток, иглы, даже наперстки. У некоторых женщин были с собой простыни. Все это резалось, кроилось, шилось, вышивалось красными нитками. Делали обложки для молитвенников, футляры для гробов, маленькие туфельки для часов и много других мелких предметов, которыми в особенности изобилуют немецкие дома.

Я когда-то посещала школу прикладных искусств в Белграде. Вспомнилось выделывание игрушек. Мне в голову не приходило, что это знание сыграет такую громадную роль в моей жизни, в жизни Вольфсберга и его инвалидов. Среди тряпок, которые принес д-р Брушек, я нашла остатки серых сербских шинелей. Распоров машинную строчку и получив целый моток ниток, я, по памяти, из бумаги сделала выкройку слоника и сшила несколько штук. Затем, из зеленой шинели советских пленных — лягушку, из голубой французской — кошек. Ко мне присоединились желающие поучиться и работать. Вскоре в моей комнате за длинным столом сидел целый ряд девушек. Каждая делала для кого-то подарок. Не только для нашего барака, но и для мужчин, среди которых они имели друзей, родственников, женихов и мужей. Нам обещали в первый день Рождества разрешить обмен подарками.

Набивали мы этих тряпичных зверушек бумажной ватой, которая выдавалась нам из лазарета. Маленький зоологический сад рос. Наконец, кто-то спросил меня, не умею ли я делать куклы. Да, но где взять материал? Принесли мне белье из трико розового цвета. Сберегая каждый кусочек, делая из него только лица и руки, я сделала первую куклу. Для ее одежды тоже у кого-то нашелся шелковый платок, у другой — старая бархатная куртка. Так, к Рождеству у меня «родилось» целое семейство: Снегурочка, принц и семь карликов, которым я старалась придать облик и сходство с карликами Волта Дизней. Куклы были по полтора фута ростом. Карлики — соответственно меньше. На их бороды пошел белый беличий мех из рукавов моей военной меховой куртки.

Д-р Брушек был в восторге. Он привел с собой английского квартирмейстера, рыжего, вечно подвыпившего капитана, который сейчас же забрал кукол себе, погрузив наш блок в отчаяние. Но вечером, за два дня до Рождества, этот же рыжий капитан пришел к нам в барак и принес огромную коробку, в которой лежали колбасные консервы, фунта три сахара, чай, немного конфет и... 500 папирос.

С точностью аптекарей, все эти блага были поделены между 177 женщинами, сколько нас в это время было. Немного, очень немного, но хоть чем-то был отмечен праздник.



Давно уже наш лагерь и все окрестности были завяены снегом. Зима наступила рано и была, как на зло, очень холодная. В канун Сочельника наши лесорубы вернулись не только с вязками дров на плечах, но и с маленькими, запорошенными снегом, елочками. В виде исключения, им было разрешено передать две елки в наш блок и перед воротами сбросить несколько охапок дров, в виде добавки к тем, которые мы получали официально.

В самый сочельник, маленький гном — Брушек сообщил фрау Йобст, что комендант и квартирмейстер решили, пользуясь отсутствием Кеннеди, сделать нам поблажку. Мы можем выйти вечером, к 9 часам, из барака и сгруппироваться перед внешним забором. Выйдут все мужчины по своим блокам, и мы можем петь рождественские песни. Хоралы были разделены между мужчинами и женщинами. Мы должны были начать трогательной немецкой песнью о Богородице и Св. Младенце в пещере и о Вифлеемской звезде. Напротив рабочий блок получил «Тихую ночь», затем блок, в котором помещался майор Г. Г., отвечал хоралом о волхвах, и так далее.

Этот сочельник остался в моей памяти незабываемым. Мы тщательно прибрали свои комнаты, затопили печи, по койкам разложили подарки. Не было ни одной, которая не имела бы маленького пакетика. Елки были поставлены в двух концах коридора, являясь как бы собственностью каждой из нас. Австрийки, которые имели с собой некоторый багаж, сбросили казенную одежду и оделись в «дирндл» платья своего края, розовые с голубым и синими передниками, голубые с коричневыми юбками и черными передниками и т. д. Мы, военнослужащие, привели в порядок формы, начистили сапоги или ботинки. Матери, имевшие дома детей (у двух было по семь человек, rozdанных в разные дома, потому что в Вольфсберге сидели и их мужья), жены и матери арестованных сидели грустные и молчаливые. В моей комнате, лежа плашмя на досках, тихо плакала маленькая Бэби Лефлер, шестнадцатилетняя девочка, арестованная по обвинению в участии в... военном восстании против оккупационных войск. На верхней койке в голос причитала итальяночка, Гизелла Пуцци, громко, то по-итальянски, то по-немецки зывая к матери: «Мамми, заberi твоего ребенка домой!».

Эта прехорошенькая девочка прибыла к нам в Вольфсберг одетая по последней итальянской моде, подмазанная, за-

витая, как голубоглазая золотоволосая кукла. Теперь, исхудавшая до степени скелетика, она напоминала сломанную марионетку. За что она сидела? На наши первые вопросы она, заикаясь, но во всеуслышание об'явила: — Я ш-ш-шпионка!

Оказалось, что ее завербовал, почти перед самым концом войны, АСТ, о котором уже упоминалось, как радио-телеграфистку, и обучал ее этому искусству. Пуцци, зная, что она будет служить в контр-разведке, приписала себе сразу все качества и особенности Мата Хари. Благодаря глупости и болтливости, а также любезным соседям, которым она, делая таинственные глаза, рассказала, где она провела последние три месяца перед капитуляцией, — она была арестована и попала к нам. Тоже один из примеров «кригсфербрехерства» и силы доносов:



Ночь была ясной и морозной. Небо испещрено звездами, которые казались необычно яркими и большими. К девяти часам к нам по блокам пришли «киперы» и вывели к заборам. Мы видели только два встречных мужских блока «В» и «С».

Здание Эф-Эс-Эс не отбрасывало бликов света на сугробы снега. Посередине аллеи, где когда-то была клумба, с винтовками в руках, на всякий случай, стояло человек двадцать солдат. Со всех вышек, беспокойно, как бы ощупывая, блуждали лучи громадных рефлекторов.

Наступила странная тишина. Казалось, что все три тысячи людей перестали дышать. Стоя перед самыми воротами, фрау Йобст высоко подняла елку, на которой зажгла последние три свечи, которые мы имели после вечеров Адвента. Во всех блоках, как по сигналу, тоже поднялись елки с зажженными свечами. Женщины начали петь...

Я не знала этой песни, но звуки и слова пронизывали мое сердце нестерпимой болью. Я не могла оторвать взгляд от трех

малюсеньких огоньков нашей елки, которые хотел задуть легкий, но упорный ветер.

Англичане - солдаты, как по команде, вдруг стали смирно, бросив папирсы и затушив их в снегу. Кончилось наше пение, и запел блок напротив. Следующий. Следующий. Уходя вдаль, все глуше и тем таинственнее, мистичнее и торжественнее звучало пение незнакомых мне, православной, хоралов и молитв. Тихо, закрыв лицо руками, плакали все мои соседницы. То вспыхивая, то почти совсем исчезая, горели огоньки свечей. Отзвучал и последний, восьмой хорал...

Все стояли молча, не расходясь. Как зачарованные, стояли и англичане, пока не вошел в лагерь какой-то офицер и не дал команду: — Разойтись!

Я не знала, что почти у всех нас была одна и та же мысль, странное суеверие: мы все следили за огоньками свечей, загадывая, что, если они не потухнут — мы живыми выйдем на свободу. Когда фрау Йобст торжественно внесла елку в коридор, и на ней весело и ярко вспыхнули язычки пламени огарков, каждая из нас облегченно вздохнула.

Увы! Не всем было суждено убедиться в правдивости этого суеверного гадания...



Утром, в первый день Рождества, блоки обходили англичане с корзинами, в сопровождении д-ра Брушек, и разносили передачи — подарки. Мы получили от мужчин самые неожиданные изделия из ручек зубных щеток, колючей проволоки, консервных банок. Все делалось при помощи вилок, наостренных на камне ложек, гвоздей, пилочек для ногтей. От майора я получила брошечку, которую храню и сегодня — венчик из колючей проволоки на фоне малюсенького значка РОА. От Хуберта М. и капитана Бауэра — мундштук, о котором я уже писала.

МИРАЖ СВОБОДЫ.

...Как ясно вспоминается январский день, который мне тогда показался самым прекрасным днем моей жизни...

Туманно-морозное утро. Обычная рутина с пробуждением, ленивым вставанием, построением в ледяном коридоре. Считанье и пересчитывание. Не все наши киперы отличались математическими способностями и часто путались в счете. Затем — возвращение по комнатам и снова, до уборки и контроля, закапывание в постельное тряпье в поисках какого-то тепла.

От безделья мы делились снами; каждый день кому-нибудь снилось что-то необычное. Гадали на все. Писали на клочке бумажки «да» и затем, не считая, нолики, под ними «нет» и тоже нолики. Потом выдумывали какое-нибудь число и, начиная с «да», шли вперед, перечеркивая, скажем, каждый седьмой, пятый, десятый знак. После нескольких «экскурсий» загаданное число падало на «да» или «нет», и это, конечно, означало свободу или дальнейшее сидение.

Однажды ночью мне приснился сон, что в погоне за чем-то невидимым, но необходимо нужным, я поймала кота, мурлыкающего, ласкового серого кота, и он, ласкаясь ко мне, одновременно вонзал свои когти в мою руку.

Проснулась я, лежа на правой руке, по которой бегали мурашки. Однако, свой сон я рассказала, и его подвергли рас-

смотрению со всех сторон. Погоня за неизвестным, решили «авторитеты» — это погоня за свободой, неизвестно когда возможной. Кот — некий враг, который одновременно способен и на что-то доброе, но его надо остерегаться. Все это должно произойти очень быстро, потому что... сон под пятницу исполняется на следующее утро.

В это утро была моя очередь с двумя другими убирать нашу комнату. Вооружившись грубо сделанными метлами, мы заметали побрызганный пол, вытирали пыль и гонялись за большим черным пауком в углу, которого по утрам, руководясь суеверием, не хотели видеть, встречали терпеливо в полдень и искали глазами по вечерам. Этого паука, единственное, по всей вероятности, живое создание, добровольно живущее в Вольфсберге, у нас иной раз крали соседки. Появились клопы, и нас уверяли, что паук их ест!

Мы ожидали инспекцию, когда кто-то громко трижды стукнул в наши двери, и мужской голос назвал мое имя. Я вышла. В коридоре стояли кипер, наша фрау Йобст и высокий, красивый английский капитан в черном берете.

Фрау Йобст сообщила мне, что капитан желает говорить со мной, и провела нас в свою комнату, оставив наедине.

Оказалось, что он тоже офицер ФСС, но Клагенфуртского отделения. Он вел себя, как джентльмен, разговаривал со мной вежливо, называл меня «гнэдиге фрау», т. е. милостивая государыня. Целью его приезда были разные дела в Вольфсберге, но одновременно он считал своим долгом сообщить мне и майору Г. Г., что следствие по нашим «винам» закончено, и что мы освобождены от всяких обвинений, которые оказались абсурдными и ложными. Он рассказал мне, что, почти одновременно с отправлением нас в Вольфсберг, в Тигринге был арестован доктор К. и его соучастница, брюнетка. Оба они попали под суд и получили наказание, от 6 до 12 месяцев тюрем-

ного заключения, за ложный донос, укрывательство продуктов, кражу казенного имущества и другие проделки, подлоги и спекуляции.

Как ни было отратно все это слышать, но я не удовлетворилась этим, и первым моим логическим вопросом было: — А когда же на свободу?

— Уэлл... — протянул капитан. — Это не зависит от нас. Мы арестовываем и ведем следствие. Отпускать вас будут другие люди.

— Но когда же?

— Своевременно или... несколько позже. Когда вы пройдете через, как бы сказать... все фазы. Фактически еще не создан законный орган, который будет уполномочен распоряжаться вашими судьбами. В общем же, вы здесь находитесь в большей безопасности, чем люди на свободе.

При первой же встрече с майором Г. Г., мы поделились этой новостью. Он был настроен очень скептически. — Ну, что ж! — сказал задумчиво. — Поживем — увидим!

Мы действительно довольно долго прожили, чтобы увидеть конец Вольфсберга.



ГАЙКИ ЗАТЯГИВАЮТСЯ.

Легкое послабление дисциплины в течение недели во-круг Рождества было заменено сильным нажимом после нового 1946 года. Творилось что-то странное. Мужчин переводили из блока в блок, как бы сортируя. Прибыл большой транспорт с тяжелыми инвалидами, среди которых был один голландец, совсем слепой, с лицом, засыпанным синими точками от взрыва; безногий, как обрубок, юноша эс-эсовец; безрукие; одноногие, с изуродованными лицами, глухие и от контузий немые. Более тяжелых определили в лазарет, в котором питание было немного лучше, а уход наших врачей и сестер был внимательным и сочувствующим.

Женский блок тоже разрастался. Привезли целую группу из венской тюрьмы, из Граца, из Брука на Муре. Градчанки и женщины из Брука были поголовно крестьянками, по глупости, из тщеславия или по принуждению ставшими в свое время членами партии национал-социалистов. Оне ничего не понимали, плакали, жаловались на свою судьбу, болели душой за своих детей, за имение, за землю, которую нужно было обрабатывать, скот, за которым нужно было ухаживать.

Барак стал тесен. В комнаты вносили трех'ярусные «бункера». Наконец, в конце января, когда спанье на голых досках стало буквально невыносимым, и не только женщины, но и

мужчины проводили ночи напролет, сидя одетыми, хлопая себя руками, чтобы согреться — сначала женский блок, а затем последовательно и мужские, стали получать соломенные мешки-подстилки.

Кеннеди вернулся с подкреплением: привез с собой еще несколько сержантов с «цветными» именами. Теперь у нас уже были и Гельб, и Блау, и Гольд, на помощь зильберам, вейсам и браунам. Вызовы на допрос участились. В их «офисе» рук не хватало, и из рядов заключенных отобрали несколько девушек и мужчин, знавших английский язык, и, под страшной присягой не разглашать тайн, определили к себе на работу.

Приблизительно в это время из лазарета внезапно забрали Иоганну Померанскую и еще трех женщин, державшихся всегда в стороне и ни с кем не друживших. Их увезли. Нам сказали, что оне выпущены на свободу. Почему, и правда ли это — мы так и не узнали. Никогда больше я ничего не слыхала об Иоганне.

Допрашиваемые возвращались усталыми и молчаливыми. Обычно забирались на свои койки и отказывались рассказывать о допросе.

Пища становилась тоже невыносимой. Гнилая капуста отравляла воздух, как только ее вносили в котлах в коридор. За «апштаубером» никто не приходил, и эту еду мы называли «канализацией», т. к. ее просто сливали в уборные. Англичанам все время подавали прошения о разрешении привоза посылок из дома, хотя бы раз в месяц, хотя бы самых маленьких. Полковник, комендант, передавал эти бумаги Кеннеди, а у него оне летели в корзину. Иной раз он заходил в бараки и кричал, что поблажек «кригсфербрехерам» быть не может, что на него смотрит весь мир, требующий отщепенца и примерного наказания,

что свиньям — свинячья смерть, и что, по сравнению с Бельзеном, Дахау, Ораниенбургом, Маутхаузенем и остальными лагерями смерти — мы, как сыр в масле, катаемся...



КРИГСФЕРБРЕХЕРЫ?

И там, в лагере Вольфсберг — 373, и потом, на протяжении всех лет жизни на свободе, я часто думала о том, какой процент «кригсфербрехеров» сидел за колючей проволокой?

Судя по дальнейшим событиям, становилось ясно, что Вольфсберг был лагерем-предохранителем, рассчитанным на 5000 человек, и, по закону отщепенца и удовлетворения какого-то общественного мнения, он должен был быть полон. Кем — не все ли равно? Конечно, в Вольфсберге сидели гестаписты. Там я встретилась с одним, который меня арестовал в Белграде и препроводил на допрос, а затем на Банницу в тюрьму (из которой я вышла чудом и заступничеством покойного Дмитрия Льотича через 40 дней). В Вольфсберге сидели чины «С. Д.» (органы общественной безопасности), которые и арестовывали, и били, и убивали, также и эс-эсовцы, участвовавшие в карательных отрядах, надзиратели концентрационных лагерей, командиры полков формации эс-эс. Были в нашей среде и мелкие наушники, доносчики, служившие за «доброе утро» добровольными информаторами Гестапо. Они были и в мужских блоках и в нашем, женском. Но, в общем, в Вольфсберг не попало ни одной крупной рыбы. Они или уже были в Германии, и их подготавливали к процессу, или сидели в тюрьмах. Вольфсберг ком-

плектовали из рядов обычных, бледных и неинтересных партийцев, солдат и офицеров, которые попадались где-нибудь на дорогах или в лесах, пробираясь домой, или из иностранцев, которым не находили другого применения.

Достаточно, как пример, привести хотя бы то, что в Вольфсберге сидело 14 мужчин с фамилией Юберрейтор. Юберрейтор № 1, которого искали по всей Австрии и Германии, был свирепым «гаулейтером», и на его совести лежали тысячи жизней. Его не было. Он исчез. Может быть, как и Глобочнигг, он покончил жизнь самоубийством. Арестовали всех, кто носил эту фамилию, от четырнадцатилетнего мальчика до 79-летнего деда, просто однофамильцев, даже не земляков, не родственников, а тех Юберрейторов, которые сами в свое время дрожали при упоминании о «гаулейтере». В Вольфсберге сидело четыре Павелича, сербы, ничего общего не имевшие с Анте Павеличем, хорватом, моральным убийцей короля Александра и коллаборантом немцев.

В Вольфсберге сидел учитель Адольфа Гитлера, восьмидесятилетний старец с трясущейся головой на тонкой, как у цыпленка, шее, с выцветшими, детскими глазами, который не видел своего незадачливого ученика со скамьи народной школы. За что сидел слепой Ханзи, голландец? За то, что он ослеп, исполняя, как солдат, свой долг, взрывая бункер, в котором закрепили английские солдаты во время высадки под Дюнкерком. Это должен был сделать каждый солдат, получивший задание от своего командира. За что сидел Карл К., двадцатилетний юноша — обрубок? За то, что он потерял свои ноги, взрывая мост, через который должны были пройти вражеские части. За что сидели многие, многие крестьянки из Мура, Гретл Мак, мобилизованная и служившая машинисткой в немецкой гражданской части в Чехословакии, или Анни Кулике, взявшая первый приз на Олимпиаде, но вдова немецкого эс-эсовского полковника?

За что сидело 90 процентов вольфсберговцев, узнали мы позже, когда наступила политическая оттепель, и из лагеря стали выпускать целыми партиями на волю. Но ужаса выдач, расправ, побоев никто из них не забыл и не забудет, как невинные жертвы нацизма не забывают немецких жестокостей.

Тогда мы, не наци, не партийцы, иностранцы, да и сами немцы и австрийцы поражались, зачем было Западу, культурным странам уподобляться Гитлеру и его сатрапам и на первых же шагах после войны допустить до Вольфсбергов и Дахау, в которых на смену немецким зверствам пришли зверства другие.

Кстати сказать, одновременно с нами в другой зоне Австрии, в американской, существовал еще один лагерь для «денацификации», Глазенбах, в котором было 10.000 человек, но американцы были крайне гуманны, распорядительны, быстро разбирались в делах этой громадной массы людей. Там не было избиений, там была общественная жизнь, клубы, сеансы кинематографа, театры; чуть ли не с первого дня, свободное движение мужчин и женщин по лагерю, карточки, заменявшие деньги для уплаты за папиросы и пищевые продукты в кантинах, и пр. и пр. Но там не было и капитана Чарлза Кеннеди, что нам, вольфсберговцам, все об'ясняло. Мы знаем, что может сделать один единственный, ослепленный ненавистью, жадой отмщения и жадой наживы человек.

Январь 1946 года был для нас во всех отношениях суровым месяцем. Первым потрясением была смерть ожидавшей ребенка вдовы летчика. Ей сделалось нехорошо ночью. Как мы и старались вызвать нашего кипера, крича по одиночке и целым хором, вызывая к сторожевым на ближайших вышках, в то время, как несчастная женщина извивалась в болях, до зари никто к нам не пришел.

Только часов около шести появился сержант Кин, справиться, почему такое безобразие творится в женском блоке, и, узнав причину, вызвал врачей. Шарлотта уже посинела. Мы помогали ей, как могли, советами, бутылками с горячей водой, обкладывая ими ее корчащееся тело. Пришедшие доктора-заключенные принесли с собой носилки для переноски ее в лазарет, но, осмотрев поверхностно больную, потребовали вызова автомобиля и отправки в городской госпиталь. Шарлотте сделали какое-то впрыскивание, и она затихла.

Волокита продолжалась до полудня. Больную окружали наши врачи. В присутствии англичан, которые не отходили от носилок, они делали все, что могли. Наконец, часов около 11-ти приехал «всесильный» Кеннеди и вызвал амбулаторный автомобиль. Ему доложили, что у Шарлотты произошли не только преждевременные роды, но и еще какие-то тяжелые осложнения. Ее в бессознательном состоянии внесли в автомобиль. По дороге в госпиталь, она скончалась. Если бы ей была оказана помощь ночью, жизнь была бы спасена, хотя бы ее жизнь.

Мне кажется, что я вижу перед собой сейчас это бледное, тоненькое создание с ненормально большим животом, прозрачными руками и пальчиками-паутинками, вижу, как она старательно шила своему будущему сыну или дочери — последнему, что у нее осталось от мужа, — какие-то туфельки, кофточки, одеяльца из лоскутков французских шинелей, сербских солдатских кителей и гвардейских фуражек. Под моим наблюдением она сделала ряд игрушек. Ее бедные вещички были сданы в Эф-Эс-Эс — чемоданчик с носильным, все эти реликвии и портрет красивого летчика с черной повязкой на левом глазу. Померанка, она не имела в Австрии ни родственников ни близких знакомых и часто нам говорила, что мы — ее семья.

Вскоре наступили, но уже нормальные, роды фрау Глобчницг. Ее тоже продержали в нашем бараке до последнего

момента, и маленький наследник отца-самоубийцы был рожден в карете скорой помощи по дороге в город. Он жив и здоров, и мать окрестила его именем Вольфганг, в честь... Вольфсберга. Как это ни странно для тех времен, мать больше не вернулась в наш лагерь, и ей была дана относительная свобода, жизнь у родителей без права переезда, до 1948 года, когда краткой сессией политического суда она была освобождена от всякой ответственности.

Эрика Ребернигг осталась единственной опекаемой. Ей тоже делалось «приданое», и нам обещали наши доктора, что ей помогут родить в лагере, если англичане не отправят ее заблаговременно в город.

«Лагерьная холера» брала все большие размеры. В мужских блоках было совершено несколько самоубийств. Повесился герр Пфундер, толстый когда-то, а затем похожий на замшевого, до костей похудевшего слона, крестьянин, арестованный «по недоразумению». Он, наряду с обработкой земли, делал деньги и пилкой дров на круглой пиле. Австрийцы, как и немцы, обожают титулы. Его в селе Хайлиге Блут называли с почтением «крайсзегемайстор», т. е. мастер круглой пилы. Однажды, летом 1945 года, в село приехали англичане. Стали расспрашивать о местных нацистах, занимавших какие-либо должности, групповых, сельских, окружных начальников. В это время подошел с трубкой в зубах толстенный и важный герр Пфундер. На ломаном немецком языке ишейки Эф-Эс-Эс спросили его, кто он такой. С достоинством был дан ответ: «Я — крайсзегемайстор!».

Этого было достаточно. «Крайс» имел магическое значение. У нацистов мелкие и покрупнее партийные личности носили титулы «Ортсgruppenлейтеры», «Крайсgruppenлейтеры» и

т. д. Герр Пфундер сам себе вырыл могилу. Без дальнейшего разбирательства, он был схвачен, арестован и отправлен напрямиком в Вольфсберг.

Старик был в отчаянии. В таком же душевном состоянии была и его семья, которая имела достаточно неприятностей в дни «Аншлусса» с Германией и позже, отказываясь вступить в партию. Во все стороны летели письма и мольбы. Дед продолжал сидеть. Наконец, он добрался сам до капитана Кеннеди. Ответ был поразительным: — Я понимаю! — терпеливо и даже любезно отвечал «директор цирка Вольфсберг». — Но отпустить вас не могу. Мы только арестовываем и держим под арестом, а выпускать будут другие.

— Кто же? — стонал несчастный старик.

— Это еще не решено. Такая власть еще не создана!

Сожители папаши Пфундера рассказывали, что старик очень тяжело переживал свое заключение в дни рождественских праздников. Он заболел тоской в самой тяжелой форме и однажды, выйдя ночью в уборную, больше не вернулся,

Его холодное тело сняли с петли из ремня два молодых украинских эс-эсовца. Об этой истории приказано было молчать, и труп старика был вывезен из лагеря ночью в обычной грузовой машине.

Другие разрезали вены или горло отточенными на камне жестяными ложками. Все это оставляло тяжелое впечатление, и психоз самоуничтожения повис над лагерем.

У нас самыми слабыми оказались Аделе Луггер и Марица Ш., за которыми нам было приказано следить, чтобы и оне не наложили на себя рук.

Английскому полковнику, коменданту лагеря, конечно, не нравились подобные явления. Он, как нам сказал д-р Брушек, поехал в Вену и там, в центральном Эф-Эс-Эс, выпросил некоторые льготы. Пища наша не менялась: мы продолжали

ежедневно есть гнилую капусту, но по субботам нам стали регулярно выдавать по одному яблоку на пять человек, по две ложки сахара и — о счастье! — однокиловую банку ливерной колбасы на 12 человек. Эта «ливерная» колбаса получила сейчас же название «бетонвурст» — бетонной или опилочной. Сухая, неизвестно из какого «эрзаца» сделанная, сильно перченая, сегодня она казалось бы совсем несъедобной. Я верю, что в США таким продуктом не кормят и собак, но там она вносила какое-то разнообразие в «меню».

Колбасу осторожно вынимали из банки, и «штубенмуттер», старшая комнаты, ниткой разрезала ее на двенадцать частей. Жир с банки сцарапывался и тоже «разделялся». В наших жестяных мисках мы жарили эту колбасу на печи и съедали ее с сбереженным кусочком хлеба.

С моральной стороны были тоже улучшения. Нам стали выдавать бумагу для писем. Одно письмо в месяц, двадцать пять строк. Писать нужно было крупно, печатными буквами. Писать разрешалось только родственникам и только в Австрию. Для местных это было верхом достижения. Разрешено было и получать по одному письму в месяц. Наконец, в начале февраля в австрийских газетах появилось сообщение, что родственники и знакомые заключенных в Вольфсберге могут отправлять раз в месяц одному лицу посылку в 5 кг. весом. Точно было рационировано количество разрешенных продуктов, а также носильных вещей.

Ни мне ни майору Г. Г. некуда было писать. В Австрии нам никого не хотелось подводить связью с нами, вольфсбергговцами. Где находилась моя семья, были ли они живы, я не знала. Жена майора, миниатюрная, веселая Олечка, в дни капитуляции находилась в окрестностях города Хемница в Германии, куда Варяг отправил свои семьи. Эту область, против всей вероятности и ожиданий, заняли советские войска... Посылок нам

тоже не от кого было ожидать, но мы радовались радостью окружающих. С четверга 15 февраля и затем до конца нашего сидения, каждый четверг в наш лагерь в'езжал грузовик частного предприятия, получившего лицензию на доставку посылок. Каждый четверг кто-то был обрадован и мог ждать новой посылки через четыре недели.

Шофер грузовика привозил списки, которые затем перепечатывались в оффисе Эф-Эс-Эс и развешивались по блокам. На следующий день перед особым баракom счастливы становились в очередь. Сначала женщины и потом мужчины. Посылки подвергались строгому осмотру «киперов», а также и сержантов Эф-Эс-Эс и даже самого Кеннеди. Все содержимое выбрасывалось из коробок и мешков и весь упаковочный материал сжигался. Продукты подвергались осмотру и перетряске. Искali письма, пилки, клещи, ножи и все то, что могло бы способствовать побегу. До тех пор, правда, никто еще из лагеря не бежал. Все надеялись, что выйдут из него легально, спокойно, с чистой совестью и возможностью начать новую жизнь.

Посылки и письма уменьшили психические заболевания и поддерживали физически.



Редко кто пользовался полученными благами один. Мужчины делились с соседями по койкам. Мы, женщины — со всей комнатой. Самые лучшие посылки получали крестьянки. В городах все еще царила нужда. Цены на черном рынке были непосильно высоки. По карточкам получали буквально крохи.

В моей комнате было только пять из 22 женщин, которые получали посылки. Оне сообщили своим домашним об этом грустном факте, и те старались прислать то, что могло бы поддержать всю ораву. Лук был самым желанным — лук и чеснок, уксус, постное масло, сало. Макароны и рис мы как-то умудрялись, несмотря на недостаток дров, варить ночью на печках.

Это было тем хорошим, что дал нам этот год, но было и много плохого. Как я уже написала, Кеннеди, получив подкрепление, вел допросы ежедневно и еженощно. Из мужских блоков все время вызывали арестованных через «киперов». На лютом морозе и на ветру их выстраивали шеренгой, начиная от края забора женского блока до дверей ФСС. Они были обязаны стоять смирно. Солдаты должны были следить за тем, чтобы они не переминались с ноги на ногу, не разговаривали. Некоторых приводили без шапок, в виде особой строгости, без рукавиц, которые мужчины сами делали из тряпья, и без носков или чуваков, тоже сшитых из тряпок: просто босые ноги в деревянных колотушках.

Мы видели, как они, ожидая своей очереди, синели, затем белели. Часами, даже днями, потому что вызывали по двадцать-тридцать человек, а в день допрашивали по трое-четверо, эти люди, пусть даже «кригсфербрехеры», замерзали на наших глазах. Страшно белели их носы, уши, руки и ноги. Те, кого держали так по неделе и больше, покрывались обмороженными ранами.

Из нашего двора мы видели, как Кеннеди выбегал из своей канцелярии, бросался на построенных людей, орал, плевался, бил кулаком. Перед ним стояли не люди, а истуканы с мертвыми, невидящими глазами, без всякого выражения на лицах.

До нас долетали слова, которые мы вскоре выучили наизусть: — Свины! Собаки! И я когда-то любил немецкий народ! Я когда-то сам был немцем, будьте вы все прокляты! Я с вас семь шкур спущу! Вы у меня плясать будете! Слышите? Кричите «Хайль Гитлер», я вам приказываю!

Люди стояли смирно, молча, и от этого становилось страшно.

Никогда не забуду дня, когда Кеннеди построил семь молодых парней африканского корпуса, одетых в легкие, песочного цвета, полотняные формы. Они стояли, как статуи. Затем их вызвали всех вместе на допрос. Через какой-нибудь час, они опять были построены перед забором, без фуражек, без поясов, без ботинок, босыми ногами на снегу. Кеннеди приказал им поднять руки в нацистском приветствии и запретил их опускать.

Прошел почти час. Снег засыпал «африканцев». Мы не видели их лиц, а только белеющие затылки и поднятые вверх правые руки. Кеннеди несколько раз выбегал из канцелярии, смотрел на свои жертвы, что-то им кричал и опять исчезал.

У проволочных фронтовых оград всех блоков стояли мрачные массы молчаливых заключенных. Все ждали развязки. Мужчины, принесшие нам в полдень капустную бурду, сказали, что от «африканцев» требуют имена их офицеров, участвовавших в какой-то экспедиции...

Медленно и страшно тянулось время. Женщины, ходившие по двору, или стоявшие за оградой сзади оштрафованных, ушли в комнаты. У нас многие плакали.

Быстро догорал февральский день. Семь «африканцев» на наших глазах превращались в завейные снегом белые привидения. Их руки не опускались. Наконец, один, самый молодой, не выдержал и, потеряв сознание, упал, не сгибаясь, не стараясь облегчить это падение, прямо лицом в снег, как деревянная кукла. Его товарищи не шелохнулись.

Английский солдат, стерегший оштрафованных, вскрикнул звонким, бабьим голосом, швырнул винтовку в сугроб и забился в истерическом плаче. Выбежали все «борзые» Кеннеди. Они подхватили бесчувственного, повели за собой шесть его товарищей и плотно прикрыли двери.

В синеве сумерек дневальный побежал в лазарет и вскоре вернулся с двумя заключенными врачами, д-ром Штейнхардтом и д-ром Бургхардтом, и сестрой Гретой.

Подошло время запираТЬ блоки. Киперы, насупленные и сумрачные, приказали расходиться от заборов и идти в бараки.

Только через несколько дней мы узнали, что этой же ночью скончался молоденький «роммелевец», а остальные, с обмороженными конечностями и лицами и в двух случаях с воспалением легких, были доставлены в лазарет.

Через несколько дней мы стали свидетелями еще одного зверства. К «всесильному» был вызван штандартенфюрер (полковник) Карл фон-М. эс-эсовского полка принца Евгения Савойского. Он днями ожидал перед нашим забором своей очереди. Наконец, она пришла. Очевидно, опять безрезультатно. Сведений, которых добивался «всесильный», он не получил. Он собственноручно вытянул за шиворот полковника, сорвал с него фуражку, расстегнул шинель и поставил смирно с поднятой рукой. Опять шли часы. Снег в этот день не падал, но дул с гор ледяной ветер. Кеннеди появлялся, подходил и что-то спрашивал, багровел, не получая ответа, и исчезал в своей конторе.

Наконец, решив прибегнуть к последнему средству, он вышел в сопровождении молоденького солдата, который нес ведро. По приказанию «всесильного», сам бледный, как смерть, трясущийся солдат обдал целым потоком воды стоявшего офицера — голову, лицо, плечи; вниз по раскрытой груди, по спине лились ледяные струйки.

— Замерзни, мерзавец, как замерз твой язык! — завопил мучитель. Офицер не шелохнулся, но зато лагерь не выдержал. Сначала буквально взвыли женщины, стоявшие во дворе и следившие за истязанием, затем блок напротив нас и, через какую-нибудь минуту, выл весь лагерь.

Выли, как волки, визжали, тявкали. Били ставнями барачных окон, потрясали столбы проволочных оград.

Из первого, так называемого «английского» двора, бегом, с ружьями на перевес, выбежала вся стража. Солдаты рассыпались по лагерю и стали стеной перед блоками. Капралы и сержанты-киперы призывали к порядку, приказывали замолчать. Солдаты щелкали замками карабинов. На сторожевых вышках звонили телефоны, и часовые давали сигнал тревоги. Как нам потом рассказывали, этот вой был слышен в городке Вольфсберге, и жители в страхе терялись в догадках, что у нас происходит.

Мы не заметили момента, когда Кеннеди увел полковника Карла фон-М. Позже мы видели бегущих к ФСС сестру Грету, докторов и двух санитаров с носилками.

...Полковник выжил. Он даже не был никуда выдан. Он не отвечал ни перед военным ни политическим судом. По общему пути «денацификации», пройдя через все фазы, он был выпущен осенью 1947 года на свободу.

Подобных случаев было много, но это были цветочки. Ягодки ждали нас впереди.



ВВЕРХ — ВНИЗ.

Я не пишу эти воспоминания по предварительному плану. Просто бросаю на бумагу то, что в более или менее хронологическом порядке приходит на память. Может быть, записи мои немного сумбурны, но даже после всех этих лет трудно быть абсолютно спокойной и равнодушной.

Перед глазами встают лица, факты, моменты, личные и общие переживания. Где-то в Канаде живут два «вольфсберговца; возможно, они прочтут эту книгу; прочтет и майор Г. Г. К сожалению, моя подружка, Манечка И., девушка из Кобе-ляк, никогда больше не напишет мне письмо: она умерла.

Нас было шестеро русских, чисто русских, в лагере «373». Случайно вкрапленные православные люди в этой массе иноверцев. За что мы, в общем, попали в это человеческое месиво — до сих пор сказать трудно. Может быть, просто для этнографии, чтобы было «всякой твари по паре». Такими себя чувствовали венгерские «хонведы» (национальная регулярная армия) и упомянутые мной словенцы и хорваты, не служившие в частях «усташей», резавших сербов, или в босанских эс-эс формированиях «Ханджар» и «Кама», за которыми действительно числились зверства и массовые убийства.

Иностранцы, не австрийцы и не «пифке» (шутливо-бранное название немцев), были в известном отношении на при-

вилегированном положении. Теперь трудно уяснить этот нюанс. Например, в вещевых и продуктовых складах работали хорватские домобранские офицеры. Русский ученый радист стал лагерным электриком и пользовался широкой свободой ходить не только по лагерю и входить в женский блок, но и в английские помещения и даже, под конвоем, в город для разных закупок. Майору Г. Г. было разрешено давать уроки русского языка, которые пользовались громадным успехом. Мужчины собирались на курсы в одном из блоков, но женщины занимались у нас, в моей комнате, одной из самых больших в бараке. Майора приводил к нам «кипер» и оставлял на два часа урока, не присутствуя на нем. За эти уроки майора немного подкармливали женщины, получавшие посылки, а другие ученицы снабжали его табаком и папиросами. Манечка И. попала в прачечную, в подмогу «упрямым». Офицер Казачьего корпуса фон-Паннвица, Павлик, прекрасно игравший на скрипке, попал в «оркестр», который играл по субботам в «собрании» охранявших нас англичан, и тоже подкреплялся едой и куревом. Венгры попали в конюшни, как «прирожденные наездники». Словенцы, вместе с крестьянками-заключенными, по протекции д-ра Брушека, работали в огородах нашего лагеря, разбитых на пустыре.

Весна принесла известные изменения. Ушли «Баффс» (Буйволы) — полк, части которого несли охрану лагеря. На смену появились шотландцы с помпончиками на беретах и ирландцы с перышками разных цветов. С «Баффс» ушел и старый комендант, и мы узнали, что новым является полковник-шотландец, часто ходивший по лагерю в «юбочке».

Он оказался более твердым по характеру, чем предыдущий, и проявил сопротивление Кеннеди. Увидев впервые «колючую змею» и толкущихся около нее мужчин и женщин, он возмутился и разрешил «гулянья».

Ежедневно с трех до четырех часов дня женщин выводили на прогулку наши киперы-шотландцы, Джок Мак Гриди и Джок Торбетт. Одновременно выпускался и один из мужских блоков, каждый день другой.

Мы ходили с мужчинами в круг по большому плацу, который в шутку называли площадью Адольфа Гитлера. Киперы стояли в середине и внимательно следили за порядком. Остановившись, группироваться или выходить из этого движущегося круга строго воспрещалось, и получить наказание — неделю без выхода, было очень легко.

В лагерь, среди других заключенных, доставили протестантского священника. Пользуясь религиозностью шотландца-коменданта, он выговорил право служения в специально отведенном за блоком «Е» маленьком бараке, который наши мужчины с большим рвением привели в порядок. Вскоре из города стал приезжать и «вольный» католический священник. Каждое воскресенье они делили церковь, и службы шли по очереди. Конечно, в церковь нас, женщин, водили по парам, как институток, и, вместо классных дам, с нами шли наши «Джоки». Стояли мы в церкви отдельно от мужчин и только переглядывались с ними.

Мои духовные нужды удовлетворял мой молитвенник, подаренный в тюрьме в Фельдкирхене капитаном Г. А. Ежедневно по утрам, забрав молитвенник, я выходила на одинокую прогулку вокруг барака и читала все утренние молитвы, по вечерам — вечерние, по субботам вечером — всю всенощную. По воскресеньям читала литургию, и в праздники у меня были и каноны и акафисты. С детства пев в церковном хоре, я очень живо в сердце и душе восстанавливала мысленно всю нашу православную службу. Моим молитвенником пользовалась и Маня, и часто его просил на день-два майор.

С приходом шотландцев, нам в некотором отношении стало легче. Разрешили устраивать лекции, под которые отвели громадный ангар. Их читали большие ученые юристы, археологи, историки, профессора музыки и медицинские светила. Наконец, разрешили с посылками из дома выписать и музыкальные инструменты. У нас создался оркестр, за ним народные хоры разных областей Австрии и, наконец, театр. Но о нем позже.

Мы сначала не понимали этой «относительной свободы» под постоянным контролем. Вскоре нам стало ясно. Вольфсбергский лагерь начали посещать. Сначала приехали американцы, имевшие под своим контролем Глазенбах. Они приехали для размена. Англичане потребовали от них тех «кригсфербрехеров», в которых были заинтересованы. Американцы хотели получить известное число заключенных из Вольфсберга. Однако, молва о нашем лагере и о мистере Кеннеди прокатилась не только по всей Австрии, но и по Германии. Американцы хотели посмотреть, кому они передадут своих заключенных, живших в Глазенбахе, как на курорте. Они хотели посмотреть, как живут люди в «цирке Кеннеди».

К приезду этих именитых гостей, о которых мы, конечно, понятия не имели, лагерь был вылизан и выметен. Срочно вставлялись стекла в разбитые окна бараков. Где-то что-то починалось, достраивалось. На церкви был поднят крест. Из города привезли полный грузовик рассады, и по всем клумбам засаживались цветы! Овощную рассаду передали нашим крестьянкам, работавшим в огороде. Происходили сыгровки оркестра и спевки хоров. Поощрялась «самодеятельность». Мой земляк электрик Н. получил разрешение нарезать из электрических проводов, покрытых изоляционной резиной, «папильотки» для дам. Мы стали завиваться! В шутку высказывались предполо-

жения, что к нам придет сам английский король или мистер Черчилль.

Американцы приехали в воскресенье. На плацу «Адольфа Гитлера» играл «народный каринтийский ансамбль». Многие мужчины были одеты в белые рубахи, кожаные короткие штаны, белые чулки и ботинки с пряжками, полученные ими сверх нормы срочными посылками. После ансамбля пел хор штирийцев, и танцевали тирольцы...

Гости расползлись по лагерю, заходили в бараки, расспрашивали заключенных, но с ними, с каждой маленькой группой, шли Кеннеди, Зильбер, Вейс и Браун. Вольфсберговцы мрачно молчали, нехотя отвечали на вопросы и, боясь возмездия, не жаловались.

Американцы уехали... Мы никого из Глазенбаха не получили, но Кеннеди должен был уступить туда порядочную группу наших мужчин. Счастливы! Мы им завидовали.

Посещения затем пошли вереницей. Приехал бригадир, начальник частей, расположенных в Каринтии, затем депутаты английского парламента, затем квэйкеры и последними офицеры УМСА.

В интервалах между посещениями мы возвращались к суровой рутине. То нас оставляли без прогулок, то запрещали лекции, то женский или другой блок оставался без церкви. Пища не улучшалась. В дни посещений в баланде плавали целые куски корнбифа, но они исчезали на следующий же день. После периода картофеля нас стали кормить свеклой. Бураки привозились в громадном количестве и ссыпались прямо на землю. Их затем кромсала машина, и со шкуркой, даже не помытые, они варились в котлах. Это нечто буро-красное, сладко-горькое довело нас до отчаяния. Число женщин к тому времени возросло до такой давки в бараке, что мы буквально наступали друг другу на ноги.

В один солнечный день женский барак взбунтовался. Начали это, конечно, молодые.

На задворках нашего барака собралась компания: военнослужащие, машинистки разных учреждений и члены Союза германских девушек. Срочно был выбран «комитет демонстраций», о чем было сообщено, при помощи милого д-ра Брушека, в мужские блоки. В полдень, когда «фрасстрегеры» появились в сопровождении одного из наших «Джоков» в воротах блока, неся бурю массу, их встретили женщины, отняли палки от котлов и одним движением вылили баланду на землю.

Почти одновременно и в мужских блоках встречали вносящих пищу, и она с криками протестов выливалась на «аллею».

Наступила знакомая уже картина. Забили в набат, зазвонил «алларм» на вышках. Из английского двора бегом мчались солдаты с ружьями на перевес.

Кеннеди не было в лагере, и всю ответственность принял на себя полковник-комендант. Крики, битье ложками в миски, палками о котлы, хлопанье ставнями и волчий вой привели в ужас деликатного кавалериста. Он впервые прошел в кухню и заинтересовался содержимым котлов. На дне каждого слезалась земля, смытая кипением с бураков...

Кухня была заперта. Нам срочно выдали по половине небольшой консервной банки — рациона английских солдат. Банок, конечно, не хватило. Давали хлеб, сыр, конфеты. Вечером мы впервые получили густой сладкий, как мед, чай с молоком.

Это был взлет вверх. На следующий же день в лагерь вошли грузовики с свежим зеленым горошком в стручках. Два месяца мы ели эту свежую пищу. С раннего утра и до вечера женщины сидели на ящиках перед кухней и чистили, чистили

и чистили это блаженство. Но кончился горох — и мы опять вернулись к гнилому рису, червивой чечевице, фасоли и вонючей капусте.



...И ТАК ДАЛЕЕ...

Лето 1946 года было полно волнений. Перенаселенность вызывала, волей или неволей, столкновения в бараках. Утомляло все. Жара, непереносимая в помещениях и такая же тяжелая наружу. Целый день кто-то плескался в умывалках. Душей у нас не было. Просто под краном люди обливались водой и старались хоть немного прохладиться. Купаться нас всех водили в баню и только раз в неделю. На группу в 36 человек (12 душ — под каждым по три одновременно) отпускалось 5 минут. За это время нужно было намылиться, вымыть голову и ополоснуться. Женщинам, из-за длинных волос, отпускали две лишних минуты. Утомляло однообразие, которое пяти тысячам людей не могли разбить ни пение хоров по воскресеньям, ни лекции раз в неделю. Утомляло безделье, так как работала только очень маленькая часть, и рабочим все завидовали.

Женщинам отвели еще одно помещение, свалив между нами и ФСС забор и перенеся его на один барак дальше. Мы разделились. В старом бараке остались старушки, партийки и «смешанный» элемент. В новый, в котором было 12 небольших комнат, каждая на 6 - 10 человек, вселились военные и к ним примкнувший «энергичный» элемент. К нам перешла и «упрямая» компания.

Теперь моя новая комната, в которой я стала «штубен-муттер», то-есть старшей, получила название «скандалштубе». С нас начинались все забастовки, все кошачьи концерты и «воздействия».

Состав наш был, кроме меня, Гретл Мак, маленькая Бэби — Герта Лефлер, «шпионка» Гизелла Пуцци, Финни Янеж и Марица Ш.

Рядом с нами, бок-о-бок, разместились остальные из «упрямой» компании. В следующей комнате поселились все «германские девушки», и так, своими тесными, дружными компаниями, мы заняли полбарака. Вторая половина принадлежала ФСС. Внутренняя перегородка разделяла нас от комнат следователей. С этой перегородкой соприкасалась комната бывших стенографисток большого министерства и наша умывалка.

Вскоре наши девушки нашли в досках сучки, выбили их ночью, вынули и сделали вставными. У нас оказались «глазки» в два помещения, дав нам возможность быть свидетелями происходивших там мучительств.

Почти в первые же дни переселения меня опять вызвали в ФСС. Опять к Зильберу. Первая встреча повторилась во всех подробностях. Молчаливый кивок головой. Долгая пауза, во время которой я переминалась с ноги на ногу. Желтая повязка со звездой на фоне черного бархата в рамке. Шелест бумаг и время от времени мрачный, пылающий внутренним огнем, взгляд черных глаз.

Зильбер похудел. Он тяжело кашлял. На меня он производил впечатление тяжело больного, вероятно, туберкулезного, горящего и движимого какой-то тайной силой. Глядя на него, я подумала о том, что если я никогда не забуду Вольфсберг, Зильбер тоже никогда не забудет тот лагерь, в котором были отравлены газом и сожжены его родители и родственники.

Наконец, он предложил мне сесть и задал вопрос, который меня глубоко поразил:

— Вы по-прежнему привержены вашей идее и верны генералу Михайловичу?

— Да!

— Вы знаете, что он обманом захвачен в горах, доставлен в Белград и находится под судом?

— Да!

Эти вести нам привозили новоприбывшие из венских и других тюрем, в которых разрешалось получать газеты и слушать радио.

— Вы хотите ему помочь? Подумайте, прежде чем дадите ответ.

Мой мозг лихорадочно работал. К чему он ведет? Что скрывается за всем этим? Что я должна сказать?

— Если я могу хоть чем-нибудь помочь генералу Михайловичу, я это сделаю от всего сердца.

— Вы согласны выступить свидетелем в его пользу на суде в Белграде и дать показания о том, что он не коллаборировал с немцами?

Мне все это казалось абсурдным. Кто будет слушать мои показания? Что я такое? Маленький курьер под кличкой «Елка» (Елена), переносивший сообщения между отрядами четников, прятавший оружие в своем доме и скрывавший гонимых людей. Кому поможет мое слово?

Или это трусость говорит во мне? Шкурный вопрос? Желание сохранить свою маленькую жизнишку хотя бы здесь, за проволоккой Вольфсберга?

Зильбер, не отрывая глаз, следил за выражением моего лица, как бы стараясь прочесть мои мысли. Наконец, я взяла себя в руки.

— Если я смогу моей жизнью купить свободу и жизнь генерала Михайловича, сержант Зильбер, я согласна!

— Хорошо. Помните, что этот наш разговор должен быть абсолютно конфиденциальным. Ни слова в лагере. Соврите им, что хотите, о том, почему я вас вызывал. Даже... вашему майору вы не смеее об этом рассказать. Вот, подпишите!

Из ящика стола он вынул готовую бумажку. На ней по-сербски и по-английски, одно за другим, было напечатано следующее:

«Я (имя рек) согласна в любое время, когда для этого окажется надобность, добровольно выступить на процессе генерала Драгомира-Дражи Михайловича в Белграде и дать свои, под присягой, показания. Я (имя рек) согласна быть отправленной в Югославию и несу добровольно все последствия». Место для подписи в двух местах под обоими текстами.

Не берусь сегодня описать, что я пережила в то время, когда читала этот фактически добровольный смертный приговор. В то, что я помогу генералу Михайловичу, и что кто-то поверит моим словам, я ни на секунду не верила. И все же, руководимая очень смешанными чувствами, я подписала бумагу и передала ее Зильберу.

— О. К.! — сказал он спокойно, укладывая бумагу в желтый конверт с адресом, который я не могла прочесть. — Вы можете идти. Ждите результатов.

На лице Зильбера появилась улыбка, объяснения которой я тоже не могла найти. Ирония? Насмешка над моей глупостью? Сочувствие?..

Ошеломленная, я вернулась в барак. В коридоре меня встретили Гретл Мак и Ютта фон-Э.

— Мы все слышали... Молчи и никому об этом не говори!

Я не заметила, что Зильбер меня принял в комнате, которая находилась рядом с нашей умывалкой. Об этом разговоре все же, при первой возможности, я рассказала майору. — Как бы ты поступил на моем месте? — спросила я его дрожащим голосом. Он помолчал и ответил: — Как это ни глупо — вероятно, точно так же!

Я, наверно, никогда не узнаю, зачем я подписала эту бумагу, кому это было нужно, была ли она куда-нибудь отправлена, чья это была идея. Недели через две в Белграде начался процесс генерала Драгомира Михайловича и других «военных преступников», их судили, их осудили, и они были расстреляны. Я же сидела и дальше в лагере 373 и ожидала своей судьбы.





Генерал Драгомир-Дража Михайлович в тюрьме незадолго до расстрела.

ОДНАЖДЫ...

За годы войны и в особенности за время моего почти десятимесячного пребывания в Вольфсберге, мне казалось, что я сумела заковать свое сердце в сталь, и что я смогу проявить отпор против всякого стремления к проявлению душевных эмоций и женской сентиментальности. Как я ошиблась! Первое трогательное внимание застало меня врасплох, и я показала себя в еще худшем свете, чем в первый день приезда.

Я вижу теперь, что, набрасывая на бумагу эти воспоминания, я не могу смотреть на жизнь в Вольфсберге — 373 равнодушно. Но, вероятно, именно поэтому, смотря на прошлое через призму личных переживаний, мне и удастся через столько лет восстановить фазы этой вольфсбергской эпопеи.

Ярким пятном на сером фоне «рутины» восстают многие, в том или ином аспекте знаменательные дни.

Июнь 1946 года по многому незабываем. Может быть, тогда я начала понимать людей. В плохих, казалось бы, научилась находить изумительно хорошее и в хороших разочаровываться. Как это ни странно звучит, в Вольфсберге я впервые научилась любить людей, быть снисходительной к их слабостям, к их недостаткам, и эту любовь я уже никогда не потеряю.

Помню вечер одной из сред, когда, после прибытия гру-

зовика с посылками для заключенных, были вывешены по блокам списки и.., в них оказались мое и майора Г. Г. имена. Откуда? Кто вспомнил о нас? Кто нам, «политическим прокаженным», решился послать этот знак памяти и внимания? Мы оба терялись в догадках и, теперь это может казаться смешным, — не могли всю ночь сомкнуть глаз.

Впервые за все время, в четверг, на следующий день, я тоже стала в ряды тех, кто строился для похода за посылками.

К тому времени, по приказанию свыше, в нашем лагере уже были поставлены несколько больших громкоговорителей, и по ним нам дважды в день передавали вести Би-Би-Си на немецком языке, или начальство отдавало приказания. В дни, когда Кеннеди и его «борзые» отсутствовали, радистам удавалось дать нам хоть полчаса хорошей музыки из Вены.

Женский блок был первым подведен к домику, в котором выдавались посылки. Оне были уже вскрыты и осмотрены, и выдача производилась быстро. Дошла очередь и до меня. Улыбающийся от уха до уха ирландец, с ярко зелеными перышками на берете, передал мне маленькую коробку от ботинок, не трудясь выбросить ее в кучу с оберточным материалом. В ней лежали сухари из серого хлеба, два румяных яблока, плитка американской карамели, немного сухих слив, лесных и гречских орехов. Это было все. Может быть, бедно. Может быть, выглядело даже патетически жалко, но я крепко прижала коробку с содержимым к груди. Видно было, что ее послал кто-то, кто жил не много лучше, чем мы, так же голодно, но из последних сил, благодаря свободе и доброму сердцу, собрал для меня* эти продукты.

Я думала, что мое сердце оковано сталью, а оказалось, что оно было покрыто только свинцом. Как острым скальпелем, он был вскрыт, и обнажилось самое чувствительное место.

Я вернулась в строй женщин, уже получивших свои пакеты. Все громко разговаривали, хвастались, смеялись. Добродушный шотландец, Джок Торбетт, шипел на нас, как гусь, стараясь держать дисциплину.

В городе Вольфсберге сирена пивного завода прогудела полдень. Включили радио, и зазвучала передача вестей.

Первое, что я услышала, были равнодушные слова: «Сегодня в Белграде приведена в исполнение смертная казнь осужденного генерала Драгомира-Дражи Михайловича...»

Я знала, что в Белграде шел процесс. Из радио-вестей мы узнавали теперь многое. Мысль о том, что генерал Михайлович не вырвется живым из рук красных палачей, часто приходившая мне в голову, казалось, была логичной и понятной, но, когда я услышала о казни, у меня потемнело в глазах. Мозг прорезала молниеносная боль, лицо свела странная судорога. Не видя ничего, ничего больше не слыша, не обращая внимания на окрики нашего и других «киперов» и оттолкнув от себя кого-то из подруг, я пошла одна, шатаясь, как пьяная, через весь лагерь в наш блок.

Мне потом говорили, что на меня смотрели, как на обезумевшую. В панике от меня шарахались встречные часовые. Майор, стоявший в строю своего блока и сам ожидавший полочки пакета, звал меня по имени, но я шла и, как простая баба, причитала, выкрикивая жалобы и проклятия.

Тем, кто не знал генерала Михайловича, кто не работал с ним, кто не встречался с ним в мирной и боевой жизни, кто не знал, как предали лучшего из лучших и храбрейшего из храбрых, — тому будет непонятно мое горе. Возможно, что, если бы моя душа не была обнажена малюсенькой посылкой от неизвестного друга, я бы иначе, крепче, более стойко приняла этот удар, но, к стыду моему, я не умела сдержать своих слез и,

ворвавшись в комнату, упала головой на стол и разразилась рыданиями.

Это было совершенно непростительно в Вольфсберге. У нас, по неписанным, но строго выполняемым правилам, не разрешалось плакать так, чтобы это кто-то видел, а меньше всего — тюремщики. На их издевательства мы научились отвечать изречением: — Любите вы нас или ненавидите, но придет время, когда вы должны будете нас выпустить!

Ob Sie uns lieben, ob Sie uns hassen, einmal doch muessen Sie uns entlassen!



«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАГОН»

Это был бы точный перевод с английского «Special Pen», названия одного из отделений нашего лагеря, игравшего самую мрачную роль в истории Вольфсберга.

Этот барак, выкрашенный в черный цвет, говорят, в дни войны был «каталажкой» для провинившихся военнопленных. Он находился в черте самого лагеря, рядом с баракom ФСС, и был окружен рвами, многочисленными рядами колючей проволоки, двойным забором невероятной высоты, верх которого был тоже затянут колючками таким особым способом, что перебраться через него было действительно невозможно.

О «Спэшиал Пэн» мы знали с первого дня приезда в «373». Мы знали, что там «кто-то» сидел. Нам говорили, что там сидят настоящие военные преступники, люди с кровавым прошлым, и что они, вроде исторической «железной маски», не имеют ни имен, ни лиц. Однако, в нашем лагере ни одна тайна не оставалась неразгаданной. Частично наши рабочие, входя в контакт с часовыми, узнавали о «секретах», частично и наши киперы, иной раз не выдержав, болтали. Так нам стало известно, что там сидят, главным образом, те австрийцы или немцы, которые играли хотя бы какую-то роль в Югославии. Я верю, что сначала среди них были те, которые участвовали в

подавлении восстаний, нацисты с темной совестью, но, в конце концов, в «Спэшиал Пэн» стали попадать все, кого туда садил мистер Кеннеди.

О мистере Кеннеди современем мы узнали многие компрометирующие вещи. Чуть ли не с первых дней основания лагеря Вольфсберг, он спелся с титовцами и красными чехами и уж, конечно, с МВД, имевшим свой главный штаб в Вене, и за известную награду оказывал им неоценимые услуги. Впоследствии выяснилось, что из Вольфсберга было выдано коммунистам в разные страны больше, чем разрешали оккупационные власти. Кеннеди, посещая, скажем, на автомобиле в субботу Любляну в Югославии и пьянствуя там с чинами ОЗНА (югославское гестапо), давал им списки заключенных, и те выбирали, кого хотели. Выдавая затем в Югославию тех, кто был осужден на выдачу официальным путем, Кеннеди «подбрасывал» десяток других, мало или вовсе ни в чем не повинных людей, которых бы оправдал любой суд, и эти люди были немедленно после передачи, тут же, рядом с английским автомобилем, ликвидированы.

Первое время в «Спэшиал Пэн» сидело человек десять. Их быстро затребовала Вена, где заседал «суд четырех», т. е. суд по разбору военных преступлений, состоявший из англичан, американцев, французов и советчиков. Последние предъявляли требования и от имени своих стран-сателлитов. Но, когда настоящие «кригсфербрехеры» были увезены, «С. П.», как мы сокращенно называли этот «загон», стал пополняться за счет самого капитана Кеннеди. Там очень скоро оказались совершенно разные люди. Наряду с бывшими гестаповцами — мелкими сошками и несколькими «кацет-ауфзеерами» — надзирателями в немецких концлагерях, сидели «божьи коровки», лично антипатичные «директору цирка Вольфсберг».

В «С. П.» садились и те, с кем «интимно», без шума и вмешательства в это дело Вены, хотели «поболтать» эмведисты. По дружбе, наш главный тюремщик отправлял их в сопровождении, в общем, очень милого и культурного англичанина, аристократического происхождения, сержанта Вест, в одинокий отель на Турахских высотах.

Отель на Турахских высотах был страшнее любой тюрьмы. Он был настоящим застенком Лубянки и проглотил много человеческих жизней. Редко кого возвращали с Тураха в Вольфсберг. Я запомнила только один случай, когда на Турах отвезли и вернули обратно мужа одной из наших товаров, полковника военной разведки фон-Ц., знавшего все шифры и другие немецкие тайны, которыми интересовались советы. Только из-за этого была арестована и г-жа фон-Ц., т. к. полковника пробовали шантажировать здоровьем его очень болезненной супруги. Он вернулся живой из отеля на Турахских высотах, но совершенно седой.

Полковника спасло его еще довоенное знакомство с одним из высших английских офицеров. Он заинтересовал знаниями фон-Ц. свое начальство, и в то время, когда несчастный уже был в руках МВД и СМЕРШ'а, пришел акт о передаче этого немецкого разведчика в штаб маршала Монтгомери.

На Турахские высоты отвезли и двух женщин. Оне никогда больше не вернулись.

Пополнение «С. П.» началось ранней весной 1946 года. Однажды, сразу же после раздачи полуденной баланды, в лагерь вошли вооруженные солдаты и, по четыре и больше, в сопровождении кипера и одного из сержантов ФСС, входили в блоки, запирали их за собой и по еписку вызывали людей. Эти «аресты арестованных» были закончены к вечеру, и в «С. П.» к тому времени помещалось свыше 150 человек.

Подобные облавы продолжались и дальше. В один тяжелый для меня день был «переарестован» и майор Г. Г., и я осталась в лагере без самого близкого и дорогого друга.

Нам, конечно, никаких объяснений по этому поводу не давалось. Стороной мы узнали, что в «С. П.» попали те, кого требует какая-нибудь страна, те, кого подозревают в подготовке бегства, и те, чьи лица просто не нравятся капитану Кеннеди.

Людей из «С. П.» мы видели мимолетно раз в неделю, когда их, мимо наших барачков, под большим конвоем водили в баню.

Банщиком был милейший и храбрейший человек, доктор изящных искусств и музыки, Франц Амброз. Благодаря ему, нам удавалось передавать в «С. П.» записки и маленькие знаки внимания. В день нашего купания мы оставляли их в условленных местах, и затем д-р Амброз передавал их «специалистам». Так я поддерживала связь с майором, а многие из моих товарок — с их мужьями, братьями, родственниками или бывшими начальниками.

Весь контроль над «Специал Пэн» принадлежал только Кеннеди, и лагерный комендант с ними ничего общего не имел.

Из «С. П.» людей водили в барак ФСС на допросы.

Я уже писала о том, что умывалка и одна из комнат женского барака № 2 граничила с двумя комнатами следователей, и мы невольно делались свидетелями многих допросов, в особенности по ночам, когда блок был заперт. Мы не боялись быть пойманными на подслушивании заходящими киперами и могли часами сидеть у стены, даже смотреть через замаскированные глазки и не только слушать, но видеть и записывать все, что говорилось.

Мы слышали нечеловеческие крики мучимых, богомерзкие ругательства мучителей. Мы видели людей, выносимых на носилках из нашего лагеря в английский двор и затем неиз-

вестно куда. Все это обычно происходило ночью, но при свете фонарей и прожекторов с вышек, от нашего взгляда, через окна, не ускользало ничего.

Ночи допросов сказывались не только на нас, но и на охране и киперах. Мы замечали бледные лица простых солдат, которые, мы видели, не сочувствовали злодеяниям вольфсбергского ФСС. Мы приставали с вопросами к нашему Джоку Торбетту, но маленький шотландец морщил свой громадный нос и, отмахиваясь, говорил: — Никс спрехен. Верботен. Никс виссен! — на своем ломаном и ограниченном «немецком» языке.

Из женского барака все сведения о допросах ползли по всему лагерю. Если до тех пор, веря в гуманность западных сил и в справедливость, у нас редки были покушения на побег, теперь они участились и порою с успехом. Люди спасали свои головы, кто как умел.

Часто мы просыпались ночью от воя сирены, затем пулеметной стрельбы, криков, беготни солдат. Мы вскакивали и начинали молиться за тех, кто имел храбрость бежать. Ночь превращалась в ад. Нас поднимали, строили, делали и в нашем блоке обыски, искали место, где сделали подкоп или перерезали проволоку бежавшие, искали сообщников...

На следующее утро мы спрашивали нашего чудесного Джюка: — Сержант! Бежали? Сколько? Из какого блока?

Носатый маленький Джок неизменно отвечал: — Никс спрекен, верботен, никс виссен! — и затем кивал утвердительно головой и радостно улыбался, или, печально поникая головой, бурчал: — Капут! — что означало «убит», или же, разводя руками, разочарованно: — «Калабуш»! — т. е. бежавший или бежавшие пойманы и посажены в «бункер».

ДОПРОСЫ.

Об этой странице жизни в Вольфсберге можно было бы написать целые главы. С появлением опасности быть посаженным в «С. П.» и выданным на растерзание красным, побегов было много, но, к сожалению, случаи удачи можно было сосчитать на пальцах. Лагерь охранялся строго. Вышек было много, проволочные заграждения были густы и высоки. Беглецы запутывались в колючках, как мухи в паутине...

Одним из трагических случаев, вызвавших «побегоманию», был допрос некоего Метцнера, опять же контр-разведчика немецкой армии, знавшего многое, что интересовало в первую очередь не англичан, а СМЕРШ.

Помню эту ночь, когда в нашу комнату ворвались девушки, жившие рядом с помещением следователя, сержанта Брауна. Оне были разбужены нечеловеческим воплем и, осторожно вынув сучок-глазок в стене, увидели ужасающую сцену. Допрос Метцнера вел сам Кеннеди, но при помощи его заплечных дел мастеров. Девушки позвали нас быть свидетелями. В их комнатке, на койках уже сидели стенографистки и записывали все, что долетало до слуха, все то, что одна, наблюдающая, могла увидеть через «глазок». Так мы узнали, что именно хотел Кеннеди выпытать у несчастного Метцнера: имена. Имена тех советских офицеров, которые, оставаясь в рядах красной

армии, имели связь с АСТ и с власовскими частями. Метцнер молчал. Его молчание прерывали только стоны или вопли боли, но ни на один вопрос он не ответил.

Наблюдательницы менялись, для того, чтобы их показания были абсолютно достоверными. Стенографистки записывали все, что оне говорили едва слышным шопотом. Метцнеру втыкали иглы в кожу под волосами. Под ногти забивались зубочистки. Ему до хруста за спиной выворачивали руки, били мешками с песком по пяткам и по самым чувствительным местам его тела. Он был раздет догола.

Помочь Метцнеру мы не могли, но мы считали своим долгом сохранить документ об его истязании, о его беспредельном мужестве и о том, что от него хотели выпытать мучители. Этот документ был впоследствии переписан, подписан всеми нами и позже вывезен из лагеря Вольфсберг - 373. Этот и другие подобные документы послужили доказательством против Кеннеди, когда он сам попал под суд, и сломали ему шею. Но об этом позже, много позже.

Время от времени Метцнера поливали водой. Это делали дежурные «киперы», простые шотландские солдаты, которых держал в коридоре ФСС капитан Кеннеди. Окно нашей «наблюдательной» комнаты выходило в узкий проход между баракom и оградой, отделявшей нас от «С. П.». Ночь была лунная, и мы видели лица киперов, ходивших с ведром за водой. Среди них был молоденький, веселый и воспитанный Джок Мак Гриди, которого мы называли «Сонни-бой».

Только на заре мучения прекратились. Прекратились они как-то неожиданно. В соседней комнате воцарилась тишина. Долгая, жуткая тишина. Затем мы услышали только шопот и топот ног. Что происходило в углу, который не был виден через глазок — мы узнали позже. Вскоре потухло электричест-

во, и страшное представление типа «Гранд Гиньоль» окончилось.

Утром мы встретили наших «фрасстрегеров», принесших чайную бурду, еще в воротах блока и быстро сунули им в руку записку о происшедшем прошлой ночью. Через час об этом узнал весь лагерь. Куда дели Метцнера, находился ли он в «С. П.» — мы могли бы узнать только через три дня, когда «специалисты» имели день бани. Однако, все разрешилось гораздо ранее. Часов около одиннадцати в лагерь были введены солдаты. Блоки были заперты. Рабочие в огородах и в мастерских отведены по баракам. Из лазарета были вызваны доктора Штейнхардт и Бургхардт. Их под конвоем и в сопровождении самого Кеннеди отвели в подвал английской кухни, в холодный погреб. Там они нашли труп «повесившегося» Метцнера и сняли его с петли, сделанной из короткой проволоки, привязанной к решетчатому окну. Кеннеди потребовал от наших докторов-заключенных, чтобы они подписали свидетельство о самоубийстве.

Все пять тысяч заключенных стояли у проволочных, фронтовых оград своих блоков. Весть передавалась с быстротой молнии. Разговор Кеннеди с докторами подслушали наши девушки, работавшие в прачечной. Оне через окно передали его в нашу лагерную кухню, оттуда в блок «Б »и дальше. Несмотря на окрики стражи и киперов, из блока в блок кричали о «самоубийстве» капитана разведки Ф. Метцнера.

Обед в этот день мы получили вместе с вечерним чаем и послеполуденным пайком хлеба. Лагерь гудел, как улей. Заключенные доктора категорически отказались подписать «пост мортем». Причина?

Кеннеди просчитался. Врачи сразу же определили, что тело было повешено уже после наступившей смерти. Кроме медицинских доводов, они имели еще один: — руки покойного бы-

ли завязаны ремнем за его спиной. Сделать петлю и повеситься, не имея возможности употребить в дело руки, было абсолютно невозможным. Доктора заметили и кровоподтеки под ногтями и капли крови под волосами покойного.

Все это было шито белыми нитками. Врачи, как уже сказано, отказались дать свои подписи, несмотря на все угрозы, и были возвращены в лазарет. Тело, покрытое одеялом, на носилках внесли в «черный ворон» и вывезли из лагеря. Но лагерь не успокоился. Часам к трем дня все уже знали о том, что происходило ночью, кто был замучен, и тогда, как по команде, начался бунт. Из пяти тысяч горл, прерываемый «вольфсбергским» волчьим воем, раздавался крик: «Верните нам капитана Метцнера!» «Где капитан Метцнер? Кеннеди, покажи нам его живым!»

Киперы метались перед блоками, не рискуя в них входить. Фронтовые заборы были охраняемы вооруженными солдатами. С вышек пулеметы были направлены на бараки, но, главным образом, на «С. П.» и бункер.

Нам потом говорили люди из города Вольфсберга, что они были не на шутку перепуганы. Вой долетал до них, ударялся о горы и эхом возвращался обратно. Кеннеди метался по английскому двору, то вбегая, то выбегая из барака коменданта лагеря. Нам было видно, как он вскочил в джип и уехал. Через несколько минут после этого вышел полковник и с ним сержант Вест. Нам по радио было передано, что «случай с трупом в погребке будет всесторонне расследован», и что «капитан Метцнер жив, но отправлен на Турахские высоты».

Мы знали, что это ложь. Но лагерь перестал выть после того, как полковник добавил, что если мы не смиримся, все люди из «С. П.» и бункера будут переданы тоже на Турахские высоты, для сохранения порядка и дисциплины...



ВЫДАЧИ.

Самый страшный период наступил ранней осенью 1946 года.

Начались выдачи. Выдачи, в которых небольшую роль играли решения суда «четырех» в Вене, а главную — торговля головами капитана Кеннеди.

Выдачи начались отправкой людей из «Спэшиал Пэн» в Югославию.

Не берусь судить о вине эс-эсовских офицеров, чинов Гестапо и «Специаль Динст». Зная темные стороны нацистского режима, я согласна, что среди этих людей были изверги почище самого Кеннеди, садисты, фанатики, массовые убийцы; но, повторяю, Вольфсберг не имел «сливок» гитлеровского режима. Они были сконцентрированы по лагерям и тюрьмам Германии или же содержались в тюрьмах Вены. Но я знаю (и мои слова могут подтвердить многие люди), что среди отправляемых было свыше 80 процентов тех, кого, как говорят англичане, «трэйд ин» властитель наших судов, мститель Кеннеди.

В Югославию были выданы и там без суда, на месте, ликвидированы маленькие людишки, когда-то чем-то заслужившие чью-то недоброжелательность. Проводилась личная месть. Так был отправлен некий Ф. Кусс, милейший человек, художник —

слесарь по профессии, любитель регент, дирижер и музыкант, отец девяти детей.

«Фетерхен» — «папаша» Кусс был любимцем всего лагеря. Он первый собрал хор и с голоса научил его многим песням на словенском языке, веселым, разбивающим тоску, шутливым песням своего края на наречии «виндишей», то-есть пограничной смеси словенцев и австрийцев. Он первый, при помощи самых примитивных инструментов, стал делать «сувениры» нашего лагеря из коробок от консервов, медных круглых пуговиц французских шинелей, колючей проволоки и старых ржавых ложек и вилок. Папаша Кусс глубоко страдал за свою семью, девятерых ребят, один другому до уха, и больную жену, пострадавшую во время бомбардировки села, в котором он был «ортсгруппенлейтером».

Франц Кусс был партийцем, ничего скрывать, но таким же, как и наши крестьянки из Мура, простым, безобидным человеком, по глупости кричавшим «Хайл, Гитлер». Место, в котором Кусс был начальством, состояло из тридцати дворов и находилось в Словении, недалеко от австрийской границы. В селе были коммунисты, и один из них, Станко Копривец, терроризировал всех жителей, требуя дани для красных партизан. Он появлялся по ночам и отправлял своего четырнадцатилетнего брата с «приказом» по окрестным дворам, требуя денег, табаку и пр. Об этом не мог не знать папаша Кусс, и, когда от крестьян посыпались жалобы в немецкое командование, Куслу было приказано организовать облаву на Копривца. В подмогу были присланы «егери», охотники на партизанские черепа. Станка поймали и расстреляли.

Младший брат Копривца, Йожа, бежал в лес и там соединился с красными. Мальчишка быстро выдвинулся, имея все качества своего брата. Его специальностью было дело «кукушки». Он залезал на высокие деревья, привязывался ремнем к

стволу и, скрываясь за ветвями елей, расстреливал из пулемета все живое, что двигалось по дорогам, а затем мародерствовал.

Вот этот Йожа Копривец в 1946 году занимал почетное место в ОЗНА города Крань (Словения), в котором часто, нелегально переезжая границу, гостил капитан Кеннеди. Йоже Копривцу, по его желанию, и был выдан бедный «фетерхен» Кусс.

Это один из десятков, сотни случаев, когда из Вольфсберга выдавали людей без суда и следствия.

Выдачи производились с большой и отвратительной помпой. Лагерь внутри запирался. Людей, как баранов, гнали в блоки. У ворот каждого ставились часовые. К воротам «С. П.» подводился грузовик, имевший железные дуги, на которые натягивался обычно брезент. В полу были просверлены дыры. Несчастные, изголодавшиеся людские тени выводились по одиночке, и, загнав их в грузовик, обвязывали им руки и ноги цепями, которые продергивались через железную конструкцию наверху и через дыры в полу. Это называлось «пришивать», для того, чтобы избежать любой попытки бегства. Рядом с шофером, обычным солдатом, садили одного из сержантов ФСС с автоматом на груди. Автоматчики-солдаты замыкали человеческий груз машины.

Кеннеди лично наблюдал за каждой отправкой. Незабываемым останется случай, когда уже окованный подпоручик Г., которого солдаты подвели к грузовику, со всего размаха ударил цепями по голове Кеннеди и крикнул: — Будь проклят ты и все твое потомство! Кровь наша падет на твою голову!

На секунду Кеннеди остоленел от неожиданного удара, но затем, ловким приемом профессионального избивателя, он сбил несчастного на землю и стал колотить его ногами в самые чувствительные места. Жертву в бесчувственном состоянии под-

няли в машину и подвязали к дугам конструкции. Он висел на руках, как смятая, изломанная тряпичная кукла.



Такие транспорты кандидатов смерти всегда сзади сопровождал джип с капитаном Кеннеди или кем-либо из его очень доверенных помощников. Машины мчались полным ходом до югославской границы, беря самый короткий путь по проселочным дорогам... Грузовик подскакивал. Подвешенных и закованных людей подбрасывало, раскачивало, швыряло. Они ударялись головами, из рук сочилась кровь...

Все это я пишу не с помощью собственной фантазии, а по рассказам тех английских солдат, которые сопровождали выдаваемых. Однажды этот путь проделал и наш Джок Торбетт.

Австрийская пограничная команда того времени состояла из «привилегированного класса», то-есть бывших кацетчиков, сидевших в лагерях в дни нацизма. Не все кацетчики были политическими заключенными или гонимыми по расовым признакам. В кацетах сидел и уголовный элемент, и в большой массе и теперь он чувствовал себя хотя временным, но хозяином положения, получавшим лучшие места, лучшие квартиры, большее количество карточек снабжения и так далее. Эти кацетчики, конечно, не спрашивали от мистера Кеннеди никаких сопроводительных документов, а по другую сторону границы уже стояли титовцы, получившие по телефону из Вольфсберга сообщение о прибытии жертв.

Церемония передачи была коротка. Людей выгружали на югославской земле, машины быстро заворачивали и возвращались на австрийскую. Почти немедленно начиналась стрельба. Выданных тут же приканчивали, во избежание каких-либо проволочек. Трупы грузились на титовский грузовик и отвозились в неизвестном направлении.

Однажды такой вольфсбергский грузовик вернулся в лагерь со следами крови, мозга и волос, на заднем колесе и заднике машины. Английские машины мыли наши заключенные. Тайна выдач стала известной. Заключенные увидели, что милости нет, и что жертвы не могут надеяться ни на суд ни на какую-либо справедливость и установление тяжести вины или невинности. Попытки к бегству из лагеря участились.

Выдачи отражались не только на нас, заключенных, но и на английских солдатах, главным образом, на ирландцах. Сопровождавшие буйно запивали и устраивали дебоши в «английском дворе», стараясь в пьяном угаре забыть виденные ими картины. Однажды такого пьяного ирландца отправили на пост, на вышку вблизи лазарета. За день перед этим он был в эскорте выдаваемых. Кто знает, что сохранилось в его затемненной алкоголем голове? Он потом говорил докторам, что ему показалось, будто к его вышке подкрадываются все расстрелянные, страшные, окровавленные, что они идут к нему, и он чувствовал, что ничто их остановить не может.

— Не я! — заорал он внезапно. — Нот ми, нот ми! — и, направив дуло пулемета на призраки, нажал курок и стал засыпать лагерь пулеметным огнем. Пули пробили крышу лазарета, разбили окна, ранили, к счастью, легко, санитаря, шедшего в этот момент по коридору, затем веером рассыпались по барaku № 1 блока «С» и ранили четырех заключенных. Мы должны были быть счастливы, что не было более тяжелых последствий. Упав на колени, солдат на вышке поднял приклад пулемета, и остальной запас патронов из ленты ушел в землю...



СУД ЧЕСТИ,

Размер этих воспоминаний не дает мне возможности вывести ряд интересных типов заключенных в лагере Вольфсберг — 373. Однако, мне хотелось бы подчеркнуть, что, как в рядах арестованных, так и в рядах «тюремщиков», было много людей, которые, с той или иной стороны, являлись живыми доказательствами теории, что среди всех наций, народов и рас можно найти абсолютно положительных и отрицательных индивидуумов.

Я не была сторонницей немцев и никогда не сочувствовала нацизму во всех его проявлениях. В Вольфсберг я прибыла с определенным желанием провести линию между собой и остальными заключенными, считая, что я попала не в свою среду. Горе и страдания объединяют людей, сглаживают социальную разницу, уничтожают религиозные барьеры и стирают географические границы. Мне пошли навстречу, мне простили мою первую выходку, меня приняли в свою среду, и многим в моей последующей жизни я обязана женщинам и мужчинам, проводившим со мной время за колючей проволокой. Чувство благодарности никогда не побледнеет в моей душе.

В среде наших «тюремщиков» я тоже нашла превосходных людей, которые видели в нас не врагов, не заведомых преступников, а тех, кто страдает и поэтому заслуживает помо-

щи и внимания. Эти люди нами тоже забыты не будут. Точно так же те, кто не хотел на своих плечах нести общий крест, а всяческими средствами старался облегчить свою судьбу и первым дорваться до свободы, оставили у нас навсегда чувство брезгливости и отвращения.

●

По правилам, за нашей «добродетелью» следили англичане. Это имело свой тюремный смысл. Мне неизвестно, по какому закону, но из лагеря не выдавали ни на расправу в другие страны, ни на суд беременных женщин. Кроме того, в зависимости от поведения женщин в лагере, удавалось сохранить дисциплину. Для усмирения всех порывов, все заключенные получали ежедневно в хлебе и питье громадные дозы брома. Он чувствовался по вкусу, и, кроме того, мы замечали его действие как на организме, так и на функциях мозга. Люди становились крайне рассеянными и забывчивыми.

Все же, конечно, жизнь брала свое. Молодые девушки и люди влюблялись друг в друга на расстоянии, искали возможности переглянуться, встретиться на прогулке, хоть незаметно коснуться руки, локтя. Маленькие записочки, тем или иным способом, летели из нашего блока в мужские, и обычно местом центральной почты были или баня или лазарет, где можно было что-то оставить на условленном месте. Этому флирту потакали старшие, видя, как изнывают в тоске молодые. Однако, мы очень следили за тем, чтобы никто не перешел границ, если этому указывалась хоть минимальная возможность, потому что это отозвалось бы на общей жизни лагеря, и новые меры наказаний и репрессий отразились бы на всех.

В особенности, конечно, мы были против какого-либо заигрывания с английской стражей, среди которой находились те, кто думал, что, за папиросу или шоколадку, можно облапать и поцеловать заключенную девушку или женщину.

Не все среди нас были строгих правил, и несколько раз «штубенмуттер» должны были обращаться к фрау Йобст с просьбой «отчитать» ту или иную заключенную. Однако, все их преступление заключалось в том, что оне «делали глазки» часовым, когда те проходили на свои посты, и, если они швыряли им через ограду папиросы, поднимали их с благодарностью.

«В порядке организации» появился вопрос об образовании «суда чести». Каждая «корпорация» выставила от себя кандидатов. Партийные дамы, почти все на возрасте, отказались от этой роли, и суд был выбран среди молодых. В него вошло семь заключенных, которым было доверено рассматривать дела, выносить решение и приводить его в исполнение. От «военных» в этот суд вошла и я. За все время нам пришлось только раз судить одну девушку и выполнить приговор, но, кроме того, мы провели две забастовки, из которых одна была забастовкой голода.

Однажды, в середине лета 1946 года, к нам прибыла партия женщин, среди которых была одна, очень молоденькая девушка, аристократического происхождения. Ее рост был не в ее пользу, и наши сразу же окрестили ее «гренадером», но, при всем этом, она была очень хороша собой: голубоглазая, румяная, с чудными ровными белоснежными зубами и очаровательной улыбкой. Ее волосы, цвета спелой ржи, вились от природы. По неряшливости, она редко причесывалась, и ее голова была полна мелких, беспорядочных кудряшек. За это последовала другая кличка для нее — «путцволле», или, в вольном переводе, «швабра».

Эльфи фон Ш. была взбалмошной особой. Она противилась всей нашей собственной, внутренней дисциплине, не признавала авторитета старшей блока, своей «штубенмуттер», и смеялась, когда узнала о существовании «суда». Лениью она от-

личалась невероятной. Кровать ее постоянно убирали старушки, в чью комнату она попала. Оне, для порядка, мыли ее миску и ложку и, в конце концов, стали мыть ее грязное белье, которое она носила, по ее собственным словам, «до потери сознания».

Эльфи никогда не говорила нам, почему она была арестована. Она любила рассказывать о своих связях, о родстве с маркграфами такими-то, баронами такими-то и фюрстами «фонунд-цу». Симпатий она к себе не вызывала, но мы привыкли уживаться с самым неожиданным элементом, и, если бы не ее поведение, она жила бы своей неопрятной жизнью до дня свободы.

Постепенно заключенные женщины стали замечать незнакомые нам раньше явления. Сожительницы Эльфи по комнате рассказывали, что она вставала ночью, уходила из барака и долго не возвращалась. За ней стали следить.

С десяти часов вечера, то-есть с момента, когда по блокам тушилось электричество, женщинам запрещалось гулять и вообще выходить за пределы барака. Эльфи искали по комнатам, в умывалке, в уборной и, наконец, осторожно вышли на двор. Светила луна. Ночь была тихая и ясная. Тепло...

У передней ограды, у самых ворот, стояла высокая фигура «путцволле» в ночной рубашке, и по другую сторону — молодой, маленького роста, солдатик. Его руки, с риском быть израненными о колючки проволоки, которою были в квадратах заплетены ворота, крепко обнимали заключенную. Долетали какие-то слова, шопот, смех.

Очевидно, свидание было подготовленным, и солдатик проскользнул к нашему блоку в паузу между двадцатиминутными интервалами, в которые делался обход лагеря.

Сожительницы Эльфи вернулись в комнату и легли на койки, молча поджидая ее. Девушка вернулась скоро. Вошла ти-

хо, на цыпочках, и бросила на свою постель круглую коробку с папиросами, спички и шоколад.

На следующее утро «суду чести» были пред'явлены обвинения и доказательства недостойного поведения «швабры».

Мы собрались, выслушали и, приняв во внимание возраст сожительниц Эльфи, очень строгих старушек, отнеслись к обвинению не скептически, но с осторожностью. Вызвали Эльфи. Она пришла, румяная, веселая, растрепанная, в грязной блузке и ни разу не стиранных крапивных штанах.

Девушке было передано все, что нам рассказали старушки. Она залилась беспечным хохотом. — А какое вам всем собачье дело? Я — хозяйка своего имени и своего тела. Мне родители не смели запретить делать, что я хочу! Катитесь вы все к чорту! Мне нужны папиросы, и я люблю сласти. Каким путем я их добыла, вас не касается.

Фыркнув нам в лицо и сделав неприличное и вызывающее движение телом, «швабра» вылетела из комнаты.

Цинизм признания того, что мы даже не могли предположить, считая, что «аристократическая» Эльфи просто флиртует с солдатами, привел нас в оцепенение. Это был позор! Позор, который ложился на всех женщин, всех девушек из лагеря Вольфсберг. Этому должен быть положен радикальный конец.

«Суд» продолжил заседание. Вскоре был вынесен приговор, который должны были привести в исполнение следующей ночью. Из каждой «корпорации» были выбраны сильные и бесстрашные молодые особы. В отряд для экзекуции вошли и некоторые члены суда. Всем были розданы белые платки для того, чтобы завязать ими головы. Для всех были заняты и розданы синие «тренингансцуги», трикотажные куртки и штаны, которые немцы употребляли, как верхнюю одежду, для спортивных состязаний. Их имели многие женщины.

После вечернего построения и переклички, экзекуторы не пошли спать в свои комнаты, а собрались в одной, соседней с Эльфи. Она, очевидно, ничего не подозревала. Около полуночи «швабра» опять выбралась из комнаты и пошла к воротам. Из-за дверей барака, через стекло, «комиссия» утвердила все подозрения. Когда Эльфрида вернулась в свою комнату, причмокивая и с наслаждением грызя шоколад, двери открылись, и в помещение вошли шесть одинаковых фигур, в одинаковых синих «тренерках», с белыми платками на головах. Эльфи уже лежала на своей койке и буквально не успела крикнуть, как ей уже был зажат рот, и в воздухе свистнули кожаные ремни. Порка продолжалась недолго, но очень эффективно. Известное место, назначенное для подобного вида взысканий, было исполосовано вдоль и поперек. Вслед за тем два ведра холодной воды были вылиты на дергающуюся, рыдающую фигуру и все постельные вещи...

Шесть теней исчезли и быстро, почти ползком, разбежались по своим комнатам. «Тренерки» были сорваны вместе с платками и спрятаны под соломенными мешками.

Освободившись от крепких рук, Эльфи спрыгнула с кровати и с диким воплем бросилась в комнату к фрау Йобст. До утра она там рыдала, угрожала, проклинала и требовала наказания виновных.

«Старшая» должна была утром, еще до построения, сообщить «моське», маленькому сержанту-майору, о происшедшем. Перекличка была отложена. Завтрак не выдали. Часов около одиннадцати, наконец, открыли наш блок, и в него вошли фрау Йобст, сержант-майор, четыре солдата и наш кипер.

Построили. Сержант-майор вызвал Эльфи фон-Ш. и приказал ей перед всеми нами рассказать, что с ней произошло. Рыдая и поднимая выше меры свою юбку, «швабра» рассказала о «терроре».

— Причина? — спросил деловито «моська».

Эльфи молчала.

— Желает кто-либо об'яснить причину порки этой молодой особы? — спросил он таким же деловитым и сухим тоном.

— Да! — вырвалось из сотни горл.

— Вы желаете выслушать обвинения? — еще суше сказал сержант-майор, обращаясь к Эльфи.

— ...Нет!

— Вы можете опознать тех, кто вас порол?

— Н-н-н-е-т!

— Дисмист! — гаркнул моська, распуская нас из строя, и прибавил. — Какое нам дело, что происходит в бараке? А насчет солдат позабочусь я!

Безобразия после этого прекратились.



Случай Элизабет Буцины, конечно, нельзя сравнить с «судом» над Эльфи фон-Ш. Он нам в особом свете показал одного из офицеров ФСС, прибывшего в наш лагерь в тот памятный день, 18-го июля, когда я получила мою единственную посылку, и когда я узнала о расстреле генерала Михайловича.

Возвращаясь к тем событиям, я вспоминаю мою реакцию. Вернувшись в комнату и выплакав свое горе, я внезапно решила пойти в ФСС и потребовать свидания с Зильбером. Разговор с ним, расписка, которую я ему дала, встали передо мной, и мне хотелось бросить ему в лицо все, что я почувствовала. Храбрость? Нет! Простой порыв отчаяния и, возможно, взрыв протеста, который накаплился в течение времени.

Выскочив в открытые ворота нашего блока, я быстро пробежала десяток шагов до входа в барак ФСС. В дверях я столкнулась с незнакомым офицером в чине капитана, который, с

юмором осмотрев меня с ног до головы, сказал: — А это что еще за фигура?

В лагерной черной рубаше, но в немецких бриджах и сапогах, я, наверно, выглядела странно и вызывала смех у тех, кто меня не знал и не знал, что весь мой гардероб состоял только из этих реликвий прошлого и лагерного тряпья.

— Я хочу немедленно говорить с сержантом Зильбером.

— Его нет. Он больше десяти дней тому назад отправлен в санаторию для легочных. Что вам от него нужно?

Мой порыв остыл. Ни с кем, кроме Зильбера, я не могла говорить о том, что во мне кипело еще секунду тому назад.

— Кто вы? — спросил капитан.

Я назвала имя, фамилию, чин, номер по лагерю и повернулась, чтобы улизнуть от дальнейших расспросов.

— Очень приятно. А я — капитан Шварц. Ваш новый «пен-офисер». Буду от ФСС заведывать всей внутренней жизнью лагеря! — Заметив мое нетерпение и желание уйти, он прибавил: — Не будьте такой строптивой, «блонди», я вам еще понадобится.

На лице капитана Шварца блуждала улыбка. В ней было много юмора и иронии.

— К вам сегодня прибывают новые женщины. Среди них есть один фрукт... Ну, в общем, вы сами увидите. Гуд бай!



«В общем», я «увидела».

Новоприбывших, после осмотра, который происходил в «английском дворе», доставили к нам незадолго перед вечерним построением. Оне были «чем-то новым» в нашем зоологическом саду. Первой бросилась в глаза рыженькая, очень красивая женщина лет сорока, прекрасно одетая, с детским, херувимским выражением на лице и в ясных, громадных, по-кукольному голубых глазах. За ней англичане (!), внесли шесть чемо-

данов! Добротных, кожаных, тяжелых чемоданов. Такие к нам еще не попадали!

В этой небольшой партии все дамы были хорошо одеты, в выглаженных костюмах, белоснежных блузках, в туфлях на высоких каблуках, в тонких чулках. Наша «шпионка», Гизелла Пуцци, произведшая в свое время сенсацию яркой подкраской лица и такими же яркими итальянскими светрами и платочками, теперь совершенно померкла в наших глазах. Эти дамы... оне были причесаны у парикмахеров, и от них пахло духами!

Второй странной особой была тоже рыжая, но крашеная женщина с черными, восточной формы, глазами. Она стояла в стороне от прибывших и нервно курила. Фрау Йобст, принимавшая их от нового капитана, Шварца, выглядела более, чем смущенной. По выражению ее лица и жестикующий, мы поняли, что она почему-то поставлена лицом к лицу с очень тяжелой проблемой.

В переключке новые не участвовали. Их отвели, оставив вещи в коридоре барака № 1 нашего блока, в лазарет, на физический осмотр.

Часов около восьми вечера в окно нашей комнаты просунулось лицо херувима с рыжими волосами, и раздался совершенно детский, девочки лет четырех, голос: — Ко овде говори српски? Я сам Джинджи. Дай да се упознам! (кто здесь говорит по-сербски? Я — Джинджи. Давай знакомиться!) — все с невероятным немецким акцентом.

Не могу сказать, чтобы я была любезна с этой рыжей головой, и, после всего пережитого в этот день, меня раздражал и запах духов, и яркая краска губ, и подведенные глаза, а больше всего этот аффектированный детский голос. Тем более, что сербская фраза, вероятно, для убедительности, была закончена совсем непечатным ругательством.

— Приходите завтра! — резко ответила я. — У нас не принято знакомиться через окно, и мы привыкли уважать вечерний покой каждой комнаты. Неприглашенные сначала стучат в двери и просят разрешения войти.

— Я тебе не разумела! — растерянно ответила рыженькая. — Я мало говорим и разумем сръпски. Я сам мислила ти будеш радостна!

Милая, милая «Джинджер» Ш., рыженькая, получившая эту кличку так, как я получила свою! Меня все англичане звали «блонди», что меня приводило в ярость, Анне-Мари Ш. нравилось быть «Джинджи». Это, как она говорила, ее молодило.

Впоследствии мы стали большими друзьями, и все женщины, даже «высокоморальные старушки», партийки, осуждавшие всякую вольность, подмазку, анекдоты, обожали эту «рыжуху» и старались, чем можно, облегчить ее жизнь.

Джинджер была шпионкой. Настоящей, большой шпионкой немецкой армии. В партии она не состояла и вела работу, как патриот. Она говорила превосходно на шести языках и немного болтала по-сербски и русски. До приезда в Вольфсберг она содержалась сначала в особом отделении при штабе английской армии, где прошла через «фабрику лимонада», то-есть старательное выцеживание всех сведений, затем короткое время была в Вене, где ее «выцеживали» американцы и французы, и только потом уже была отправлена к нам. Отношение к ней было «деликатным». Находясь под арестом в штабе и в тюрьме, она еженедельно имела визит парикмахера, могла отдавать свои платья в чистку и до Вольфсберга ни разу не нарвалась на грубость. По происхождению она была из дипломатической немецкой семьи. По профессии мирного времени — драматическая артистка.

Но вернусь к тому вечеру. После моего ответа, голова Джинджер исчезла в темноте ночи, и мы, обитательницы нашей

комнаты, погрузились в тихие разговоры. На столе лежали пришедшие посылки. Моя коробочка и большой пакет Финни Янеж, присланный ее сестрой. По правилу, все делилось на равные части, и затем каждый распоряжался продуктами, как уж мог сберечь и удержаться, чтобы не с'есть все сразу.

Только что мы приступили к этой работе, от которой у всех, а в особенности у «маленьких», Бэби Лефлер и Гизеллы, потекли слюнки, раздался стук в двери.

Вошла бледная и расстроенная фрау Йобст.

— Мэйнэ дамен! — начала она смущенно. — Я пришла к вам с большой просьбой от всех старших заключенных. Среди новоприбывших находится некая Элизабет Буцина. Она, пока я вам не имею права об'яснить причину, находится на «особом положении». Она... еврейка. Греческая подданная... У нее, как мне сказали, отвратительный характер... Она вызывает всех окружающих на скандалы, провоцирует и пользуется своим происхождением... У вас в комнате одна пустая кровать...

Другими словами, нашу «скандальную» комнату принесли в жертву. «Старушки» или «ареопаг», как мы их называли, решили, что мы сумеем по-шекспировски провести «укрощение строптивой», и что у нас для этого достаточно крепкие нервы и «глубокие желудки».

Мои подруги смотрели на меня вопросительными глазами... Я была «старшей», «штубенмуттер». Мне верили.

Фрау Йобст мяла в руках маленький платочек. Впервые я видела в глазах этой женщины затравленность, страх и мольбу.

Мы согласились. Но с одним условием. В случае крайней необходимости — дальнейшее пребывание нежелательной сожительницы будет вынесено на «суд чести».

Через несколько минут к нам в комнату вошла, с переброшенным драгоценным меховым мантио из шеншилей (это летом-то!), Элизабет Буцина.

Вид у нее был непринужденный. Закрыв двери перед самым носом сопровождавшей ее фрау Йобст, она, не выпуская из рук мантию и небольшой чемодан, громко заявила:

— Меня зовут Элизабет Буцина. Я — еврейка и прошу это зарубить у себя на носу. Нахожусь я здесь по недоразумению, которое скоро будет выяснено. Любить меня и жаловать вам не придется. Я презираю «наци» и считаю их всех свиньями! Вас я к ним не причисляю просто из... сожительских причин. Понятно?

Нам было понятно, и мы увидели, что наши желудки, действительно, должны быть глубоки, и нервы — как канаты.

Я вызвала Гретл Мак в коридор. Она была самой старшей среди моих сожительниц. Мы с ней посоветовались и решили, держа ухо востро, не поддаваться на провокации и вести себя так, как будто к нам в комнату вселили просто «одну из нас». Никакой разницы не делать и придерживаться всех, жизнью созданных, правил.

Вернувшись, мы, наконец, приступили к разделу содержимого посылок и разложили его на равные части, включая сюда и новопривышную.

Она сидела на постели и жевала шоколад, который вынула из сумки. Я позвала ее и сказала: — Фрау Буцина, мы всегда делим то, что кто-либо из нас получает с воли. Вот ваша часть.

Буцина встала, подошла к столу и, наморщив нос, посмотрела на ломтики сала, кучки домашних печений, чашки с сахаром, манную крупу, рассыпанную по бумажкам, макароны, картофель и, наконец, мои жалкие сухари, орехи и разрезанные на кусочки румяные яблоки.

— Ах, какая сентиментальность! — фыркнула она презрительно. — «От сердца к сердцу!» Что я должна делать с этими макаронами или картофелем? Прижать их к груди и пла-

кать от благодарности? Заберите их себе, Мне ваша любезность не нужна. Я буду получать еду из английской кантины. Мне это обещали.

Она вернулась на кровать и продолжала есть свой шоколад.

Мы переглянулись. Начало было положено, говорили наши взгляды.



...Вражда была глухая. Не только с нами, Со всем женским блоком. Со всем Вольфсбергом, включая сюда и наших киперов. Элизабет не выходила на построение и перекличку, каждое утро сказываясь больной. Элизабет отказывалась убирать не только нашу комнату, когда очередь падала на нее, но она ежедневно оставляла неубранной свою постель, выходя на двор, и этим заставляла нас застилать ее до прихода английской инспекции. Два раза в неделю мылась и убиралась наша умывалка, уборная и весь длинный коридор. Делалось это покомнатно. Мы все выходили на работу в голландских сабо, старых крапивных брюках, брали швабры и щетки и дружной компанией, с шутками, пением, беготней, делали эту работу так, что она являлась до некоторой степени даже развлечением. Элизабет об'явила мне, что она не будет убирать за «наци-швайн», за нацистскими свиньями.

Никакой еды она из английской кантины не получала, но ее чемоданы, как мы увидели, содержали исключительно пищевые продукты. Тяжелый багаж она предпочла сдать в лагерный вещевой склад. Мы просто интересовались, на сколько времени ей хватит этого запаса.

Конечно, мы расспросили приехавших с Буциной женщин, и нам рассказали, что она не была с ними в венской тюрьме, а пожаловала под конвоем на джипе в последнюю минуту

перед отправкой в Вольфсберг. Никто не знал, откуда она, за что ее арестовали, в чем она обвинялась.

Всю дорогу из Вены, — а путь был длинный и мучительный из-за жары и духоты в грузовике-коробке, — Буцина не разговаривала с арестованными женщинами, а старалась втянуть в разговор сопровождавших их капитана Шварца и сержанта Брауна.

— А они? — спросили мы с интересом.

— Она обращалась к ним по-немецки, по-английски, даже на смеси польского и идиш, но они ее абсолютно игнорировали, как пустое место.

— ..Хммм! — глубокомысленно отметили мы это обстоятельство.

Не раз впоследствии я вспоминала слова капитана Шварца о приехавшем из Вены «фрукте». На первых порах мы думали, что это относилось к нашей Джинджер из-за ее яркой наружности, ее артистической и шпионской профессии, но она была не «фруктом», а ангелом. Ее роскошный багаж таял с каждым днем, и, выпущенная на свободу, она вышла с двумя маленькими чемоданчиками. Все содержимое других, и самые чемоданы, ее драгоценности и меха Анне-Мари Ш. отдавала сержантам ФСС и посещавшим лагерь английским офицерам за папиросы и продукты, которыми она снабжала весь женский барак, в особенности сдавших и ослабевших старушек и молодое поколение.

Мы имели возможность убедиться, что капитан Шварц говорил об Элизабет Буцине.

●

Новый «пен-офисер» сразу же заинтересовался жизнью лагеря. День за днем он посещал блоки, заходил во все бараки, разговаривал с людьми. Правда, не все его шутки были удобоваримы, и за ними скрывались уколы иронии, но какой-либо

недоброжелательностью они не дышали. Капитан Шварц побывал в «бункере» и, найдя там «забытых» людей, которых Кеннеди посадил на день-два за проступки против дисциплины и затем забывал отдать приказ об освобождении, Шварц их выпустил немедленно. Он несколько раз говорил с нашими докторами и вскоре, покинув лагерь на несколько дней, вернулся с большим багажом — медикаментами и хирургическими инструментами.

Он заинтересовался и «самодеятельностью» в лагере. Узнав, что у нас нет театра, который существовал в Вольфсберге в дни войны, когда лагерь был населен военнопленными, он приказал привести в порядок запущенный барак, поправить скамьи и срочно организовать труппу. Наша Джинджер вскоре стала ее примадонной.

Посещение театра совершалось, конечно, под строгим надзором киперов. Первые два ряда в зале давали 40 женщинам, затем садился ряд киперов, затем один пустой ряд, и, наконец, размещались мужчины. Капитан Шварц привез из города меловые краски для декораций, благодаря ему были из склада отпущены старые простыни и мешки для матрасов, на которых эти декорации писались. В мастерских разрешено было делать реквизит. С каким художеством и изумительной изобретательностью из банок от консервов и прочих лагерных отбросов делались доспехи для рыцарей, канделябры, люстры, кубки и т. д.

Любимыми программами были «Ревю-Бродвэй 373», «Вольфсбергиада» и так называемые «Риттерсшпиль», комедии времен Крестовых походов, все переложенные на наши наблевшие темы.



Однажды, обходя лагерь, капитан Шварц зашел и в женские бараки. Быстро пройдя по коридору, он постучался в на-

ши двери. Такие посещения обычно вносили некоторую тревогу в наши сердца. Сразу же предполагали, что кто-нибудь проштрафился, или кого-нибудь поведут на допрос.

Однако, целью его прихода были не мы, а Элизабет Буцина, которая, как мы из их разговора узнали, послала тайком через кипера записку о желании с ним увидеться.

Поговорив с нами, капитан Шварц круто повернулся на каблуках в сторону, как всегда, «изнеможенно» лежавшей на койке Буцины и резко сказал:

— На чем основывается ваше желание со мной встретиться? Из вашей записки я не вижу цели. Не думаете ли вы, что нам с вами больше не о чем говорить? Или... у вас в голове созрел новый...

Он не договорил. Буцина ударилась в слезы, что-то причитая, но капитан вышел из комнаты, громко хлопнув дверями.

«Новый» что? — подумали мы. — «Новый донос», шепнула мне на ухо Гретл. — Увидишь.



Конец июля и начало августа были невыносимо жаркими. В комнатах было душно. Тяжело было спать ночью. Нам разрешили и на ночь оставлять открытыми окна, но их затянули колючей проволокой. Буцина протестовала против «сквозняков» и мелькания света блуждающих прожекторов с сторожевых вышек в окнах, говоря, что не может спать. Каждый вечер у нас были скандалы. Мы открывали окна, а она вскакивала и закрывала их. Все это сопровождалось бранью, в которой мы были не только «наци-швайн», но и похуже.

Прибегать к «суду чести» не было смысла. Ну, мешок на голову, ну, порка. А потом? Мы боялись, что все это будет переведено на «расистскую платформу». Казалось, правда, странным, что Буцина не пользовалась никакими привилегиями ни у Шварца, ни у Кеннеди.

Наконец, пришел день, когда лопнул этот нарыв. Я отсутствовала, будучи на уроке в лазарете. Когда я вернулась в их блок, меня у калитки встретили заплаканные девочки, Бэби и Пуцци.

— Ара, мы больше не можем! Гретл с ума сходит! Финни тоже ревет... Пока тебя не было, эта Буцина устроила скандал, назвала нас всех «продажными уличными девками», порвала несколько начатых нами фуражек и...

— И?..

И... сделала «что-то» посередине комнаты!

— Не-ет! — недоверчиво протянула я. — Почему?

— Мы попросили ее выйти из комнаты, для того, чтобы перетрясти постели и подготовиться для вечерней мойки пола.

— И это было все?

— Пойди, спроси остальных! Будь это наша, заключенная, мы бы ее исколотили, но ее... Кто она, вообще? «Наседка» ФСС?

По дороге в барак я встретила Гретл Мак и несколько «военных» девушек. Оне мне сказали, что решили прибегнуть к «воздействию».

Нужно было действовать и действовать срочно.

К тому времени я уже работала, по своему собственному желанию занимаясь с инвалидами, уча их разным кустарным ремеслам. Капитан Шварц зашел и в мою комнату и застал меня и моих подруг за кройкой и шитьем. Он с интересом рассмотрел разные вещички и даже как бы похвалил.

В нашей комнате царил невозможный беспорядок. Постели дыбом. Одежда разбросана, наши личные вещи тоже. Посередине пола — «корпус деликти» — лужа.

Буцина сидела за столом и что-то жевала. Уже с порога я встретила с ней глазами. Это были не взгляды, а острые шпаги. Было ясно, что разговаривать нам не о чем. Идти к фрау

Йобст, к киперу? Нет. Я предпочла, перескочив через все инстанции, обратиться прямо к «пен-офисеру», к капитану Шварцу.

Он сидел в своем малюсеньком, как кубик, барачке, который поставил на аллее между воротами в женский блок и входом в ФСС. Я постучала.

— Херейн марширен! — ответил его голос. Вошла. Увидев меня, он вдруг улыбнулся хитрой улыбкой и сказал: — А-а-а! Что-нибудь уже случилось? Не говорил ли я вам, что придет время, когда я вам понадобится? Альзо? Ну, садитесь.

— Кэпт'н! Мне очень неприятно... Я боюсь, что вы подумаете...

— Я привык думать после, выслушав, что мне хотят сказать. Итак?

Было мучительно тяжело рассказывать все, от приезда Элизабет Буцины и появления ее в нашей комнате и до сегодняшнего дня и «мокрой демонстрации».

— Уэлл! — протянул капитан.

— Это не жалоба, кэпт'н. Мы не жалуемся. Мы не вмешиваем англичан в наши внутренние дела. В этом отношении мы не отстаем от мужчин. Не будь она...

— Еврейкой, — вставил Шварц, — вы бы набросили ей ночью одеяло на голову и... «дали жизни». Кажется, так говорят по-русски?

Я молча опустила голову.

— Видите, — начал он любезно. — Когда я вез Буцину в Вольфсберг по особому распоряжению, я знал, что произойдет скандал. В первый же вечер, прежде чем определить ее в какую-либо комнату, я советовался с фрау Йобст и сержант-майором. Мы просмотрели списки женского блока, и я узнал короткую характеристику каждой комнаты и ее «штубенмуттер». Мы выбрали вас. В вашем помещении нет «партейгенноссинен» (чле-

нов партии). Ваша комната имела другой дух. Простите за то, что мы вам сделали «испытание огнем». Я знал, что когда-нибудь лопнет терпение, и произойдет инцидент...

...Идите обратно и скажите вашим девушкам, что все будет в полном порядке. Было бы даже в том случае, если бы вы не пришли ко мне, а применили одеяла и кулаки.

— Элизабет Буцина никогда не была на привилегированном положении. Она хуже всех вас. Она хуже всех «наци» в Вольфсберге. Хуже всех «наци» в мире, во главе с Гитлером. Она делала деньги, устраивала свою жизнь, карьеру, предавая нацистам своих единоверцев, братьев по крови, соплеменников.

— Буцина, как ищейка, прикрываясь своим происхождением, отыскивала несчастных, спрятанных, скрывавшихся, затравленных людей. Она влезала им в душу и предавала их Гестапо. Она выдала сотни и сотни евреев — стариков, женщин, детей, и вместе с ними тех австрийцев, венгров или чехов, которые, будучи христианами и человеколюбивыми, скрывали их в своих домах...

— Пойдите, «блонди», и расскажите ей о том, что я вам сказал. Скажите всем женщинам в блоке. Она вам сказала, что попала сюда случайно, временно? Да! Ее скоро заберут. Ее ждет суд, строгий и без милости. Ее судьба будет страшнее судьбы многих нацистов....



Еще до построения мы дружно убрали комнату. Успели вымыть пол. Буцины в комнате не было. Когда на переключку построились 417 женщин, как всегда, в две шеренги по два ряда, вместе с киперами пришел и капитан Шварц. Он шел с ними, как бы считая головы, но, поровнявшись с Буциной, он задержал шаг, остановился и с нескрываемым презрением молча сме-

рил ее с головы до ног. Наступила мучительная пауза. — Альзо? --- наконец, сквозь зубы спросил он.

Элизабет закачалась и упала. Ее подхватили киперы. Срочно были вызваны санитары из лазарета, и Буцину отправили в приемный покой.

...Больше никогда мы не встретились с Элизабет Буциной. Через неделю, прямо из лазарета ее отправили в Грац. Дальнейшая ее судьба нам неизвестна.



ГРУППА «ПИ-ПИ-ЭМ»

Изделие игрушек по моим рисункам и выкройкам в лагере не прекращалось с Рождества 1945 года. При помощи д-ра Брушек и дальше поступал кое-какой материал. Этой работой заинтересовались мужчины, и часто выкройки переснимались и уходили в другие блоки. Весной 1946 года я провела три недели в госпитале. Страшная худоба (при моем росте я весила 101 фунт), боли в желудке и рвота были подозрительны докторам. Меня подвергли осмотру, положив в комнаты, в которых лежали больные раком женщины. К моему счастью, болезнь оказалась далеко не смертельной: нервное воспаление стенок желудка. Лечение было более, чем простым. Вместо лагерной баланды, меня, при помощи добрых людей, к которым обратились наши врачи, подкармливали совсем не диетными продуктами: сырым луком, чесноком, крестьянскими черными сухарями, наконец, салатом из черной фасоли с тыквенным маслом и уксусом. Давали мало, но три раза в день, и мой желудок, пострадавший вследствие нервного напряжения и отвращения к баланде из вонючей капусты, быстро поправился.

За время пребывания в лазарете, я много разговаривала с докторами, среди которых был и старый знакомый, рыжий гамбурганин Эди Х., оперировавший меня в военном лазарете Студенец в Любляне после ранения. Вынув мне с ред-

кой виртуозностью осколок, зашедший под яблоко левого глаза, он сохранил мое зрение.

Доктора предложили мне некоторую работу: заниматься с инвалидами, обучая их кустарным работам.

Конечно, самыми несчастными среди нас, после матерей, оставивших где-то на произвол судьбы своих ребят, были эти люди, пострадавшие во время войны. Карл К., двадцатилетний инвалид без ног, настолько ампутированных, что его невозможно было снабдить протезами, Ханзи Х., слепой на оба глаза, люди с изуродованными лицами, оторванными руками, одноногие, одноглазые, — они имели свои проблемы. Даже при счастливом случае — возможности свободы — не все могли вернуться домой, так как часть их была из Восточной Германии, Судетских краев, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Румынии. Другие, после долгой разлуки, боялись встречи с семьей, рисуя себе, под влиянием общеизвестного психоза инвалидов, картину полной отчужденности, может быть, даже отвращения к увечьям и, главное, полной беспомощности в смысле заработков.

В наших разговорах принимал участие и вечно оптимистически настроенный веселый «гном», д-р Брушек. Он брал на себя все заботы по доставке материала, доктора же должны были переговорить с комендантом лагеря.

Ничто в Вольфсберге так не убивало, как принужденное безделье. Предложение работы я встретила с горячей радостью. У меня было достаточно риска самой остаться инвалидом без руки или глаза, и я помнила все свои страхи и переживания и поэтому всем сердцем хотела помочь тем, кто в этой помощи нуждался, и одновременно занять чем-то свои дни заключения.

После долгих переговоров, разрешение было получено. С марта месяца 1946 года в лазаретной «читальне», в которой,

кстати сказать, не было ни книг ни газет, я начала свое преподавание. Мои слушатели были очень внимательны и старательны. Многие из них никогда ничего, кроме пуговицы к брюкам, не шили и очень неумело держали иголки в руках. Среди первых учеников были только одноглазые и безногие. Применение безруким на первых шагах я найти не могла. От простого солдата и до полковников, все кроили, намечивали и потом, следя за моими руками, сшивали зверюшек обметочным швом. Эти игрушки были замечены англичанами. Солдаты, заходившие ради контроля на «курсы», выражали желание «купить» то собачку, то слоника или жирафа, и происходил обмен. Мои ученики зарабатывали себе папиросы или конфеты.

Курсы, по разрешению начальства, происходили два раза в неделю по два часа. Вскоре у меня оказалось больше учеников, чем могла вместить небольшая комната, и мне было разрешено заниматься пять раз в неделю. Этим я приобрела известную свободу передвижения в лагере. Сначала меня на урок и с урока водил один из киперов, затем я стала ходить одна. Наконец, мне разрешили ходить в лагерные склады для отбора материала среди куч шинелей, кителей, фуражек, старых сапог и кавалерийской упряжи. В склады меня водил д-р Брушек, и мы возвращались с полными руками всякого тряпья. Люди, поделенные на группы, ставили «учительнице» новые требования. Им хотелось делать куклы, в надежде когда-нибудь подарить их своим сестренкам, детям, внукам. Готовые работы собирались на столе в мастерской с записочками — именами их сделавших. Приезжих гостей, посетителей лагеря, стали первым делом водить в нашу мастерскую.

Дело развивалось медленно. Было мало набивочного материала для мелких вещей. Соломой или сеном их «начинять» не удавалось. Для одноруких я выдумала новую работу — плетение дамских сумочек и корзиночек из веревок. На специаль-

ной круглой картонке с зубцами мы натягивали для них основу, а дальше они справлялись сами. Вскоре в Вольфсберге у каждой женщины была сумочка, сумочки лежали в вещевых мешках мужчин, но веревок не стало, даже белье для сушки вывесить было не на чем. Слава о том, что я «все могу», пошла дальше. Я получила совсем неожиданных заказчиков для неожиданной и необычной работы.

Каждый солдат нашей стражи хотел иметь что-нибудь «индивидуальное» в своей форме. Все береты были одного размера, одинаковой формы. Некоторые шотландцы хотели иметь целый блин, другие — по особому фасону, с той стороны, которая была поднята, шире. Им хотелось также иметь более пушистые помпоны из защитной шерсти, и вот наш Джок, а с ним и новый кипер, сменивший ушедшего в отпуск домой «Сонни боя», получивший кличку «Мефисто» за свои золотистые глаза и оригинально поднятые брови, стали приносить заказы: шить фуражки-береты точно по мере и по всем капризам.

На эту работу я получила благословение от рыжего пьяницы — английского квартирмейстера. Капитан приказал выдать мне новые английские шинели, и у меня в комнате закипела работа. Герта, Бэби Лефлер и остальные девушки, вооружившись ножницами, которые нам были выданы под расписку и под мою ответственность, по выкройке, сделанной с распоротого берета, открыли «индустрию» фуражек. Помпоны делались из шерсти распущенных новых носков. Из старых синих кэпи французских офицеров мы умудрялись делать шотландские пилотки, вышивая белой и красной шерстью обод, в виде шахматной доски. Шерсть давали солдаты.

За всю эту работу мы получали от квартирмейстера немного проросшей картошки или котелок сырого гороха. Солдаты давали папиросы, которыми мы делились не только с женским баракком, но и с «С. П.», умудряясь ночью перебросить па-

кетик через все колючие заграждения, рвы, высоченные ограды и прочие препятствия, при помощи пращи, сделанной из двух карандашей и женской подвязки. Правда, иной раз мы просчитывались, и эти пакетики падали между оградами в ров; но риск стоил результатов.

Моя личная жизнь стала входить в какое-то русло. С каждым днем приобретались новые друзья. Проходя мимо блоков, если кругом или по близости не было солдат, я все чаще слышала приветствия от незнакомых мне людей. Морально становилось легче. Чувство, что ты нужна, что ты полезна, доставляло незабываемую радость. Для того, чтобы ее узнать, нужно было видеть всех этих моих безрученек, безноженек и безглазок, их торжество, их веселье, когда им удавалось сделать какую-нибудь вещичку, несмотря на инвалидность, неумелость, неловкость.



Передо мной лежит список моих инвалидов. Я сохранила его. Листок пожелтевшей бумаги, на которой бисерным почерком одного из инвалидов написано: «Инвалиден Бастельштубе» и внизу «Вольфсберг, 4-го ноября 1946 года». В рубрики аккуратно вставлены имена, блок и номер барака, номер заключенного, степень инвалидности и состояние здоровья, как физического, так и душевного.

Перед моими глазами встают эти люди. Вижу их испытанные лица, пустоту взгляда. — Ах! Все равно! Лучше не будет!

Читаю примечания врачей: «Недоедание степени А». Это те, кто едва ползал. «Тяжелое повреждение». «Ампутирован». «Психически расстроен»...

Читаю: Антон Каух. Тони Каух, или Антуан Кош, бывший легионер Сахары, храбрый солдат в дни войны, так называемый «ширмайстор», то-есть тот, кто во время боя подвозил

на первые линии автомобили, полные снарядов и аммуниции, и вечно, ежечасно, ежеминутно, играл в прятки со смертью. Одно попадание и — буммм! Не было бы нашего Тони, не сидел бы он, сам не зная за что, в лагере Вольфсберг - 373.

Этот Тони научился от моего майора русскому языку. Писал он каллиграфически, до последней точки имитируя почерк своего учителя. Этот Тони научил десятка два инвалидов переплетному мастерству, переплел сотни книг и альбомов, покрывку для которых артистически вышивали женщины из моего блока на кусках матрасов, простынь или порезанных на куски народных юбок.

Леопольд Буря. Польди. Мальчик, попавший в Вольфсберг 15-ти лет. Почему? Я думаю, только за то, что он был крепок духом, верил в Бога, ненавидел коммунистов и четырнадцати лет от роду пошел в домобранцы Словении. Польди вырос на наших глазах, как спаржа. Тощий, длинный, вытянувшийся на 27 сантиметров, в штанах, которые ему были до половины икры, ребенок с темными, полными страха глазами. В его рубрике стоит: «Контужен во время бомбардировки. Благодаря быстрому росту, опасность туберкулеза».

Польди научился у нас сапожному мастерству и продолжал заниматься им на свободе.

Лехнер Карл. Здоровенный детина. Пекарь по профессии. Потерял один глаз. Второй отказывается работать не только за два, но и за себя одного. Доктора сказали: — Заставляйте его делать самую мелкую работу. Он нервно больной и полон страха. Он боится употреблять глаз и предпочитает сидеть целыми днями с закрытым, не желая слушать, что от него самого зависит сохранить зрение.

Карл шил черным по черному, делал самые тонкие работы. Карл сохранил глаз и имеет сегодня свою собственную пекарню в Штейре...

Пятьдесят два инвалида. С повреждениями — 22. Ампутированных — 30. Я не забыла их, как они не забыли меня. Мы работали и жили тесной семьей, и многие из них почерпнули силы и знания в этой «П. П. М. Парти», а первая между ними — я.



С ЛЕГКОЙ РУКИ КАПИТАНА ШВАРЦА.

Каким человеком был капитан Шварц — сказать трудно. Однако, если у него в сердце и накопилась ненависть к нацистам в частности и к немцам вообще, если эта ненависть сквозила в его словах, едких шутках и еще более едких анекдотах, которые он любил рассказывать, встречаясь с заключенными, она не проявлялась в действиях.

Перед его «пен-оффисом» не стояли очереди допрашиваемых. Кого он вызывал к себе, он принимал сразу же, усаживал, угощал папиросами, сейчас же иронизируя, что оне, конечно, могли бы быть более подходящими, немецкими или английскими, но он привык курить свои, а оне из... Тель-Авива. Все его, довольно короткое, пребывание в лагере не оставило горечи, и в поступках капитана Шварца было много гуманного, обще-человечного. Благодаря ему, хотя бы внутренняя жизнь стала немного легче.

Правда, питание не улучшалось. Голодовка продолжалась. Как ни странно — женщины ее переносили легче. Мужчины же все больше и больше худели. Но исчезли наказания за разговор через ограду, за приветствия при встрече, участились лекции, и, как я уже сказала, громадным достижением был наш театр, который ежемесячно менял репертуар. Его спектакли по

400 человек в день (столько вмещал барак) посещал по очереди весь лагерь, кроме, конечно, людей из «С. П.».

Шварц ушел от нас перед началом выдач. Нам сказали, что он закончил свой срок службы, был демобилизован и уехал в Израиль. Перед отъездом он скупил за папиросы, к слову сказать, проявив большую бережливость и способность даже торговаться в ироническо-шутливом тоне, массу работ заключенных. Разные украшения из пуговиц и ручек зубных щеток, целый «кофейный сервиз» с миниатюрными, турецкого типа чашечками и подносом, сделанный из консервных банок, обожженных до коричневого цвета и затем гравированных «видами» Вольфсберга, рисунки наших художников, выпуклый небольшой макет лагеря со всеми бараками, затем кучу работ инвалидов: собачек, кошечек, кукол и сумочек.

Забирая вещи, сделанные на моих курсах, он пообещал, что заинтересует нашей работой офицеров У. М. С. А. и квэйкеров. Свое слово он сдержал.

На его место к нам прибыл молодой лейтенант Марш, офицер строевых частей, прекрасно говоривший по-немецки, но, очевидно, уроженец Англии.

Худенький, живой, подвижной и не носивший в себе ничего, сравнивающего его с Кеннеди и его сворой, он, став «пэн-офисером», решил проявить еще больше гуманности в отношении общей жизни в лагере, чем Шварц.

Он вызвал к себе д-ра Брушек и у него, как у квартирмейстера от заключенных, узнал о всех наших нуждах. Он ежедневно в течение недели бывал в лазарете, обошел всех «блок» и «баракенфюреров» — заключенных, побывал на лекциях, в церкви, на представлении в театре и, наконец, вызвал и меня.

— Что вам нужно, для того, чтобы расширить кустарную деятельность?

— Прежде всего свое помещение. Затем регулярные часы работы, не говоря о материале, веревках для сумок, краски для их оживления, «целлюлоле» (бумажная вата) для набивки, старое женское белье для кукольных лиц, тряпки для одежды, клей и бумага для переплетной...

— Подождите, подождите! — прервал он нетерпеливо. — Не все сразу. Начнем с помещения.

Мы начали. Забрав меня из блока, лейтенант Марш пошел по всему лагерю, заглядывая во все бараки, запущенные пустые закоулки. Некоторые из них были заперты. С каким ужасом, вспоминаю, на нас смотрели часовые с вышек, видя английского лейтенанта со стеклом под мышкой, лазающего через разбитые окна в пустые развалины в сопровождении одной из заключенных женщин.

При всем нашем желании мы ничего не нашли. Эти руины были в таком состоянии, что грозили в любой момент развалиться. В блоках негде было повернуться. Лазарет нуждался в «читальне», как и в лишние палатах, так как число больных увеличивалось. Начала косить дезинтерия.

Марш меня утешал — он найдет выход. Вот приедет с очередной поездки в неизвестном направлении капитан Кеннеди, и он с ним договорится — где устроить настоящую кустарную мастерскую.

Я очень недоверчиво относилась именно к этому обещанию. Капитан Кеннеди? Никогда! Для меня? Для инвалидов, этих «наци-швайне»? — Ни за что! Однако, в одно утро, за мной прибежал наш Джек Торбетт и испуганно сообщил, что меня перед калиткой блока ожидают «кэптн Кеннеди и лутенент Марш».

Кеннеди пытливо посмотрел на меня через толстые стекла своих очков.

— Слышал, слышал, — сказал он сердито. — И видел. Капитан Шварц показывал мне работы ваших инвалидов. Это все непрактично. Куклы! Игрушки! Вот корзинки и сумки уже лучше. А обувь сможете делать?

— Сможем! — ответила я, сама поражаясь своей наглости.

— Идите, посмотрите на помещение!

Меня повели к «С. П.». — Что это? — мелькнуло в голове. — Шутка?

— Я тут вам могу отделить одну большую комнату, первую от входа. Она стоит совсем отдельно и не имеет общего коридора с «Специал Пэн». Идемте!

Мы прошли завитую, закрученную колючей проволокой калитку, и вошли в узкий дворик — проход, между забором английского двора и баракком. Направо дверь в первую комнату. В ней несколько опрятных военных коек, покрытых хорошими одеялами, столы и скамьи. Большая печь для топки дровами.

— Здесь... э-э-э... обычно сидят солдаты, которые ждут очереди вступить на стражу или делать обход лагеря. Они, в общем, могут сидеть и в другом помещении.

Кеннеди говорил отрывисто и сердито.

— Я не знаю, чем вы очаровали капитана Шварца и лейтенанта Марша. Они оба, один за другим, приставали ко мне, чтобы я помог устроить эту «петрушку»... вашу инвалидную мастерскую. Может быть, так и надо. Не знаю... Так вот, если вам подходит это помещение...

Подходит? Это верх всех мечтаний. Большая, светлая, по сравнению с нашими бараками, чистая, побеленная комната в шесть окошек по фронту. Правда, фронт упирался в забор ФСС, но света было достаточно. Кроме того, рядом, стена к стене — «С. П.»... Какие возможности!

Как бы читая мои мысли, Кеннеди добавил:

— Ваша мастерская будет отделена от «С. П.» второй калиткой, которую я прикажу поставить, и проволочными заграждениями. Не стройте себе никаких превратных иллюзий. Если поймаю на каких-либо покушениях вступить в контакт с мерзавцами, которые там сидят, капнут вашей мастерской, а с вами и виновными расправлюсь по-своему, так, как умеет расправляться Кеннеди! Может быть, вы для молодого и зеленого лейтенанта Марша «на добро инспирирующая особа», но для меня вы просто «П. П. М.».

Этого конца я не поняла. Что такое «Пи-Пи-Эм», я не знала, но у меня не было времени обижаться. Передо мной и инвалидами лежала большая работа, которая поможет нам перенести зиму. Надежд на освобождение ни у кого из нас не было.

«Пи-Пи-Эм Парти». Такое официальное название получила наша «Инвалиден Бастельштубе» — Инвалидная кустарная мастерская. Любезный лейтенант Марш объяснил мне с легкой улыбкой, что это обозначает.

В английских народных рассказах запечатлена фигура некой женщины, по имени Мэйми, которая наравне с мужчинами сражалась и являлась чем-то вроде женского Робин Гуда. Народ ее называл «Пистол Пакет Мэйми», то-есть Мэйми с пистолетами в карманах. Вот с этой Мэйми сравнил меня почему-то мистер Кеннеди. Сокращенное название — «П. П. М.» было пришито не только мне, но и мастерской, которой суждено было существовать больше года, не только при мне, но и после моего освобождения.

С мастерской шла волокита. Долго не делали второй калитки и не ставили на крыше барака проволочных заграждений — неровен час, «П. П. М.» и ее безногие и безрукие инвалиды полезут по крыше в Спешиал Пэн!

Кроме того, Кеннеди выжидал «разгрузки» и не впустил нас в заветную комнату, пока не прошли все «генеральные выдачи». Мы по-прежнему работали, то в лазарете, то в церковном бараке, когда там не было служб. Предвидя повторение вопроса об обуви, я нашла среди заключенных инструкторов. Три бывших «егеря», словенцы, когда-то охотившиеся по горам и лесам за головами красных партизан, оказались сапожниками. Один был закройщиком высшего класса и когда-то имел свою собственную мастерскую. В столярной лагеря были заказаны грубые колодки стандартных размеров, с тем, чтобы, набивая на них кожу, можно было увеличивать номера.

Мне не хотелось бы, чтобы читатели приняли мое повествование о работе в Инвалидной кустарной мастерской лагеря Вольфсберг-373, как желание выдвинуть самое себя. Я пишу об этом более или менее подробно только потому, что считаю, что самая идея о моральной и материальной заботе об этих несчастных среди нас была как бы перстом Божиим. Маленькая мастерская, в которой работало одновременно не больше 52 человек (они сменялись, и на место уходящих входили новые «ученики»), то-есть всего один процент заключенных, все же привлекла внимание тех, которые не потеряли сердца, не были заражены бациллой слепой ненависти, тех, кто, в своем христианском стремлении, сделали много добра и, найдя отклик в душах почти всех заключенных, проложили новый путь к взаимопониманию и терпимости.

Благодаря этой мастерской, в Вольфсберг стали чаще приезжать «знатные посетители», разные английские делегации и, как я уже сказала, квэйкеры и девушки Союза христианской молодежи. Они воочию убеждались в несоответствующем западной гуманности нечеловеческом отношении к заключенным со стороны членов ФСС, в хищениях, которые создали поголовную истощенность среди женщин и мужчин, а также и во многих

других «мелочах», которые в сущности были тяжелыми и почти непоправимыми преступлениями вольфсберговских «власть имущих».

Наши первые шаги были очень трудными. Приходилось бороться за малейшую привилегию. Капитан Марш работал, не покладая рук. ФСС создавал громадные затруднения в получении инструментов. Шила, ножи для вырезки выкроек, ботиночных заготовок и подметок — все считалось крайне опасными инструментами, уж не говоря о больших ножницах, клещах, кусачках и пр., чем можно было перерезать проволоки для побега из лагеря. Все эти вещи вырывались от Кеннеди поштучно. Каждое разрешение он писал после дней раздумья, и, принимая эти инструменты, я должна была расписываться в девяти местах, в книгах, дневниках, списках и квитанциях.

Однако, постепенно работа стала налаживаться, а одновременно с ней и контакт с «С. П.», который дал нам возможность морально поддерживать людей передачей записок и небольших подарков, в виде табака и папирос, а также и... инструментов, благодаря которым, семь кандидатов на выдачу «избрали свободу» и бежали из Вольфсберга под покровом ночи.

Но я не буду забегать так далеко и постараюсь и дальше, хотя бы относительно, придерживаться хронологии.



СПАСИБО ДЖОКУ ТОРБЕТТУ!

Наш кипер, маленький, некрасивый, кривоногий и носатый Джок Торбетт, за счет физического уродства, был одарен Господом Богом самыми лучшими душевными качествами. Доброта его была неизмерима; он старался, по мере своих сил, облегчить положение заключенных. Мне хотелось бы вкратце рассказать об одном случае, когда он, рискуя своей головой, своей карьерой, оказал нам, нашей комнате, громадную услугу.

Гретл Мак была дочерью мясника из Клагенфурта. В ее посылках нам всегда приходило максимально разрешенное количество сала, смальца и других мясных копченых продуктов. Однако, всего этого было мало. К концу лета 1946 года, очевидно, иссякли в наших организмах последние остатки жиров. Голод стал постоянной болезнью. Мы вставали голодными и голодными ложились спать. Все наши разговоры вертелись около еды. Изредка за работу нам удавалось получить пару картошек, которые срочно варились и жадно поедались. Запах вареного картофеля привлекал соседок; мы не могли с'есть куска, не поделившись с ними. На всю жизнь запомнились глаза молоденькой Фрицци К., нашедшей как-то у нас на столе тонкую шелуху с картошки, которую мы уже проглотили. Увидев эти похожие на грязную папиросную бумагу серенькие кожурки,

она, расширив в восторге большие голубые глаза, сказала: — Какая роскошь! Можно мне их с'есть?

По вечерам, когда в 10 часов раздавалась труба сигнальщика в английском лагере, и мы должны были тушить электричество и ложиться спать, обычно в темноте начинались «с'едобные» разговоры. Говорилось о том, кто и что любит есть, как это готовится, во всех подробностях, а кончалось ревом младших, которые с своих коек взывали: — Мами, твой ребенок голоден! Мами, я хочу домой! Я есть хочу!

Чем нам могла помочь одна посылка в неделю, когда мы ее делили не только в своей комнате, но и подкармливали всех «пифке», то-есть немок, которые, как я, как Манечка И., как Марица Ш., Марта фон-Б., все иностранки, ничего и ни от кого не получали!

Джок Торбетт знал, что мы голодаем. Он хотел нам помочь, но сам не знал, как, а мы знали, что Джок раз в две недели ездит в отпуск в Клагенфурт. Мы знали, что, если бы он только хотел...

Разговор завели с ним во время инспекции, когда он обходил комнаты после уборки. На койках лежали Пуцци и Бэби Лефлер и плакали. Почему? От голода, конечно! — Джок, вы же бываете в Клагенфурте. У Гретл там семья. Отец — мясник. Если бы вы зашли к нему, он дал бы вам немного мяса. Ведь мы мяса не видели целую вечность!

Джок Торбетт сначала категорически отказался и быстро ушел. На следующий день мы продолжали обработку. — Никак нельзя! — сказал маленький шотландец. Если его поймают, он пойдет в «калабуш», его разжалуют, у него будет много неприятностей. Он сам из бедной семьи крестьян и знает, что такое голод, но потерять все то, чего он добился в армии — нет! Но, но, но! Он не может...

Однако, на третий день Джок сам пришел к нам с предложением, что, если мы поклянемся никому не рассказывать, Гретл может написать записочку ее отцу. Записку в три слова: Фатер, битте, фляйш! Он, Джок, не обещает, что он выполнит поручение, но, если все будет идти гладко... возможно...

В субботу, когда Джок сменил «Мефисто», мы знали, что записка поехала к папе Маку, но есть ли у него мясо? Ведь Австрия все еще жила по rationам и карточкам. Сможет ли Джок внести мясо в лагерь? Как он нам его передаст? Ведь и над киперами был контроль, строгий контроль.

Пришел понедельник. Утром нас строил и считал Торбетт. Он избегал встретиться с нами глазами. Инспекцию делал «Мефисто». Вечером опять Джок считал нас, но с ним вместе был и сержант-майор «моська».

Так прошло три долгих дня. Наконец, на четвертый полил, как из ведра, дождь. Нас строили в коридорах, каждый барак отдельно. Киперы разделились, и у нас, как на зло, был все тот же «Мефисто». Лениво и нехотя мы убрали комнату и ждали осмотра.

Под проливным дождем, в защитной, разрисованной «под лягушку» резиновой накидке, к нам в барак зашел Джок и напрямик пошел в нашу комнату, не заходя в две предыдущие. Глаза его были круглыми и деланно злыми.

Из-под накидки высунулась рука и бросила на мою койку, стоявшую у самой стены, большой пакет, издававший острый запах чего-то кислого, испорченного.

— Вот, берите и прячьте, где хотите. Я этого пакета не видел и не знаю, откуда он сюда попал!

И, не осмотрев комнату, дорогой маленький Джок выбежал от нас и быстро прошелся по остальным помещениям.



Мясо!

Мы вскрыли пакет и чуть не задохнулись. Судя по весу, папаша Мак прислал нам килограммов пять телятины и конины. За три-четыре жарких дня оно в бумаге скисло, испортилось. Выбрасывать? Такая мысль не приходила нам в голову. Мы быстро принесли ведра с водой и мыли, мыли, мыли это богатство. Увы, оно не теряло своего зеленоватого оттенка и не переставало вонять.

Днем варить его было невозможно. Мы завернули мясо в чью-то лагерную черную рубаху, запрятали под матрас и оставили «дованивать» до вечера. Только когда блок был пересчитан, заперт на замок, и мы знали, что никто из англичан к нам больше не придет, был разведен огонь из соломы, щепок, тряпок и разного барахла в нашей печи, и в ведре же поставили вариться вонючее мясо.

Все, до последнего кусочка, до последней жилочки, оно было съедено в тот же вечер. Разделено на кусочки величиной в спичечную коробку и роздано всем голодающим в нашем блоке. Вонючий бульон и тот был выпит до последней капли, следы вымыты и убраны.

Никто из нас не заболел. Ни у кого не было ни тошноты ни отвращения. Мы жевали плохо проваренную телятину или кусок резиновой конины и в шутку рычали и урчали, как дикие звери. — Мясссо! — повторяли в восторге. — Настоящее мясссо!

Это только маленький пример доброты Джока Торбетта, который, страдая за нас, не находя возможности внести пакет в наш блок, с громадным риском для себя, хранил его под своей постелью с вечера воскресенья до утра четверга и потом с убеждением говорил нам, что сам Бог послал дождь, для того, чтобы он, Торбетт, смог нам передать этот «дамм стинкин'мит».



Джоку Торбетту были вменены и другие обязанности,

кроме «киперства» женского блока. Он также «опекал» бункер, в котором содержались дисциплинарные заключенные. Работы с «бункерцами» было немного. Сажали на день-два, на неделю, и больше 20-30 человек сразу там не бывало. Джок будил их по утрам, водил из камер в умывалку, наблюдал за их туалетом, разводил по камерам, сопровождал «фрасстрегеров», приносивших им еду, вечером опять пересчитывал и запирали на десять замков и раз в неделю водил в баню.

Джоку было поручено прислеживать и за моей мастерской, с момента, когда нам отвели помещение в бараке «С. П.». Правда, не он один заходил к нам. Обычно в течение дня бывали по очереди все киперы всех блоков. Приходили из любопытства и для того, чтобы что-нибудь выклянчить. Забирая игрушку, обычно небрежно бросали папиросу-две на стол перед инвалидом. Мы не протестовали. Лучше было им и даром давать плоды наших трудов и жить в мире, чем, вызвав неудовольствие, насторожить их наблюдательность.

Наступила осень, туманная, вечно дождливая, вызывающая у нас тяжелый сплин. Заключенные маялись. Полтора года в лагере сказывались на всех. Правда, в ноябре первая, страшная и тяжелая волна выдач была закончена, но раны не заживают так быстро, и люди все еще ходили под давлением страха: — а когда же мой черед попасть в «С. П.» и потом быть выданным красным зверям?

Каждый день кого-то забирали из блока на допрос, и никто не знал, вернется ли он в свой угол, на жесткую койку, в ледяной барак, или очутится за лесом колючей проволоки в «С. П.», за решетками которого вся мизерия «свободной» жизни в лагере казалась раем.

Из окон мастерской, у которых мы поставили небольшие столы, можно было наблюдать за всем, что творилось в английском дворе и перед бараклом ФСС. Наша мастерская, боль-

ше, чем кухня или прачечная, стала центром всех «латрин», всех последних вестей. Среди инвалидов были жители всех мужских блоков и лазарета, так что вечером, после их возвращения с работы, весь лагерь узнавал о том, что произошло за день.

Сначала мы, работавшие в кустарной мастерской, в полдень возвращались в свои бараки на обед и заканчивали работу к 4 часам дня, то-есть к чаю. Однако, по моей просьбе, капитан Марш разрешил, чтобы нам приносили еду прямо в мастерскую. Приближалось Рождество, и, как я уже писала, мы получили массу заказов. При помощи моих «мужских швей», я делала три группы, Снегурочек, принцев и семи карликов, для английского бригадного генерала, для начальника ФСС в Вене и для матери капитана Марша. С ботинками дело шло медленно. Не было швейной машины, и все заготовки шились мелкими стежками на руках. Одновременно делались медведи из английских шинелей, от самых маленьких до громадных, слоны из серых одеял и другие игрушки. Перед Рождеством в блоке «С» должна была быть устроена «выставка» ручных работ лагеря, которую собирались посетить разные важные персоны.

Вскоре нам разрешили работать от 8 часов утра, то-есть после построения, и до 8 часов вечера. Уже весь лагерь был под замком, а мы сидели, кроили, шили, лепили и плели, и только в восемь часов дежурный сержант, с целой связкой ключей в руках, разводил нас поочередно «по домам».

Работали мы охотно. Охотно шли утром в мастерскую и с тяжелым сердцем возвращались на места. Что ни говори — труд наш был свободным. Каждый «творил», что умел и как умел. У одних это получалось лучше и легче, у других требовало много терпения и усилий. Во время работы мы пели, разговаривали, делились воспоминаниями. Слепой Ханзи с изумительной виртуозностью научился набивать уже сшитые фи-

гурки и животных. Для безруких мы выдумали и сконструировали специальные зажимы, которые держали их работу, в то время как правой или левой рукой они шили, тесали, вырезали или плели.

Капитан Марш занес нам несколько немецких книг, и бывший директор драматической секции радиостанции в Берлине, а затем в Софии, ученик и племянник знаменитого Рейнхардта, Пауль Рейнхардт, теперь тяжелый инвалид, читал нам в лицах произведения австрийских и немецких драматургов и стихов Рилке.

За большим общим и за маленькими столиками, стоявшими у окна, согнув молодые, кудрявые или старые, убежденные сединами головы, работали те, кто еще недавно был нервно больным, отчаявшимся человеком. Полковники и рядовые, бывшие судьи и крестьянские парни, доктора наук и полуграмотный Польди Буря — мы были дружной семьей, и нам было хорошо и уютно даже в этой длинной, голой и серой барачной комнате.

К «П. П. М. Парти» англичане стали относиться немного внимательнее. Наша «баланда» была гуще, потому что нам ее несли первым, наш чай — немного слаще. Субботние «цубуссе» — то-есть «прибавки», в виде яблок, леденцов и «бетон-вурста», делились на меньшее количество голов. Вместо пятой части яблока, мы часто получали половину, а затем и целое. Консервную «ливерную» колбасу делили не на двенадцать, а на шесть частей. Приходя вечером в свой барак, я приносила папиросы и маленькие лакомства «младшему поколению». Сам Торбетт, навещая мастерскую по несколько раз в день, якобы для порядка, иной раз подсовывал небольшой пакетик бисквитов или миниатюрный кулечек с сухим чаем.



Наше рабочее помещение, имевшее форму длинного четырехугольника на протяжении всей стены, шедшей в сторону женского блока, вернее его высокого забора, имело ряд окон. Противоположная стена тоже имела два окна и входную, прямо со двора, дверь. Направо от нас была «приемная», в которую вводили вновь доставленных арестантов и производили осмотр. Четвертая стена отделяла нас от умывалки «Спэшиал Пэн'а».

Эта стена состояла из двух рядов досок, и между ними было небольшое пространство, в котором помещались водопроводные и ассенизационные трубы. Она сразу привлекла наше внимание. В первые же дни мы стали прислушиваться к шумам. Очень глухо доносились голоса. По утрам и вечерам умывалка особенно оживала, но днем, когда ее посещали одиночки, иной раз к нам доносился стук. Стали замечать, что этот стук имел свой определенный темп. Морзе! Почти все мы знали азбуку Морзе, и вскоре между нами и людьми из «С. П.» завязался разговор.

Кто-нибудь из инвалидов становился на «цинку» у окон, которые выходили в проход, ведущий к нашим и к дверям «С. П.».

Кому-нибудь поручали отвечать на стук из «С. П.». Через день-два мы имели точный список людей, там находящихся. Некоторые попали туда прямо с воли, не появляясь в лагере. Некоторых мы считали благополучно бежавшими. Оказалось, что они были пойманы при побеге или снова взяты на воле. Человек пять побывало на Турахских высотах и, как нам сообщили путем перестукивания, содержались отдельно даже в «С. П.» и не смели общаться с теми, кто не прошел через руки МВД.

День за днем контакт креп. Мы смелели. Зная приблизительно время, когда англичане отдыхали после смены караулов или после еды, мы стали работать на создании более тесной связи. Испробовали все доски, и седьмая слева оказалась менее всего забитой. Осторожно вынули нижние гвозди. Верхние два за-

менили одним, так что доска стала двигаться, как на шарнире. Ее можно было отводить в сторону. Стуками указали людям из «С. П.», где мы делаем «окно». Доски с той стороны, обшивающие стену из-за умывальников, не сходились с нашей «седьмой». Пришлось делать ход немного вбок. У них инструментов не было — ни молотков ни клещей. Работали вилками, ложками, медленно поднимая ржавые искривленные гвозди. Прошло много дней, пока, наконец, они нам сообщили, что, не бросаясь в глаза и не возбуждая подозрения, они смогут на 45 градусов отводить свою доску в сторону. Попробовали. Оказалась щель, в которую можно было многое просунуть.

О седьмой доске у нас знала вся инвалидная мастерская, но об их доске знали только немногие. Боялись, что кто-нибудь по неосторожности выдаст нашу затею, и тогда всем нашим планам будет конец.

Каждый вечер я сдавала все инструменты дежурному сержанту, но днем клещи и кусачки осторожно, при помощи проволоки, перетягивались в «С. П.», и там что-то ими мастерили. Мы знали, что, если не подготавливается немедленный же побег, то для этого делаются какие-то шаги.

Однажды, идя утром на работу, я столкнулась в узком проходе с странными людьми, окруженными двойной английской стражей. Это были заросшие бородами, длинноволосые парни, в холодную снежную погоду одетые только в подштанники, рубахи и что-то вроде сербских опанков на босую ногу.

По типу эти два парня напоминали мне балканцев. Оставив работу моим ученикам, я поторопилась выйти, как будто бы за материалом в склады. Парни все еще поплясывали на снегу, окруженные стражей. Очевидно, ждали Кеннеди. Проходя, я бросила, как бы невзначай: — Добро утро, брачо! (доброе утро, братья!). Парни оживились, и один из них ответил: — И тебе, сестро!

К полудню от Джок я узнала, что привезли двух хорватов, усташей, скрывавшихся в Югославии в горах и перешедших нелегальным путем в Австрию. Их сразу же посадили в «С. П.».

Усташи! Изверги и убийцы, неприятели хуже немцев! Те, чьи руки обгажены кровью сотен тысяч сербов!..

Странно — зная, что они попали в «С. П.», я не чувствовала к ним ненависти. Мне было их жаль. Они все же были люди. По возрасту судя, попали в ряды усташей совсем молодыми ребятами. Голые, босые, промерзшие и до истощения голодные...

Во время английской «сиесты» мы «выстукали» к стене сидевшего в «С. П.» молодого фольксдойчера, рыженького Пауля Вюста, родом из Югославии, из Баната. Теперь, имея шель, мы могли разговаривать. Я попросила его, чтобы он постарался вступить в контакт с усташами и узнать, что это за люди.

На следующий день Вюст сообщил: — Люди, как люди, госпожа! Напуганы до полусмерти. Их водили ночью к Кеннеди, и он сказал, что их выдадут Тито. Они простужены и голодны. Нашим пайком их не насытишь...

В тот же день, при содействии д-ра Брушека, нам удалось получить из склада, в котором работал хорват, домобранский полковник Брайкович, теплое нижнее белье, лагерные куртки, штаны и ветошки для портянок.

Вечером нас должен был развести по блокам Джок Торбетт.

— Джок, — сказала я ему, отведя его немного в сторону: — Джок, вы видели этих несчастных, оборванных людей? Они из моей страны. Из Югославии.

— Есс! — ответил он мрачно.

— Джок, я нашла среди тряпья для работы, в нашем складе, эти носильные вещи. Передайте им. Они больны и про-

стужены. В карманах курток немного папирос. Сделаете?

— Но! — рявкнул маленький шотландец. — Ничего я не сделаю. Брось сейчас же эти вещи в угол! Их заген Кеннеди — ду коммен «калабуш». Никс виссен!

Я уже знала нашего Джока. Покорно опустила пакет в угол и вышла вместе с остальными в морозную ночь.

На следующее утро мы не нашли пакета для усташей. А в полдень через щель я услышала: — Спасибо тебе, сестра. Бог тебя благословит...

Вскоре в «С. П.» собралась целая «Югославия» — та Югославия, которая так страшно враждовала в годы 1941 — 1945. Там были фольксдойчеры, служившие в немецких «черных» частях, в дивизии принца Евгения Савойского. Там были два усташа, человек десять словенцев-егерей, охотившихся по горам и лесам за красными партизанами. Там были два добровольца, льотичевца, и один... четник, частей воеводы Джуича, молодой мальчишка лет 18-ти, попавший к нам за то, что он сорвал в лагере для Ди-Пи титовский флаг, поднятый на столбе в дни работы репатриационной титовской комиссии. Сорвал его и сжег на глазах у всех. Парнишку арестовали чины ФСС, сопровождавшие титовцев, и прямоком привезли в Вольфсберг, в «С. П.».

Однажды Пауль Вюст сообщил мне, что среди югославов царит вражда. Усташаи не желают говорить с сербами и словенцами. Четник грозит, что он их всех зубами загрызет ночью. Добровольцы держатся в стороне, не вступая в пререкания, и встречаются и говорят только с словенцами.

Странной казалась эта безнадежная, глупая вражда среди людей, которых ожидала одна и та же судьба: по всей вероятности — выдача красным. Хотелось как-то помочь им смягчить сердца. Хотелось открыть им глаза. Хотелось, чтобы общие страдания объединили их, пропагандой вражеской раз'еди-

ненных, детей одной и той же страны, христиан, хоть и поделенных на православных и католиков...

Самым добродушным был рыженький Пауль Вюст. Он не пошел в немецкую армию добровольно: был мобилизован и служил, как служили и другие. Простенький, тихий, он никак не мог понять, за что его посадили в Вольфсберг, а еще меньше — в «С. П.». Он понятия не имел, что титовская ОЗНА искала не его, а полковника Петра Вюста, и что, если нет Петра, может сойти и Павел...

Вюст старался жить в любви и дружбе со всеми югославами. Он так же болел за них душой, как и я, и в минуты наших перешептываний, умолял помочь соединить их.

Перед Рождеством (уже вторым в лагере) я из своих «заработков» собрала папиросы, немного леденцов, табаку из окурков, которые англичане бросали на полу в мастерской, и сделала одинаковые пакетики, разделив все поровну между земляками «спэшиал-пэнистами». С большим трудом все эти пакетики по проволоке были перетянуты в их умывалку, и в сочельник Пауль Вюст роздал скромные подарочки и прочел им мое краткое послание...

На Новый год я получила ответ. На листе бумаги кто-то из югославов нарисовал Белого Орла — символ государства, и в его груди не четыре «С», как в сербском, а гербы всех трех составных частей, Сербии, Хорватии и Словении. Все мои «братья» подписались под этим орлом, и наверху стояло: «Счастливого Нового года!».

Люди в «С. П.» сдружились. Неввероятнее всего — сдружился четник с усташами! Они втроем, вместе, бежали из «С. П.» из Вольфсберга, и этому случаю мне хотелось бы посвятить, может быть, короткую, но все же отдельную главу.



За неделю до Рождества была открыта в блоке «С» лагерная выставка. Работы инвалидов получили лучшие награды: папиросы, консервы, новые носки и полотенца из складов и немного сладостей. Самая выставка привлекла много посетителей. Были опять члены английского парламента, квэйкеры, УМСА, даже какой-то важный австриец в форме новых полицейских. Нам сказали, что он приехал из Вены, и что вскоре австрийские власти займутся проблемой заключенных. Был румяный, полный и веселый бригадный генерал, с сонмом молодых военнослужащих девушек. От него пахло хорошим виски и дорогим табаком. Девушки благоухали. Их ногти адели от лака. Веки были подведены голубой краской, волосы на головах красиво завиты. Оне приходили в восторг от куколок, зверюшек, обуви, сшитой на руках, коробочек, сервизов и сумочек. Все эти предметы им дарились сияющим от гордости и счастья мистером Кеннеди.

Среди вольфсберговцев, выставивших свои буквально ювелирные работы, брошки, кольца, браслеты и пр., сделанные из самого необычного материала, был и некий Ф. Эберле. И он и его жена попали в наш лагерь по странной причине. Австрийцы по происхождению, они десятки лет жили в Словении и в Любляне имели свой большой и богатый ювелирный магазин. Перед приходом красных, в дни капитуляции, они бежали. В Австрии, попав в лагерь, они были подвергнуты детальному осмотру и обыску. Кроме пары колец на руках Эрики Эберле, кольца с бриллиантом Ф. Эберле и его золотых часов, никаких драгоценностей найдено не было. Где же они оставили все свое богатство? К приходу партизан люблянский магазин был пуст.

Последовал арест и допрос. Затем Эбенталь. Затем Вольфсберг. И капитан Кеннеди и его «корешки», партизанские офицеры из Любляны, хотели во что бы то ни стало добиться при-

знания — где было спрятано богатство семьи Эберле? Политических вин за ними не было. Они не были партийцами.

На брошки из меди, с изображением замка Вольфсберг, гордо высившегося над городом и лагерем, носившими это же название, на кольца, сделанные из стали и алюминия, найденных в мусоре — на все эти работы ювелира Эберле обратили внимание именитые гости. Узнав, кто он, генерал захотел с ним поговорить. Кеннеди метался. Этой встречи он никак не желал. Так Эберле к генералу и не вызвали.

Квэйкеры и офицеры УМСА обещали вскоре вернуться в лагерь и помочь нам развить работу. В глаза бросался молодой квэйкер, лет тридцати, капитан английской армии, представившийся нам, как Рэкс Рааб. Он хорошо говорил по-немецки, сказав, что фактически он не англичанин, а бур. В его разговоре, жестах, внимательности и ласковом взгляде глаз чувствовалось искреннее дружелюбие.

Рэкс Рааб посещал ежедневно выставку и заходил в нашу мастерскую. Нас поражало его нескрываемое презрение к Кеннеди, его достоинство, с которым он говорил с сержантами ФСС, его желание быть с нами «на равной ноге». Он садился на скамьи рядом с инвалидами, которые вначале невольно косились и отодвигались, разговаривал с ними задушевно и всегда, прощаясь с нами, каждому с подчеркнутым уважением пожимал руку.

Выставка была закрыта за два дня до Рождества. Все вещи разобраны, поскольку их хозяева сами не претендовали на их сохранение в своей собственности. К Рождеству прибыло довольно много посылок, и вольфсберговцы покупали «сувениры», веря в то, что «любят они нас или ненавидят, но когда-нибудь должны будут нас выпустить».



ВОЛХВЫ...

Сочельник 1946 года был холодным, неприветливым, серым. Туман, который, как влажное одеяло, покрывал Вольфсберг и его окрестности, сменился северным ветром. Он все заледенил, заморозил, гулял, швыряясь снежной пылью в разукрашенные сказочными узорами маленькие, тусклые окна бараков,

Елки нам принесла наша рабочая команда только накануне. Разделили по одной на барак. Уже неделями женщины, по вечерам, читая легенды о Рождестве, соблюдая субботы Адвента, делали елочные украшения для всего лагеря. Материалом служили бумажная вата, серебряная бумага из папиросных коробок англичан, которую нам приносили киперы, и, наконец, цепи из нарезанной лентами жести консервных коробок, которые нам поставляла английская кухня. Их делала инвалидная мастерская, имевшая ножницы для жести.

В нашей «Бастельштубе» красовались две малютки-елочки. Одна, фута в три — для «С. П.». Мы, пользуясь отсутствием Кеннеди, выклянчили у капитана Марша разрешение украсить деревцо и с небольшими подарками, через Джока Торбетта, отправить в «Специальный загон». Этой елочке мы посвятили особое внимание и любовь. На всех языках, на которых говорили люди в «С. П.», были написаны поздравления, хоралы и

наш, православный, тропарь. Для каждого из 74, там бывших, была повешена папироса, леденец, шоколадка. Молодой лейтенант Эбергард-Буби Зеефранц, тяжело раненый во время войны в голову и теперь страдавший ужасными припадками болей и явлениями, похожими на падучую болезнь, с виртуозностью списал с моего молитвенника «Рождество Твое, Христе Боже наш», старославянскими буквами. Он же слепил из мятой бумаги, художественно раскрасив ее серой и коричневой красками, пещеру, вырезал из открыток, которые нам дали киперы, изображения Богоматери, Младенца и Св. Иосифа, сделал ясли. Для полной картины не хватало только волхвов. Где-то он нашел одного, но отсутствовали два других, и Буби предпочел прилепить хоть одну фигуру. Это было для нас, для мастерской. Для мастерской была и совсем малюсенькая, не больше двух футов, голубая елка, которую нам привез милый капитан Рэкс Рааб.

В этот сочельник к нам приходили английские солдаты за своими заказами: медведями, слонами, плетеными из бечевки сумками и куклами. Исполненные мною три группы — Снегурочка, принц и семь карликов, были торжественно упакованы и увезены.

Мы заканчивали работы и торопились аккуратно прибрать помещение и, с разрешения капитана Марша, провести вечер вместе, одной инвалидной семьей.

Часов около четырех, когда ранние сизые сумерки стали смягчать убожество вида лагеря, к нам, с котлом чая, не вошли, а ворвались «фрасстрегеры». На этот раз это были молодые солдаты. Они находились в состоянии страшного возбуждения.

— Только что вернулся в лагерь Кеннеди... Знаете, кого он с собой привез?

— Кого?

— Генералов, осужденных на смерть в Италии! Генерал-

полковника Эберхарда фон-Макензена и генерал-лейтенанта Курта Мельцера!

Благодаря радио-передачам, нам было известно, что эти генералы и фельдмаршал Кессельринг обвинялись в отда-нии приказа о расстреле 300 красных партизан в Италии. Мы слышали о том, что все трое были осуждены на смерть через повешение, и что этот приговор был санкционирован верхов-ным военным судом «четырех»... Итак, к нам прибыли «настоя-щие военные преступники» — люди большого значения, боль-шие полководцы, солдаты в настоящем смысле этого слова. Смертники!

— ...И что же? — спрашивали мы взволнованно.

— Говорят, что их повесят тут, в нашем лагере...

— Не может быть! Какой ужас! Какая подлость! За три-ста коммунистов?

— Они прибыли в закрытых английских машинах, под большим конвоем. Их сопровождали танкетки - быстроходы. Сейчас они в «оффисе» у Кеннеди. Весь лагерь уже знает. Все высыпали из барakov и стоят у проволоочной огады!

Мы вышли в проход и, сгруппировавшись у калитки, ста-рались заглянуть по направлению блоков. Напротив, в бараке рабочей команды, и рядом, в блоке эсэсовцев, все мужчины стояли смирно, плечо к плечу, в несколько рядов. Лица их были мрачны, как тучи.

В этот вечер генералов мы не увидели. Ко входу в поме-щение ФСС был подведен автомобиль-вагончик. Мы заметили только две высокие, быстро промелькнувшие фигуры и тол-стую, увесистую — Кеннеди.

Машина медленно двинулась по главной аллее, пере-секла «Адольф Гитлер Платц» и пошла к бункеру, перед кото-рым уже стояли часовые.

Осужденных на смерть генералов поместили в этой маленькой лагерной тюрьмишке, из которой срочно были выставлены все дисциплинарные заключенные.

Мы вернулись в мастерскую. Все праздничное настроение потухло. Опустив голову на стол, по-детски всхлипывая, плакал молоденький поручик Зеефранц. В углу собрались солдаты и тихо запели песню о солдатской смерти.

К нам вошел Джок Торбетт. Он шмыгнул посиневшим от мороза громадным носом и на своем немецко-английском волапюке, не обращаясь ни к кому лично, как бы говоря сам с собой, сказал:

— Это «никс гуд». стыдно! Какой же это «Кристмасс»? Разве это «кригсфербрекер»? Генералы! Они — солдаты! Такие же, как и я. Они исполняли свой долг, как я исполняю свой. Ферстекен? Понимаете? Мне стыдно... а Кеннеди — свайн!

Мы все посмотрели на малюсенькую елочку и ясли...

— Джок! Сержант Торбетт, пожалуйста! Вы же заведуете бункером. Джок, отнесите эту маленькую елочку генералам. Пусть и у них будет «Кристмасс», может быть, в последнее Рождество в их жизни!

Милый Джок отвернулся. Видно было, что он трудно и тяжело думал. А мы в это время быстро завернули, как фантик, листом бумаги нашу елочку, кто-то совал последние папиросы, кто-то пару теплых носков, чья-то рука положила шоколадку. Буби Зеефранц, стыдливо вытерев детские слезы, все еще всхлипывая, протянул свою Вифлеемскую пещеру и сказал: — Вот, я прилепил одного из волхвов, а два других... сами к нам пришли...

Однорукий капитан Гартманн написал поздравление двум осужденным на смерть. Мы быстро, один за другим, подписывались. Джок в полглаза следил за нами и, наконец, сказал: — Оллрайт, дамм ю олл! Я не могу сказать «нет». Я --- не ФСС. У

меня нет ненависти. Я такой же солдат, как и эти генералы. Я отнесу ваши подарки — пусть меня самого сядят в «калабуш»!

На Джоке была его дождевая пелерина. Как когда-то наше мясо, Джок забрал елочку, тихо позванивавшую самодельными украшениями, пачку свечек, наши преподношения и исчез. В дверях он застыл на секунду и, сделав «страшное лицо», буркнул: — Никс спрекен! Никому не говорите!

В 8 часов вечера к нам пришел «Мефисто». Его посещение было официальным. По приказанию капитана Марша, он забрал елку и подарки для «Специального Загона». Через час началась церемония в лагере. Как и на первое Рождество, заключенные вышли из бараков, столпились у оград и пели рождественские песни и хоралы. Мы тоже вышли и слушали. На душе было смутно, тяжело... Из «С. П.» доносился молодой, звонкий голос черногорца-четника, Душана Р., певшего с сербским акцентом «Рождество Твое, Христе Боже наш»... Его пение нестройно поддерживали другие голоса.

Это было не наше, а инославное Рождество, не мое, не майора Г. Г., не Манечки И., не четника Душана, но мы его чувствовали так же, как и пять тысяч заключенных лагеря Вольфсберг - 373, как его почувствовал наш друг, маленький сержант Джок Торбетт, фермер из Шотландии.

К десяти часам вечера нас развели по баракам. В английском «дворе» раздавались крики, пение, стрельба из ружей. Там веселились солдаты и их «дамы», привезенные из окрестных сел и города Вольфсберга. В этот вечер не тушили света, не кричали с сторожевых вышек «Лайт аут!».

Меня ожидали подруги. На столе стоял сладкий и, по случаю праздника, заправленный молоком чай. Из посылок Гретл Мак и Бэби Лефлер, которые мы берегли для Рождества, были разложены немного подсохшие «штруцели» с орехами и ма-

ком, сушеные фрукты, печенье. На печи клочкотала вода в консервной банке, и варился картофель. К нам пригласили рыженькую Джинджер и еще несколько «пифке» - немцы, как мы с Маней, не имевших посылок. Мы представляли собой довольно печальную группу. Все были под впечатлением приезда осужденных на смерть. Было страшно подумать о том, что у нас, посередине лагеря, будет поставлена виселица, и на ней позорной смертью кончат жизнь честные солдаты...

На следующий день мастерская не работала, но, во время инспекции, Джок, войдя в мою комнату, сунул мне в руку небольшой серенький конвертик. На нем было написано «Мастерской военных инвалидов». Внутри были стихи, написанные генерал-полковником Эберхардом фон-Макензен. Внизу подписался и генерал-лейтенант Мельцер.

Вот они, в свободном переводе:

БЛАГОДАРНОСТЬ.

Два пожилых немецких генерала,
Уже услышавших судьбы своей слова,
Пришли сюда для смертного привала
В Сочельник Светлого Христова Рождества.

От всех отрезанных, в тисках глухой тревоги,
Их грубо бросили во власть враждебных стуж,
Но дух их бодрствовал, ища поддержку в Боге,
В последней Пристани для одиноких душ...

Без дружбы ласковой, без церкви — им казалось:

— Кругом враги! И мысль жила в одном:

Наступит казнь, и смертная усталость

Все пережитое покроет вечным сном.

Однако... лег на землю синий вечер,
И где-то дрогнул старой песни звук,
И, как предвестие совсем нежданной встречи,
У двери камер чей-то тихий стук...

Стоял солдат... простой английский «Томми»,
 Но с ним вошел для смертников Христос:
 Сердечный дар здесь, в этом страшном доме,
 Согрел собой отчаянья мороз!

В руках солдата скромные подарки
 От неизвестных и чужих людей,
 Как символ Праздника, торжественный и яркий,
 Как свет звезды для тех, кто шел за ней...



Забыто все — и горечь и усталость,
 Вошло тепло в иззябшие сердца,
 И, как бы мало жить нам ни осталось,
 Мы этот дар запомним до конца!

Ген.-оберст Э. фон-Макензен.

Ген.-лейтенант К. Мельцер.



РАССВЕТ?

A-a-a... die Kommission ist da!
Alte Weiberl und Kriegsverbrecher
Schmeist man al' in einen Becher...
A-a-a... die Kommission ist da!

Эту песенку пел весь лагерь, когда пришла весть, что, наконец, что-то сдвинулось с мертвой точки, и в Вольфсберг - 373 прибывает австрийская политическая комиссия, которая займется регистрацией заключенных, сбором всех сведений, кратким расследованием обвинений и вин и возможными шагами к освобождению.

На мелодию детской песенки, обучающей ребят алфавиту, мы все пели: «А, а, а, приехала комиссия! Старых баб и военных преступников бросают в общую чашу. А, а, а, приехала комиссия!».

Хотя нам и сообщили, что приезжие — полицейские, что большинство из них — бывшие «кацетчики», пострадавшие за время нацистского режима, все же это был сдвиг. В нем мы видели обуздание неограниченной власти одного не-человека, капитана Кеннеди, алиас Хаима Хильмана, который, как тиран, был единым властителем наших судеб.

Комиссии уступили театральный барак. За столами сидело человек десять в новых, но напоминающих старые авст-

рийские, времен Франца Иосифа, полицейских формах. Им были переданы списки заключенных по баракам, блокам, комнатам и по именам. Начали с самых малочисленных, с женщин. Нас водили по-комнатно. Наша была шестой по очереди, и мы уже знали, что с полицейскими можно разговаривать, что они не рывкают, не бранятся, и отношение их более чем человеческое.

За несколько дней до приезда комиссии, у нас произошел очередной лагерный скандал.

ФСС привез в лагерь картину, которая показывалась во всем мире и называлась «Мельница смерти».

Этот фильм состоял из множества отрывков, демонстрировавших ужасы нацизма, главным образом, снятых в первые послевоенные дни, когда были открыты все «кацеты», и когда союзнические части встречались с живыми мертвецами, до состояния скелетов исхудавшими заключенными, которые уже больше не могли двигаться; находили бесчисленные братские могилы, открывали «фергасунг камеры» — газовые камеры смерти, и крематории, в которых сжигались бесчисленные же тела умученных и умерших.

В этой картине раскрывались жуткие сцены из лагерей Белзена, Дахау, Маутхаузена, Ораниенбурга и других.

ФСС издал приказ, чтобы все заключенные, без исключения, посетили кино-сеансы в нашем театре, и даже серьезно больных должны были принести из лазарета на носилках на эти демонстрации.

Фильм был ужасный. Я верю, что многие, сидевшие в Вольфсберге, наивные маленькие мужчины и женщины, понятия не имели о том, что происходило в концлагерях, в этих «мельницах смерти». Содержание этой картины было достаточно потрясающим и не нуждалось в добавлениях, а еще менее в подтаковке фактов или в бутафории. К сожалению, те, кто монтиро-

вал и собирал материал, не были удовлетворены правдой и хотели ее усугубить. Простым глазом можно было различить, где были сняты люди, истощенные до неузнаваемости, до потери человеческого образа, где были настоящие трупы, а где дело шло о грубо сделанных куклах или фигурах из белого гипса.

Сеанс за сеансом, люди, выходя из театрального барака, делились впечатлениями и спрашивали друг друга, зачем эта бутафория? Самым же драматическим моментом было посещение очередной демонстрации одним из кинооператоров немецкого генерального штаба, который снимал раскопки в Катынском лесу.

Когда перед его глазами замелькали знакомые картины, те, что он сам снимал, а объяснявший содержание картины штабс-сержант ФСС А. Блау объявил: «смотрите, вот эсэсовские свиньи, под наблюдением международной комиссии, откапывают бесчисленные тела в окрестностях Белзена», — этот человек, сам напоминавший своей худобой одного из изможденных «кацетчиков» нацизма, встал и крикнул: — Это ложь! Это Катынь! Это — зверство коммунистов, а тела — польских офицеров. «Эсэсовские свиньи» — не военнопленные, а чины немецкой армии. Они под оружием! Зачем вы лжете, мистер Блау? Вам не достаточно правды? Чем вы лучше пропагандистов Гитлера?

Поднялся шум. Люди повскакали с мест. Многие стали демонстративно уходить. Киперы заматались по всему помещению, стараясь закрыть дверь и призвать к дисциплине. Чины ФСС выскочили и побежали к своему барaku. Демонстрация фильма была прервана.

На следующий день к Кеннеди вызвали злополучного кинооператора. Больше его никто из нас не видел. Через день или два, киперу было поручено собрать его вещи и выбросить в мусорную кучу на сожжение...

Об этом случае женщины - заключенные поторопились рассказать австрийской комиссии. Те слушали, опустив глаза, и разводили руками. Мы же радовались. Надеялись, что этот и подобные случаи заставят австрийские власти, как они ни ненавидели нацистов, поторопиться с решением вопроса о пяти тысячах людей, сидящих полтора года и дольше в лагере, без суда и следствия.

Допрашивали нас коротко. Имя, фамилия, год рождения, место рождения, состоял или нет в партии национал-социалистов, участвовал ли в «путче», который привел к «Аншлуссу» Австрии и Германии, в чем обвиняется, в каких частях служил во время войны, на каком фронте и, если был штатским, где работал за все время войны.

Когда пришла моя очередь, и допрашивавший меня полицейский узнал, что я — югославская подданная, в партии не состояла, в «путче» не участвовала и ничего общего с «нацизмом» не имела, он развел руками и спросил: — Как вы сюда попали?

Я вкратце об'яснила суть дела. Он сделал отметку и отпустил с миром. Так же были встречены Эрика М., Манечка И., Марта фон-Б. и другие иностранки.

— Вам здесь не место! — говорили они всем нам. Было ли это утешением? Могли ли мы надеяться на долгожданную свободу? И еще один вопрос: — Куда нам, иностранкам, идти из Вольфсберга? Без друзей, без денег, без документов...

Вскоре нам всем стало ясно, что Кеннеди и его окружение совсем не сочувствовали приезду австрийской политической комиссии и ее работе. Уходило из-под рук доходное место. Исчезала неограниченная власть. Чины ФСС не могли присутствовать на допросах, производимых австрийскими властями. Единственное, что им еще оставалось делать — это скрывать людей в «Спешиал Пэн'е», куда не могли проникнуть ав-

стрийцы, потому что «там содержащиеся являлись элементом, интересующим союзников». Поэтому ежедневно пополнялись ряды несчастных, сидевших за десятью замками.



В мастерской работали, не покладая рук. Главным образом, теперь — обувь. Увеличилось количество колодок. Нам привезли старенькую, почти развалившуюся швейную машину, которую тотчас же привели в порядок лагерные мастера. Минимум пятьдесят пар полуботинок из шинелей, с резиновыми, тонкой кожи или веревочными подметками, выходили из инвалидной мастерской в лагерь каждую неделю. Списки нуждающихся в обуви приносили старшие блоков. За недостатком подметок, вскоре мы стали сшивать дратвой в одно целое по 8-10 слоев старых тряпок. Делалось это аккуратно, мелкими и частыми стежками, и подметки выдерживали долгое время.

Наши соседи из «спецалки» имели от нас пользу, и, как нам передавали через «трещину», то глухое отчаяние, которое владело ими из-за их отрезанности, исчезло.

Как я уже писала, туда попадали люди часто прямо с воли. Так, в «С. П.» были помещены румынские летчики, пилот и радист, бежавшие из Арада на военном аэроплане-истребителе. Что общего было у этих молодых людей, бежавших от коммунизма, с нами? Но Кеннеди получил их каким-то образом и собирался отправить на Турахские высоты. Никто в лагере не знал бы о румынах, если бы не щель между мастерской и «С. П.».

Летчики написали прошение об освобождении или хотя бы о переводе в лагерь на положение обычных заключенных, до установления их личности и причины побега. Это прошение было подброшено австрийским полицейским. Каково было изумление нашего тирана, когда, при посредстве австрийских властей, в лагерь прибыли сначала представители Интернационального Красного Креста, а затем сам начальник ФСС! Румыны бы-

ли сейчас же переведены в лагерь, а затем их забрала контрразведка, и вскоре они очутились на свободе. Если бы несчастные попали в руки СМЕРШ'а в Турах, их судьба была бы запечатана.

Одним из первых действий австрийской комиссии было выделение «райхсдойче», то-есть немцев. Вскоре свыше 700 немцев были отправлены в Германию, в тамошние лагеря по «денацификации». Им на смену пришел эшелон австрийцев, сидевших в Германии. Это были, главным образом, солдаты и офицеры Африканского корпуса, «роммелевцы». Никаких политических вин за ними не числилось, и небольшими группами они стали покидать лагерь.

Отъезд немцев произошел торжественно. Забыты были все споры, ссоры, обиды и взаимные обвинения в совершенных политических и военных ошибках. «Пифке» снабдили вещами. Их приодели коллеги по комнатам, по баракам. Нам рассказывал сам капитан Марш, что он был до глубины души поражен картиной выхода немцев из лагеря. Они шли с своими скромными вещичками за плечами, но строем и блистали военной выправкой. Весь лагерь кричал им вслед: — До свиданья! Желаем счастья на родине! Счастливого пути!

Многие плакали. В последний момент, когда в грузовики принимали немцев инвалидов и стариков, им бросали подарки, последние продукты, записывали адреса, просили писать и не забывать.

С немцами уезжал один из самых популярных заключенных, бригаденфюрер (бригадный генерал) Г. Хармелл. Он, благодаря исключительной храбрости, из простого фельдфебеля за дни войны дошел до чина генерала. Его на руках вынесли из блока его боевые товарищи, простые солдаты, унтер-офицеры и офицеры, распевая полковую песню.

Кеннеди предпочитал отсутствовать в такие дни. Отправку немцев производил капитан Марш. Он с ними был и на вокзале в городе Вольфсберге, откуда отходил поезд-эшелон. По его словам, весь город сбежался провожать «пифке». Те австрийцы, про которых говорили, что они ненавидят сидящих в Вольфсберге-373, особенно немцев, столпились на вокзале, на путях, разбили кордон английских солдат и, одаривая отъезжающих домашними продуктами, кричали: — Братья! Возвращайтесь обратно!

В моей жизни тоже появились маленькие просветы. Прежде всего я стала получать письма. Это было громадной радостью. В феврале 1947 года я получила первую весточку от большого друга, черногорца, офицера Добровольческого корпуса Дмитрия Лютича, майора Петра Мартиновича. Как он в Италии, в Эболи, узнал о том, что я в Вольфсберге — осталось для меня тайной. С тех пор и до моего выхода на свободу, я регулярно, каждые две недели, имела от него теплые, подбадривающие, дружеские письма. За ним стали мне писать и другие товарищи по военным дням. Я узнала, что маленькую посылку мне и майору прислала русская, сестра милосердия корпуса фон-Паннвица, сама бедная, жившая в лагере для Ди-Пи в Шпиттале на Драве, тоже случайно узнавшая о русских за колючей проволокой. Мы узнали, что Олечка, жена майора Г. Г., слава Богу, жива. Она была «репатриирована» из советской зоны Германии в Югославию и списалась с друзьями за границей. Олечка грозилась так или иначе бежать из «Титославии», и у майора появилась надежда на счастливый конец всех наших перипетий.

Он все еще был «на свободе» в лагере и не знал, что подходил тот черный день, когда и его заберут в «С. П.». Его курсы русского языка развивались. Ученики делали блестящие успехи. Среди них были офицеры генерального штаба, врачи, исто-

рики, инженеры. Из женщин самые большие шаги делала милейшая «двойной доктор» с двумя дипломами, Роз-Мари Фритц; с ней мы и сейчас переписываемся на русском языке, которым она овладела в совершенстве.



В феврале 1947 года произошло два события.

К нам привезли третьего осужденного на смерть, фельдмаршала Кессельринга. Фон-Макензена и Мельцера мы не видели на протяжении полутора месяцев. Иной раз сержант Торбетт приносил нам от них записочки, и мы сейчас же выполняли их просьбы. Сделали им небольшие коврики перед койками: пол в камерах был бетонный. Были отправлены две пары мягких туфель, которые с любовью и уважением сшили ампутированные, безногие солдаты, когда-то служившие под их командой. Наконец --- две кепки, над которыми долго корпела я. Оба генерала приехали к нам в некоем подобии штатского.

О прибытии Кессельринга в лагерь нам удалось узнать заранее: кто-то из англичан проговорился. В бункере приготовили еще одну камеру, побелили ее и поставили двойные решетки на окно.

Февральский день был пасмурным и туманным. С утра заключенные маялись, как неприкаянные. Глаза людей, гулявших вокруг своих бараков, были устремлены к большим воротам. Наконец, в английском дворе появился легковой военный автомобиль, за ним джип, затем «Бетфорд» и несколько мотоциклеток.

Легковая машина проследовала в лагерь заключенных. Она остановилась перед ФСС, и из нее вышли Кеннеди, еще два офицера и, наконец, фельдмаршал Кессельринг.

Лагерь загудел. Все внешние ограды чернели от собравшихся людей. Кессельринг вышел спокойно, с достоинством. Лицо его было холодно и спокойно. Из помещения ФСС появил-

ся полувзвод английских солдат. Их построили перед «смертником». Кеннеди занял вызывающую позу. Подпрыгивая ногой, руки в бока, он долго смотрел в лицо фельдмаршала. Затем вынул из верхнего кармана бумагу и стал читать. Два офицера ФСС и солдаты стали смирно. Прочтя какой-то приказ, Кеннеди подошел к фельдмаршалу и стал его «демонтировать», срывая с него знаки отличий, кокарду с его фуражки и, наконец, фельдмаршальские погоны, которыми, как бы случайно, ударил бледного, как смерть, Кессельринга по лицу.

Давно мы уже не слышали такого «волчьего воя». Лагерь взвыл. Люди потрясали оградами, рвали руками колючие проволоки. — Свинья! — кричали они. — Скот! Будь ты проклят!

Из английского двора, очевидно, заранее подготовленные, отчетливым шагом стали входить вооруженные солдаты.

Была дана короткая команда. Кессельринг повернулся и медленно пошел по направлению бункера. Рядом с ним, стараясь поймать его шаг короткими ножками, меняя их, подпрыгивая, пошел Кеннеди; сзади офицеры и несколько солдат. Шествие замыкал, с ключами в руке, наш маленький Джок. Лицо его пылало, глаза бросали искры гнева. Было видно, что он мучительно страдал из-за своей невольной роли во всем этом позорном «спектакле».

Проходя по аллее лагеря между рядами блоков, Кессельринг молча подносил правую руку к фуражке без кокарды, отдавая честь своим боевым товарищам, и, опуская ее, делал успокоительное движение, как бы говоря: не надо! Это — судьба!..

Ряды мужчин за проволокой становились смирно и, блок за блоком, барак за барак, встречали и провожали кортеж, на этот раз, вместо воя, криками приветствия и «урррра».

Заперев еще одного «смертника» в бункере, Джок пришел к нам в мастерскую и с порога, сняв берет с головы, ударил его изо всей силы о пол.

Он не имел слов. Молча, расширив глаза, он глядел на всех нас и разводил руками. Было видно, что в его солдатской душе бушевала буря. Постояв с минуту, он согнулся, подобрал свой головной убор и пошел к дверям, затем круто повернулся и сказал: — Ду мекен презент фор фельдмаршалл! О-кэй?

В начале февраля к нам в мастерскую привели некоего А. Мюллера, пожилого человека, штатского, не инвалида, но болевшего самой тяжелой формой «лагерной холеры». Небольшого роста, сгорбленный, лет пятидесяти, с большими черными глазами, казавшимися еще больше и чернее за толстыми стеклами очков, он не сумел войти в нашу инвалидную семью.

Привел Мюллера милейший доктор Бургхардт. — Помогите! — сказал он. — Человек страдает галлюцинациями и манией преследования. Он — на пороге самоубийства. Дома его ожидают жена и трое детей. Он вообразил, что жена ему изменяет, что дети не его... Когда-то, как говорят, это была счастливая семья. Сидит он по глупости. Нашел в лесу брошенные во время капитуляции два карабина и немного аммуниции. Принес домой, в село, в котором был писарем у бюргемейстера, и спрятал. Возможно, что кто-то видел и донес. Приехали англичане, сделали обыск и арестовали Мюллера, как «вервульфа», повстанца против оккупационных западных частей.

Я была в это время занята проблемой слепого Ханзи Г. и безногого Карла К. Они жили в лазарете, как беспомощные инвалиды. Оба считали себя конченными, ненужными, грузом для общества, ни на что не способными. Мне едва удалось уговорить их вступить в «Инвалиден Бастельштубе». У Ханзи временами бывали припадки, взрывы бешенства. Слепой, он отли-

чался ужасающей силой, был в состоянии одним рывком сломать кому-нибудь руку, ударом ладони свалить с ног. Он был женат, и его где-то, в лагере Ди-Пи, ожидала жена, молоденькая и красивая. Ханзи знал, что все лицо его обезображено синими разводами, следами пороха от взрыва. Его глаза были жуткими, зияющими красными впадинами, так как веки были сожжены. Он ненавидел себя и временами ненавидел весь мир.

Подобные проблемы были и у Карла К., потерявшего ноги буквально до живота. У него, кроме душевных переживаний, были постоянные физические страдания из-за полного несварения желудка. Этих двух нужно было опекать, посвящать им много времени и внимания. Их нужно было сдружить. С большим трудом это удалось. Странная это была пара и, под конец, трогательно объединенная. Сильный, как медведь, слепой Ханзи был ногами Карла, а Карл — его глазами. С легкостью, как перышко, слепой брал на «закукорки» своего зрячего товарища и нес его через весь лагерь из лазарета к нам в мастерскую, на лекции, в церковь.

В тот период, когда к нам попал Мюллер, я передала его «ад'ютанту по делам мастерской», Буби Зеефранцу, и просила уделить больному «холерой», как можно, больше времени. Мюллер был мрачен, неразговорчив. Он не хотел работать. Его не привлекали ни игрушки, ни плетение сумочек, ни сапожное мастерство. Сидел в углу и мрачно, через толстые стекла, следил за нами.

Большим ударом для всех нас был арест и отвод в «С. П.» членов нашей мастерской, словенцев-егерей, Тони Краля и Регитника. Мы волновались за них, боясь за их судьбу, как, впрочем, и за судьбу всех в «С. П.». Их арест и увод прямо из мастерской еще больше потряс Мюллера.

Волей или неволей, мы должны были в его присутствии

пользоваться «щелью» для разговоров с «специалами». Черные мрачные глаза следили за нами...

Инструменты, как я уже писала, все были взяты под расписку, каждый вечер пересчитывались и складывались, в присутствии дежурного «разводящего» англичанина, в особый ящик, на который вешался замок.

В один из туманных февральских дней, в самом конце месяца, утром, из «С. П.» обратились к нам с просьбой передать им клещи-кусачки и ножницы для жести. Мы знали, что там велась медленная, кропотливая работа, подготовка возможного побега. Вещи были, при помощи проволоки, переданы в умывалку «С. П.».

Инвалиды сидели спокойно и работали. С чувством и прекрасной дикцией Рейнхардт читал нам стихи Рилке. Вдруг с треском открылись двери, и к нам ворвался Джок Торбетт в сопровождении двух капралов.

Он стал напротив меня и, не говоря ни слова, долго и, казалось, уничтожающим взглядом буквально пронзал мои глаза. Затем так же резко подошел к стене, граничащей с умывалкой «С. П.», и... стал считать доски, касаясь каждой пальцем: — Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь...

У нас перестали биться сердца. Я почувствовала, как на моем лбу появились крупные капли холодного пота. Что делать? Три с половиной месяца мы хранили свою тайну. Кто мог ее выдать?

Стараясь не показать волнения, все продолжали работать, низко опустив головы. А Джок, резко позвав своих капралов, не сказав нам ни слова, вышел из мастерской, заперев за собой дверь на ключ.

Вызвать «С. П.» людей было не таким уж легким делом: не всегда кто-нибудь бывал в умывалке. Как им дать знать? Как

получить обратно клещи и ножницы? Почему Джок не попробовал отодвинуть предательскую доску? Что делать?

В чьих-то руках появился молоток, у другого гвозди. Несколькими ударами доска была прибита крепко на место. Инвалиды продолжали работать. Никто не задал вслух ни одного вопроса.

Раздались шаги, и послышалась английская речь. Щелкнул в замке ключ, и в мастерскую вошел капитан Марш. Его сопровождали Джок и те же капралы. Я встретила глазами с маленьким сержантом. В его взгляде был как бы вопрос...

Капитан Марш подошел к стене, отсчитал седьмую доску и попробовал ее двинуть. Он потребовал ломик и стал подбивать его в щели между досками. Он отсчитал седьмую доску с другого конца. Те же напрасные усилия.

Молчать было опасно. Я встала и подошла к нему.

— Чтонибудь случилось, капитан?

Мне стоило больших усилий выговорить спокойно эту фразу.

— Нет! — с необычайной для него резкостью отрезал Марш. — Ничего еще не случилось.

Мы все вернулись к работе. Англичане шопотом поговорили о чем-то и вышли.

— Клещи! — мелькало в голове. — Ножницы! Что, если сейчас потребуют сдать инструменты или начнут их считать по списку?

Полдень. Принесли еду. Впервые мы не чувствовали голода. После «обеда» я, взяв «пасс», пошла к д-ру Брушеку. Найдя его в складе, выложила все, что было на душе. Старичок выслушал с тихой улыбкой на лице. — Ничего страшного не произошло? Ну, и не произойдет! Разве вы не видите, что добрый дух — Джок показал вам, что надо было делать? Разве вы не послушали его и не забили доску?

— Но инструменты?

— Инструменты? Что стоит в списке? Ножницы и клещи? Написано, какой они величины, как выглядят? Нет? Ну, так будут и ножницы и клещи!

Добрый старик дал мне, достав из ящика, небольшие обычные клещи для вытягивания гвоздей и старые, ржавые ножницы. Я их спрятала во внутреннем кармане шинели и торопливо отправилась в мастерскую.

Я и сегодня не знаю, почему англичане действовали так медленно. Была ли это со стороны капитана Марша некая симпатия к нам, задерживал ли все Джок Торбетт?

Обыск был произведен только около четырех часов дня. Нам не дали никаких комментариев; просто пересчитали и ушли.

На следующий день опять появился капитан Марш и вызвал меня к себе в канцелярию.

— Ара, — сказал он спокойно. — Я вынужден мастерскую переселить. Для этого освобождается один барак в блоке «Джи». Я убедился, что с вашей стороны не было нарушения правил и дисциплины, но близость с «С. П.» чересчур соблазнительна. Завтра выселят мужчин из барака, и послезавтра перенесите кустарную мастерскую в новое помещение. Поняли?

Это было самым меньшим, минимальным, чего мы могли ожидать. Мы считали, что нас разгонят, закроют мастерскую, прекратят работы, начнут допрашивать, может быть, посадят в «С. П.».

Был ли Марш исключительным человеком — я уж не говорю о сержанте Торбетте, — или наша мастерская стала такой необходимостью для престижа, для лица лагеря, что ее нужно было сохранить, сказать трудно. Мы исполнили приказание и на второй день переселились в великолепно расположенный

барак в соседнем с женским блоке. Барак выходил всем фронтом на «Адольф Гитлер Плац». Из окон мы могли наблюдать за прогулкой, на которую больше не выходили, увлекаясь работой. По другую сторону коридора, в трех небольших комнатах, поселили часть работавших инвалидов. В одной поместили переплетную, в последней — заготовочную.

Вместо наказания, мы совершенно неожиданно выгада-ли, но «С. П.» утратил многое. Правда, там навсегда остались кусачки и большие, тяжелые ножницы для жести.

С памятного дня Мюллер перестал приходить на работу. Оказалось, что он проявил признаки тяжелого помешательства. Его поместили в отдельную комнату в лазарете. Недели через две несчастный повесился. Только после его смерти Джок сказал мне с глаза-на-глаз, что болевший манией преследования Мюллер выдал нас капитану Маршу. Идя на работу, он шмыгнул в ФСС и, без стука войдя к Маршу, не ожидая никаких вопросов, торопясь и захлебываясь, сообщил о «доске на шарнирах», через которую «целый человек мог пройти в «С. П.».

Доску с той стороны заколотил сам Джок до личного появления Марша. История была забыта.



ЖИЗНЬ ТЕКЛА ДАЛЬШЕ...

Австрийская политическая комиссия зарегистрировала заключенных в Вольфсберге-373 и уехала в Вену, увозя с собой целые сундуки бумаг. Теперь, казалось, нужно было ждать того, что, по словам англичан, должно было произойти «своевременно или несколько позже».

Капитан Кеннеди все больше отсутствовал. У него произошло несчастье. Говорили, что он с громадным нетерпением ждал появления на свет маленького «Чарли», которого ожидала его жена, дородная, крупная блондинка из крестьянской зажиточной семьи. Кеннеди сам рассказывал, «покупая» в нашей мастерской для своего будущего наследника игрушки и заказывая малюсенькие ботиночки из белых лайковых перчаток, привезенных им самим, что от своей «Апфельштрудель» (насмешливое название для австрийских недалеких жен) он ожидает освежения крови, здоровых и многочисленных детей.

Через «лагерную латрину», однако, мы узнали, что роды были несчастными. Мать едва удалось спасти, а младенец родился удушенным пуповиной, три раза обвившейся вокруг его шейки. Наши говорили, что исполнилось проклятие, брошенное на голову Кеннеди и его потомства теми, кого он выдавал, теми, кого он замучил.

Благодаря его частому отсутствию, лагерь, за исключением питания, которое никак не могли наладить, жил лучше. Участились лекции. Театральная группа готовила постановку за постановкой. Самым большим успехом пользовалось ревю «Трамвай Вольфсберг-373», в котором высмеивались все, начиная с чопорного полковника, коменданта лагеря, изредка проходившего в своем шотландском килте — юбочке, в конюшни, чтобы навестить лошадей, до «ретивых» сержантов ФСС, до самого Кеннеди, чья фамилия, разбитая на слоги, благодаря каринтийскому диалекту, приобретала другое значение. Артисты, встречаясь, по ходу действий, якобы на свободе, якобы уже отбыв свой срок в Вольфсберге, присматривались друг к другу и говорили:

Kenn' i' Di', oder kenn' i' Di', net? (Kenne ich Dich, oder ken ne ich Dich nicht), что значило: — Знаю я тебя, или я тебя не знаю? И другой отвечал в восторге: — О! Кеннеди? Ну, конечно! 373!

Прекрасно прошли постановки «риттершпиля» — «Горе тому, кто лжет!» и классическая драма Грильпарцера «Jederman», в которой играла наша маленькая и очень талантливая Бэби Лефлер.

Большой соединенный хор готовил к Христову Воскресению большую пасхальную мессу композитора Палестрины. Сыгрывался оркестр.

И в то же время в бункере жили три генерала, ожидая своей судьбы. В первые теплые дни вывели их во дворик. Через прозрачную ограду из колючей проволоки мы смотрели, как самый старший по возрасту генерал-полковник фон-Макензен сидел на скамеечке. Самый молодой, Мельцер, шутил с охраной, веселыми ирландцами, с оранжевыми перышками на беретках. Он учил их ходить немецким парадным маршем, выбрасы-

вая вытянутую ногу. Команды подавал фельдмаршал Кессельринг.

У меня сохранились все стихи, серьезные, вдумчивые или шуточные, на темы Вильгельма Буша, которые нам присылали фон-Макензен или Мельцер, благодаря нас за внимание, за вещи, которые мы им делали. Иной раз их тайком приносил Джок, но несколько было передано самим капитаном Маршем.

Марш рассказывал, что, по распоряжению бригадного английского генерала, осужденные на смерть стали получать пищу из английской кухни. Им приносили английские газеты и книги. Жизнь их в бункере была тихая. Спали они в разных камерах, но днем могли ходить друг к другу «в гости» и играть в карты. После инцидента с «демонтированием» фельдмаршала, никаким унижениям они больше не подвергались, но Кеннеди запомнили навсегда.

Однажды Кеннеди лично пришел в бункер и роздал генералам какие-то анкетные листы, потребовав срочно их заполнить. Ни один из них даже глаз не поднял, пока он к ним обращался. Кеннеди вернулся через час. Анкеты лежали на столе не заполненные. Он вернулся еще раз и, наконец, рывкнул на Кессельринга: — Что вы, наконец, думаете? Вы сидите и читаете газеты, а я жду, когда вы заполните эти листы!

Кессельринг поднял очки на лоб, взглянул равнодушно на пылающее от гнева, и без того краснощекое, толстое лицо Кеннеди и сказал:

— Мейн либер герр! Насколько нам известно, нас привезли сюда для того, чтобы повесить, а не для того, чтобы заполнять анкеты! Вам отлично известно, где и когда мы родились. Вам остается лишь вписать дату смерти. Однако... не забудьте заранее снять с нас мерку для гробов. Это, вероятно, тоже входит в ваши обязанности и является вашей привилегией!

Кеннеди схватил в охатку анкеты и выбежал, взбешенный до белого каления.

На генералах свою месть он больше насыщать не мог. Ими было заинтересовано и английское и американское командование. Приближалась уже вторая годовщина со дня капитуляции Германии; давно уже прошел Нюренбергский процесс. Первая жажда крови затихла. Западные союзники оттягивали день казни и подготавливали возможность для помилования и замены пожизненным заключением. Дважды в бункере их навещали английские генералы и проводили долгие часы в разговорах.

Первые теплые дни в марте месяце были ознаменованы странными работами на «Адольф Гитлер Плац». Пришли английские саперы и стали рыть ямы. Затем в эти ямы были вбиты столбы. Высокие, из хорошего твердого дерева.

Лагерь опять взволновался. Что это? Виселицы?

Из окна нашей мастерской мы внимательно наблюдали за всем. Эти столбы были видны и со двора и из окон бункера. Вероятно, за работами следили и генералы. Только два столба. А где же третий? Будут их вешать не всех трех вместе или... кто-то из них помилован?..

Капитан Кеннеди лично посетил место работы и о чем-то говорил с саперами, размахивая руками.

Из блока в блок, из барака в барак передавалось: — В случае, если дело идет к казни — устроить поголовный бунт. Он, конечно, будет сразу же подавлен, но пусть о бунте в Вольфсберге узнает весь мир!

Столбы простояли несколько дней, как будто о них забыли, но затем на противоположном конце плаца стали рыть еще две ямы и поставили еще два столба. В чем дело?

Принесли сети. Оказалось, что, благодаря хлопотам капитанов Марша и Рэкса Рааба, нам устроили «спортивный плац». Разрешено было играть в «хандболл». Принесли мячи,

предложили сформировать команды. Правда, на голодный желудок не очень весело было бегать, но спортсменам пообещали увеличить паек, и, кроме того — молодость брала свое.

Нам рассказывали, что Кеннеди всеми силами противился и не соглашался с этим новшеством, но, когда над ним взяли верх, он постарался все зрелище сделать особенно «пикантным» и поиграть на нервах генералов и всего лагеря. Поэтому ямы рыли и ставили столбы не заключенные рабочие команды, а английские саперы, — чтобы секрет раньше времени не выскочил из мешка.



ЕЩЕ ОДНА КОМИССИЯ

В середине марта в лагере узнали, что ожидается приезд югославской, титовской комиссии, которая получила право произвести допрос некоторых лиц, на которых она накладывает вето и требует их выдачи.

Не у одной меня сжалось сердце. Однако, я себя утешала тем, что кто-то будет еще мной интересоваться. В лагере сидели высшие офицеры дивизии принца Евгения Савойского, бывшие чины Гестапо и «С. Д.», хорватские офицеры, чиновники министерства этой, созданной немцами, республики, пролившей море крови. Тут были венгры, служившие в частях, оккупировавших Срем и Банат в Югославии. Мне не хотелось думать о том, что могло меня ожидать или произойти. Мы жили своей рабочей жизнью, которая давала нам громадное моральное удовлетворение. Благодаря доверию, которое мне оказывал Марш, мне удалось взять в мастерскую и Манечку И., которая, умея шить на машине, делала нам все заготовки для ботинок. Вниманием Рааба и девушек-квэйкерш, мы получили достаточно материала, и весь лагерь готовил подарки домой. Впервые заключенным было разрешено отправить домой «зимние вещи» и выписать летнюю, более легкую одежду. Разрешено было в посылки с вещами вложить сделанные в Вольфсберге «сувениры». По всем баракам, не только у нас, мастерили, делали, с

любовью, с надеждой, с трогательной неловкостью. Выкройки животных и игрушек расползлись по всему лагерю.

Помню тот день, когда «латрина» сообщила, что югославская комиссия прибыла. Состояла она из трех офицеров, майора Остойи Звездича (Оскар Штерн из Загреба), какого-то безымянного для нас поручика-писаря и майора Озны Марьяна Трбовшека, партизана, бывшего дирижера маленького джаз-ансамбля Люблянской радиостанции.

Весть пришла около полудня, и к вечеру мы получили официальное подтверждение. На бараке ФСС вывесили об'явление, которое затем прочли и киперы, что на следующий день на допрос югославской политической комиссии вызываются...

Следовали имена трех крупных офицеров и затем мое! После меня еще человек пятнадцать.

Что писать о том, что я пережила в эту ночь, на следующее утро и до 11 часов дня, когда за мной пришел сержант-майор «Моська»!

Женский блок провожал меня в то утро на работу, как человека, идущего на казнь. Инвалиды сидели с постными лицами. Работа не клеилась. Не было шуток; все громко и глубоко вздыхали. По линии «латрины» мы знали, что ровно в 8 часов утра был вызван первый полковник, командир одного из полков дивизии принца Евгения Савойского. Через час — другой. Через час — третий. Он задержался довольно долго. Допрошенных не задерживали в ФСС, не вели в «С. П.». Они возвращались в бараки.

Когда «Моська» пришел за мной, он хотел меня ободрить, пошутить со мной и не нашел ничего более подходящего, как сказать: — Ду, «блонди» — капут! Югослав - коммунист... и показал жестами, как меня будут вешать.

Его забавная рожица сморщилась в гримасу, и, махнув рукой, он прибавил: — Никс спрекен! Кип юр маут шат! Сэй

— никс виссен! Молчи-де и на все отвечай, что ничего не знаешь!

По дороге он мне быстро сунул в руку полную коробку, двадцать штук, папирос «Кэпстен».

Не скрою, что у меня мутилось в голове. Ноги казались ватными. Мне стоило громадных усилий держать себя в руках и не показать свое волнение и... страх. Страх перед грядущим, перед неизвестным, перед возможностью быть выданной в Югославию и кончить так, как кончили другие, выданные из Вольфсберга.





**Учебная стрельба из револьверов по движущейся цели
(члены «Саботажной» команды).**

СЕМЬ ДОЛГИХ ЧАСОВ.

— Что такое храбрость? — сказал мне много позже фельдмаршал Кессельринг. — Это умение так замаскировать, так скрыть страх, что даже сам его больше не видишь.

Мне так хотелось быть храброй, не показать «товарищам» ни словом ни выражением лица тот хаос, который царил в моей душе.

«Моська» провел меня до помещения ФСС и передал высокому, молодому английскому поручику, который, очень вежливо сказав: — Хау ду ю ду, лэди! — повел меня по коридору дальше.

Топот наших ног гулом отдавался в темном проходе, в который слепыми глазами глядели плотно закрытые двери комнат следователей.

Поручик стукнул в одну из них и широко ее распахнул. За письменным столом сидел молодой майор, в незнакомой мне, новой, титовской форме, с красными звездами на пуговицах и на лычках воротника. Он молча поднял глаза и смерил меня взглядом несколько раз с головы до ног. Так же молча, жестом, он указал мне на стул напротив себя.

За другим столом, роясь в кипе бумаг, сидел тоже майор. Толстый, лысый, лоснящийся. Бывший фабрикант шеколада Штерн — теперь «Звездич». Я его знала по Загребу.

Английский поручик подошел к печи, присел на треногую скамеечку и стал деловито шуровать кочергой в догорающих углях.

Царило напряженное молчание. Направо от меня — окно. Мне был виден угол двора женского блока. Фрау Йобст строила женщин, шедших на какую-то лекцию. Рядом с ними фрау Циммерман собирала другую группу, идти в лазарет. Как все это знакомо, просто, привычно и... прекрасно!

Пусть холод. Пусть голод. Пусть тоскливая жизнь в лагере, но какую она вдруг показалась нужной, эта моя собственная, маленькая жизнь, никому, кроме меня, не нужная!

Майор Трбовшек вынул из ящика толстую папку. Методичным движением раскрыл ее, перелистал какие-то документы, медленно вынул из кармана самопишущую ручку и задумался. Затем, посмотрев на меня, он сказал: — Я — майор Марьян Трбовшек, чтобы вы это знали!

Я постаралась, как можно глубже, засунуть правую руку в карман брюк. После ранения, перервавшего сухожилия, вены и нервы, несмотря на то, что рана совершенно зажила и не оставила тяжелых последствий, рука сама по себе начинала дрожать в моменты волнения. Я не хотела, чтобы враг принял эту дрожь за проявление страха.

— Итак... — продолжал Трбовшек: — ваше имя... фамилия... дата рождения... Где? В Севастополе, СССР?

— По дате рождения вы видите, что я не могла родиться в СССР. Моя родина — Россия.

Какое счастье! Мой голос не дрожит. Я обрела почву под ногами. Я вдруг почувствовала, что я не просто Ара, которую допрашивает титовец, не «блонди», не «П. П. М.», а весь лагерь Вольфсберг. Я не смею оказаться его недостойной. Не смею быть слабее Примл, не выдавшей чуждых ей русских власовцев, хуже «африканцев», не назвавших имен своих офице-

ров, Метцнера, умершего, но не сказавшего ни слова о том, что хотел знать Кеннеди, всех тех вольфсберговцев, которые не пали духом. Я не смею, просто говоря, «струсить», какая бы судьба меня ни ожидала:

Трбовшек смотрел на меня с нескрываемой иронией. Мой вид действительно был достоин сожаления. В сапогах, в бриджах, в черной лагерной рубашке, принадлежавшей когда-то итальянским фашистам — «чернорубашечникам» (нам всем раздавали этот вид одежды взамен изношенных блуз и кителей), худая, как скелет. Волосы подстрижены «домашним способом». Ни пудры, ни губной помады. Бледное, желтое лицо. В 38 лет я выглядела старухой.

— Итак... — начал он снова. — Помните вы меня по Любляне?

Теперь пришла моя очередь всмотреться в майора-партизана. Молод, может быть 28-30 лет. Высок и строен. Темные волосы, гладко, на левый пробор, причесанные. Лицо продолговатое, красивое, но неприятное. На щеках типичный туберкулезный румянец. Карие глаза плоски, без блеска, без выражения. Мягкий рот бесхарактерного, но способного на жестокость человека.

— Нет!

— А я вас помню. Мы «встречались» в кафе «Эмона». Вы там бывали с офицерами русского полка. Раз даже в кино мы сидели рядом. Помню, шел фильм «Белый вальс» с Марикой Рэк. Вы были на костылях, с черной повязкой на глазу. Какая аффектация! Женщина - солдат! Пфффф! Каккой жалкий фарс!

Ирония Трбовшека меня не оскорбила. Мой взгляд опять ушел за окно. В глаза бросился большой английский флаг, вьющийся перед баракom ФСС. Сколько раз я смотрела на этот флаг, не замечая его, не думая об его значении и силе. Что

мне ни говори майор Трбовшек, а я все еще нахожусь не под пятиконечной звездой, а под английским флагом.

— Итак, — в третий раз начал майор, — вы меня не помните. Жаль. А то бы мы могли с вами поговорить об общих воспоминаниях из Любляны... Куда девались люди из вашей «саботерской команды»?

— Я не знаю, о чём вы говорите!

— Бросьте! Не втирайте мне очков. Нам все известно.

— Так если вам «все известно», зачем вам задавать мне вопросы?

— Ниннну... хотя бы для того, чтобы сверить факты. Кто был старшим этой команды?

— Я не знаю ни о какой команде.

— Кто был старшим инструктором от немцев?

— ...

— Сколько вас было человек?

— ...

— Куда вы должны были быть направлены?

— ...

Вопрос за вопросом. Я упрямо молчала, смотря в окно. Не спрашивая разрешения, закурила. Правая рука, слава Богу, не вздрагивала. Внутри меня царил особый, мертвящий покой. Мне больше не было страшно. Правильно сказал «Моська»: — Кип юр маут шат!

Майор раздражался. Он кричал, стучал кулаком по столу, совал мне под нос какие-то листы желтой бумаги, исписанные на машинке.

— Я говорю, что вам нечего отпираться. Слышите вы, «трда буча» (твердая тыква)? — переходя на словенский язык, шипел он. — Нам все известно. Хотите, я прочту вам список? А?

Начальник саботерской команды Артур Л. Имя не настоящее. Зовут его А. Л... «Фюрер» — немец В... Остальные инструкторы...

Он стал перечислять знакомые мне имена. Одного за другим называл «саботеров». Я внимательно вслушивалась. Одного имени не было: Никола Вештица! Далматинец, бывший четник. Молодой, почти мальчишка, в стойкости характера которого мы все сомневались. Его отчислили из команды незадолго до капитуляции.

— Знаете вы этих людей?

— ...

— Черт вас подери, вы должны их знать! Список полный. Нам не нужно подтверждения. Мы хотим знать, куда все разбежались. В наши руки попал только А. Л. Где же В?.. Где инструкторы? С кем и куда ушли из Словении «саботеры»? В Австрию? В Италию? Забежали в Германию? «Нырнули» в Любляне? Отвечайте, или мне придется прибегнуть к другому воздействию!

С треском открылась дверца печи. Английский поручик ударил по ее ручке кочергой. Я посмотрела в его сторону. Он улыбался. Мне стало ясно, что он понимал по-сербски.



Время шло. Час за часом. Английский поручик уходил и приходил. Уходил и «Звездич». Моим следователем был только Трбовшек. Он не уставал. Мое молчание временами выводило его из терпения, однако, он очень быстро менял тон и переходил на вкрадчивый, обещая всякие блага.

— Вы сможете вернуться в Югославию. Нам нужны интеллигентные работники. Нам нужны журналисты с эрудицией. Подумайте — вы можете стать редактором большой газеты! Коммунистическая система полна самых прекрасных возможностей, до... скажем, положения министра народного про-

свещения. А? Разве вы не хотели бы быть дома, у себя, в Югославии и занимать такой блестящий пост?

— Нам с вами не по дороге. Вы, «знающий все», должны знать, что я прежде всего — анти-коммунистка...

— Глупости! Вы — человек разумный... Не хотите ли закурить свою, югославскую папиросу ?

— Спасибо, я курю английские!

— Как я вижу, вам их скоро не хватит.

— Тогда я перестану курить!

Час за часом. В лагере кончилось время прогулки. Разнесли хлеб. Пришло время раздачи чая. Трбовшек без устали бомбардировал меня вопросами, угрозами, увещаниями, сожалениями, указывая на мой ужасный вид, худобу, на мои сбитые и исколотые, от работы в мастерской, руки.

Я не чувствовала голода. Правда, и Трбовшек ничего не ел. Он отказался даже от чая, который ему принес на подносе «кук» из английской кухни.

В допрос только раз вмешался «Звездич» и только тогда, когда мой «следователь» на минутку вышел из комнаты. Подойдя ко мне, конфиденциальным шопотом, положив на мое плечо руку, которую я сейчас же столкнула, он сказал мне, что все мои запирательства ни к чему не поведут, что моя судьба уже решена, что все «следствие» — проформа, что все «саботеры» уже переловлены и сидят в тюрьме в Любляне, и в довершение показал мне фотографию, вынув ее из бокового кармана кителя. Это был Никола Вештица в форме титовского подпоручика.

— Видите? Вот кто вас всех выдал! Мне вас жаль, и я хочу сократить время допроса. Скрепите список «саботеров» вашей подписью, и это значительно облегчит вашу участь. Ведь у майора Трбовшека в кармане лежит акт о вашей выдаче в Югославию!

— Вздор! Если бы это было так, то меня бы сразу посадили в джип и увезли, как увезли других. Никаких списков я не знаю и ничего подписывать не буду!



...Спустились сумерки. В лагере по баракам зажглись огни. Я думала об инвалидах в мастерской, о женщинах в моем блоке, о всем лагере, в котором люди смотрели на часы и знали, что меня уже седьмой час держит на допросе майор югославской комиссии. Насколько у него еще хватит терпения?

Трбовшек, очевидно, сам чувствовал усталость. Глаза его ввалились. Пятна на щеках стали еще более яркими. Он грязно ругал короля Петра, Дражу Михайловича, покойного Дмитрия Лютича, убитых генералов Милана Недича и Льва Рупника, но ни в этой брани ни в угрозах о коммунистическом завоевании всего мира больше не было напористости.

В коридоре раздался голос Кеннеди. Вслед за этим — стук в двери, и в них просунулась его толстая физиономия. — Еще долго? — спросил он по-немецки.

— Упрямству этой женщины нет конца, — ответил Трбовшек. — Сейчас... Пусть она только подпишет протокол допроса.

Кеннеди ушел. Майор протянул мне лист желтой бумаги, мелко исписанный его рукой. — Читайте, и затем подпишите!

Английский поручик резко встал с своего треного стулика.

— Читайте!

— Я не желаю читать то, чего я не подпишу. Я вам ничего не говорила, и все, что вы там написали — ваша фантазия.

— Проклятая баба! — вскричал майор, беря лист об-

ратно. — Не хотите подписывать — и не надо! Вам же хуже. Убирайтесь вон!

Так семичасовой «допрос» был закончен. Английский поручик вывел меня в коридор. По дороге он тихо, по-сербски, с акцентом, заметил: — Не бойтесь. Все будет в порядке!

Мне было трудно отвечать на расспросы в мастерской, а затем в нашем блоке. В душе остался осадок от «встречи» с титовцами. Было мучительно стыдно за Вештицу, предавшего своих товарищей. Хотя слова английского поручика и звучали убедительно и подбадривающе, все же я приняла их с большой осторожностью. А вдруг как выдадут в Югославию? Что там ждет? Если бы просто смерть...

●

Через три месяца меня вызвали к английскому полковнику, коменданту лагеря. Это было обставлено с известной помпой. За мной пришел сержант-майор в сопровождении четырех солдат с карабинами. Два спереди, два сзади, сержант-майор сбоку, а я в середине, мы промаршировали через лагерь заключенных, лагерь англичан, потоптались на месте под какую-то команду перед дверями канцелярии коменданта и, наконец, вошли к нему.

Полковник встал и торжественно прочел мне, на английском языке, решение, по которому все претензии на мою особу со стороны югославского правительства Тито отклоняются. Одновременно мне было сообщено и решение Белграда. Оно гласило приблизительно так: за все мои «злодеяния» против «народа и коммунистической власти» меня лишают всех прав, югославского подданства, имущества и права возвращения когда-либо в Югославию.

Сержант Вест перевел мне все прочитанное на немецкий язык.

— Подпишите, что вы приняли это решение.

— Я не признаю власти коммунистов, и они ничего от меня отнять не могут. Отказываюсь дать свою подпись.

— Гуд гэрл! — последовал неожиданный ответ коменданта. Полковник улыбался. Улыбался и сержант Вест. — Дисмист!

Так закончилось мое «дело», за которое я отсидела свой «кусочек времени» в лагере Вольфсберг-373.



ПОДКОП.

Появление югославской тито-комиссии оставило свои следы на жизни и психическом состоянии лагеря. Правда, сама комиссия была разочарована. Они не нашли в наших рядах тех, кто им был обещан. Вместо босанского эсэсовского полковника Ф., им преподнести мальчишку однофамильца. Очевидно, Кеннеди не обратил внимания на разницу лет, на несходство описания наружности и на то, что полковника звали Мустафа Ф., а мальчишку Марьян Ф. Когда его привели в комнату для следствия, и Звездич и Трбовшек подняли скандал. Мальчишку выгнали, а ожидающие в коридоре были свидетелями спора и обвинений между титовцами и Кеннеди.

Точно так же было и с солдатами — «фольксдойчерами». Они входили и сейчас же выходили от следователей. — Если бы мы теряли время на каждого солдата дивизии принца Евгения Савойского, мы бы сидели годами, рассматривая их «дела»! — сказал нашему Паулю Вюсту майор Штерн-Звездич. Они ведь требовали от англичан офицеров-усташей и домобранцев из Хорватии и немцев, штаб-офицеров упомянутой дивизии принца Евгения. Некоторые действительно были в Вольфсберге!

Хорваты почему-то оказались фаталистами. Они верили в свою невиновность и в демократический подход к их вопросу

со стороны Запада и... дождались выдачи. Большая часть из них была казнена, и только некоторые получили пожизненное заключение.

Немцы оказались более предприимчивыми. Всего через несколько дней после отъезда тито-комиссии, из лагеря буквально «испарились» четверо штаб-офицеров этой дивизии. Англичане обыскали весь лагерь в надежде найти подкоп, лазейку, перерезанную проволоку. Эти люди просто исчезли. Главварем побега был полковник Бауэр, и позже, на свободе, я узнала об их судьбе. Вся четверка благополучно добралась до Испании и там обосновалась!

Психоз побега будоражил умы всех тех, кто опасался выдач в коммунистические страны. Собралась кучка более энергичных, среди которых оказались люди, которым вообще не угрожала эта судьба. Они решили помочь другим и разработали план массового побега. Сначала весь лагерь был подвергнут детальному разбору — откуда легче всего бежать, и где можно начать подкоп.

Среди заговорщиков были инженеры. Они выбрали барак, стоявший ближе всего к ограде, к той ограде, которую охраняло меньшее число вышек. В простом бараке начать делать подкоп было невозможно. Кто-нибудь мог выдать, в любой момент могли, и днем и ночью, войти киперы. Опасность была чересчур велика. После долгих размышлений, выбор пал на церковный барак, который посещался, главным образом, только по субботам и воскресеньям. Он стоял очень близко от ограды и был двумя соседними блоками заслонен от взгляда часовых на вышках.

В церковном бараке, у самого входа, слева стояла будочка-исповедальня католиков. В эту будочку вело двое дверей, для священника и для исповедывающегося. Эта будка стала началом всех работ.

В дни, когда служил протестантский священник, и будкой никто не пользовался, в нее незаметно входили мужчины. Они поднимали доски и копали. Копали совками, сделанными из коробок от консервов и из котелков, самодельными ножами и, наконец, лопатками, украденными из огородной будки.

Нужно было выносить землю. Этот вопрос тоже был решен. Под шинели надевались переметные сумки. В руки брались котелки. Входя в церковь, «посвященные» приоткрывали дверь и незаметно бросали все эти предметы в исповедальню. Выходя, они забирали полные земли сумки и котелки и шли в свой барак. Там эта земля высыпалась под барак или на «клумбы, которые разрешил завести по блокам капитан Марш. Таким образом, свежая земля не бросалась в глаза.

Почва оказалась мягкой, песчаной. Подкоп шел довольно быстро. Сообщники потеряли страх и проникали в церковный барак и в будничные дни. К числу знавших о туннеле присоединили и женщин. В конце концов, работали и тогда, когда католический священник исповедывал молящихся. Он, ничего не предполагая, сидел в своей будочке, а где-то, уже глубоко, работали, как кроты, отчаявшиеся в ожидании свободы заключенные.

Женщины оказались ценными сотрудниками. Это оне из огородов достали лопатки. Это оне посещали каждую службу и выносили по десятку килограммов земли, пряча ее в мешках под голубыми французскими шинелями. Женщины умели держать язык за зубами — спайка была верная.

Шли дни за днями. Подкоп двигался вперед большими шагами. Как-то удавалось не возбуждать бдительность киперов, удалять возможных любопытных, не вмешивать непосвященных. Подкоп выводил на поляну за лагерем, пустырь, на котором крестьяне изредка пасли овец. Пустырь был неровный, буграми, местами поросший кустарником. По расчету инженеров, тун-

нель должен был вывести за один из бугров. Подкоп делался узкий и низкий. По нему должны были проползти на коленках и локтях. Так, на коленках и локтях, работали «кроты», пробивая путь к свободе.



Пусть вольный человек сочтет это авантюрой. Пусть сейчас подумают, что и те, кто копал туннель и планировал его не для себя, а для тех, кому угрожала выдача, были тоже не человеколюбцами, а авантюристами, желавшими внести что-то новое в монотонность своей жизни. Мы, знавшие о плане побега, смотрели на это другими глазами. Тот, кто в Белграде или в других местах, занятых немцами, скрывал у себя в подвалах, на чердаках, в дровяных сараях евреев, американцев, англичан, даже их летчиков, которые немилосердно бомбили эти же города и затем, прыгая с парашютами с подбитых и горящих аэропланов, не попадали в руки оккупаторов, — тот знает, что подобное чувство, руководящее человеком, не называется авантюризмом или склонностью к «острым ощущениям». Это только человеколюбие, желание помочь ближнему, попавшему в беду, в смертельную опасность.



Наконец, настал день, когда подкоп дошел до бугра на поляне, заслоненного жидким, но все же кустом. Последние шаги не предпринимались. Последние фут - два земли должны были быть выкопаны в момент побега. Среди бежавших должно было быть человек пятнадцать, уже давших свое согласие. Инициатором всего дела был некий М., фольксдойчер из Румынии, смелый и энергичный человек. Все шло по его расчетам. Не было сделано ни одной технической или тактической ошибки. Но оказалось, что он мало знает людей. Когда как будто все гладко подошло к долгожданному концу, М. решил присоеди-

нить к группе беглецов еще одного заключенного, хорвата, доктора коммерческих наук и юриста В. из Загреба. Ему тоже угрожала выдача в Югославию...

Наступила ночь побега. С редкой виртуозностью все кандидаты на бегство выбрались из своих блоков, расположенных вблизи церковного барака. Как тени, выждав конца одного обхода патруля и зная, что у них есть двадцать минут до следующего, они доползли до церковного барака. Пересчитали. Не хватало только д-ра В. — Струсил! — решили они. — Бог с ним!

Первым в подкоп забрался М., за ним, как змеи, один за другим вползли остальные. Молодого капитана Н. оставили последним, замыкающим шествие. М., вооруженный короткой лопаткой и небольшим ломиком, стал прокапывать последнюю толщу земли, отделявшей их от свободы. Как бы плавательным движением он отгребал землю назад, и ее дальше руками отгребали другие. Потянуло воздухом. Подкоп был закончен. С усилием М. выбрался наружу. Ночь была черной, тихой и безлунной. Он повернулся и махнул рукой следующему, который показался из ямы...

В женском бараке, в темноте сидело на койках несколько девушек. Оне знали. Оне смотрели на часы и мысленно молились: — Боже, дай им уйти! Боже, пусть все пройдет благополучно! — И вдруг крики, выстрелы, целая очередь из пулемета... На всех вышках зажглись рефлекторы. Лагерь ожил. Перед каждым блоком оказались вооруженные солдаты. Начался обыск и переключка. Барак за баракom проверялись киперами — все ли по счету, не удалось ли кому-нибудь все же бежать, несмотря на то, что все, кто был в туннеле, были перехвачены и срочно отправлены в «С. П.» до дальнейшего следствия.

На следующий день мы узнали, что никто из беглецов не был убит. Они были взяты голыми руками. Выстрелы были в воздух, для острастки. М. был схвачен капитаном Маршем и

солдатами, которые, спрятавшись за кустами, ждали их появления. По первому сигналу, в церковный барак ворвались солдаты и, сами забравшись в подкоп, штыком вперед, выгнали одного за другим наружу.

Нас всех вывели на аллею. Построили каре. Пришел комендант лагеря в сопровождении ад'ютанта и нескольких офицеров, командиров взводов роты, которая несла стражу в лагере. С ними был и капитан Марш.

Он официально сообщил о покушении на побег, о том, что все участники арестованы и водворены в «С. П.», и закончил словами:

— Все, кроме одного. Одного, который не воспользовался сделанным ему предложением спасти свою голову бегством. За два дня до побега, мы имели все сведения от этой личности. Мы любим предательство и пользуемся им, но мы презираем предателей. Лагерю будет не трудно узнать, кто он! Комендант не осуждает тех, кто стремился бежать. Как офицер, он это понимает. Однако, все они будут дисциплинарно наказаны за нарушение лагерных правил. Можете разойтись!



Д-ра В. не убили. Его даже не били. От него сторонились, как от прокаженного. Его жизнь превратилась в ад. Когда он, избежав репрессий со стороны Тито (кто знает, какой ценой?), вышел из лагеря Вольфсберг, он уехал без оглядки, замата за собой след и переменяв фамилию. Ничего, кроме презрения в воспоминаниях вольфсберговцев, он о себе не оставил.



Участники побега, благодаря тому, что их «дело» попало в руки коменданта лагеря, а не Кеннеди, который, кстати, в ночь побега отсутствовал, отсидели известный срок в «С. П.».

Трое из них были там задержаны и впоследствии выданы. Остальные были отправлены на известный срок принудительных работ. Отбыв его, они получили долгожданную свободу.



ЛЮДИ.

Лагерь Вольфсберг-373 научил нас не только ненавидеть, но и любить. Ненависть проходит быстро — она не может вечно жечь сердца. Время сглаживает царапины и раны. Если не все, то, во всяком случае, большинство людей несут в своей душе всепрощение.

Я не могу сказать, конечно, что всепрощение проникло в сердца всех заключенных в лагере. Те, которые пережили там нечеловеческие физические мучения и моральные пытки, не могли, я думаю, и современем простить своим мучителям. Пережившие потерю близких, утрату веры в людей, отчаяние, вероятно, не так легко забыли это, выйдя, наконец, на волю, и естественно, что для них черные тени Вольфсберга-373 заслонили собою те светлые проблески, которые порою согревали наши сердца.

Я могу говорить только о себе, о своих чувствах.

Если я вынесла на своем сердце, на своем «я» царапины и ушибы из времени, проведенного в лагере Вольфсберг — они давно заросли и даже не оставили шрамов. Остались любовь и благодарность к людям, которых я встретила в те годы, и, главное, уважение к человеку, как таковому.

У меня в душе всегда будет теплиться нежная симпа-

тия к инвалидам, с которыми я делила добро и зло. Часто, беря в руки небольшую тетрадку, которую мне переплел Тони Каух, читая посвящения и прощальные слова работников «Бастельштубе», я их вижу так ясно. Как живые, они встают перед моими глазами. И трудолюбивые и те, для кого мастерская была только «ловчением» — все они имели свои маленькие минусы и громадные плюсы. Как теплы их слова, и те, которые написаны красивым почерком, и в которых интеллигентно выражена мысль, и малограмотные, витиеватые, как те, которые мне написал Польди Буря, называвший меня своей «мамицей» (матерью), Польди, выросший на моих глазах, с ребячьим пушком на щеках и большими — большими испуганными глазами, которые потом, только в мастерской, научились смеяться.

У меня такое же тепло к девушкам и женщинам, по отношению которых я так некрасиво поступила в первый день приезда в Вольфсберг, в ответ принявшим меня в свои сердца, в свою среду, как свою, как родную. Теплая любовь ко всем моим «мутти», не за то, что они давали мне свои папиросы, ко всем девушкам, не за то, что они делили со мной последний кусочек хлеба, а за то, что на моих глазах рассеялся миф о разнице между «чистой германской расой» и «унтерменшами», о которых писал и говорил Гитлер; за то, что мне было подарено полное доверие, со мной делились сокровеннейшими тайнами, зная, что они не будут разглашены и выданы. А ведь я пришла к ним «ниоткуда», и никто меня не знал.

То же тепло я храню по отношению достойных заключенных лагеря. Я не могу сказать, что между пятью тысячами людей не было наушников, ябедников, завистников, лебезивших перед Кеннеди и всеми англичанами. Но их было так мало — они бросались в глаза, они были «париями». Их обходили, не причиняя им зла.

Я не скажу, что среди нас не было настоящих «крэгсфер-брехеров». Были. Не большие, не «массовые убийцы», но все же те, кто должен был так или иначе ответить за свои преступления, в своей же преступной среде, собранные в какой-нибудь тюрьме, выведенные перед нелицеприятный суд...

Всегда я буду хранить уважение и симпатию к «моим» генералам, опекаемым нами в Вольфсберге до момента их отправки в Германию, где они получили полную свободу. Я с ними встречалась после освобождения из лагеря, и до сих пор с двумя из них веду переписку. Третий, самый молодой, генерал-лейтенант Мельцер умер от последствий заточения в тюрьме, не долго насладившись свободой.

Но в моем сердце есть место, и большое место, для голубоглазого мальчика Джими, бравшего на себя очень большой риск и ответственность, помогая заключенным; для рыженького Эдди, работавшего старшим слесарем в лагерьной мастерской, «слепнувшего» каждый раз, когда у него из-под носа брали запрещенные инструменты или вещи — того Эдди, который мог убить двух усташей и четника Душана Р., но тоже «ослепшего» в момент их побега.

Никто из нас не забудет капитана Рэкса Рааба, девушек УМСА и квэйжерш, боровшихся за улучшение жизни в лагере, за увеличение пайка, против хищений, против грубости, против неограниченного террора и деспотизма Кеннеди, помогавших освобожденным заключенным в устройстве их жизни, в нахождении угла, в розысках их растерянных семей. Моей свободой я обязана капитану Раабу, который в Вене сдвинул неподвижный камень, заграждавший мой выход из лагеря. И не я одна. Многим из нас открыл ворота Вольфсберга этот тихий, вежливый, такой доброжелательный человек.

Я питаю уважение к капитану Шварцу и капитану Маршу, остававшимся, несмотря на их обязанности, прежде все-

го людьми, никогда не злоупотребившими своей властью ради какой-либо мести и, наоборот, выказавшими в полной степени свою гуманность. У меня нет никаких дурных чувств по отношению к сержанту Зильберу. Он тоже исполнял свой долг, но он не был ни «запленных дел мастером» ни сатрапом своего «шефа» в его преступлениях, хотя он, Зильбер, возможно, больше чем кто-либо, потеряв всю семью в газовых камерах, мог и должен был ненавидеть всех тех, кто этому, вольно или невольно, словом или делом, способствовал.

Это были тяжелые годы, но из них я вынесла очень многое. Там я научилась понимать людей. Там я примирилась с человеческими слабостями. Там я приобрела искусство, недоступное в нормальной и сытой жизни, и столько верных друзей, сколько я не имела за всю свою жизнь. Там я научилась усидчивости, терпению и любви. Там я, как никогда до тех пор, поняла молитву Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего». Как необходимы человеку те добродетели, о которых он коленопреклоненно молит Творца! «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!» Какой глубокий смысл нашла я в этих словах, произнося их мысленно в Вольфсберге, произнося их не только в Великом Посту, а ежедневно и всегда, когда во мне просыпалась прежняя вспыльчивость, или когда и на меня находила «лагерная холера».

«Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабе Твоей. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего...»

Этой молитве я научила Манечку И., девушку, родившуюся и выросшую под советским режимом и никогда до Вольфсберга ее не слышавшую. Я перевела молитву на немецкий язык, и ее у меня списал весь женский блок, и католички и лютеранки, и те, кто под влиянием безумия нацизма отошел было от христианства, «возвращаясь к религии предков, старых германов»...

В Вольфсберге я видела падения духа человека и его неизмеримо высокие взлеты. Я думаю, что это — не только мое впечатление, вынесенное из этого лагеря, который являлся уродливым пятном на лице западного, цивилизованного, демократического мира.



Люди... Их было так много. Пять тысяч человек имели по блокам, по баракам, по комнатам свои тайны, свои переживания, свои светлые дни и темные провалы отчаяния. Я не запомнила всех случаев самоубийств, всех «допросов» Кеннеди, всех геройств, проявленных той или иной сторсней, всех драматических покушений на бегство и всех успешных побегов. Только яркие точки, те события, которые происходили перед моими глазами, врезались в память навсегда, и так же навсегда врезались лица.

Я не могу забыть наш лазарет, наших докторов, таких же заключенных, как и мы, носивших европейские и мировые имена хирургов, которые работали день и ночь, оперируя, спасая жизни заболевших, производя даже пластические операции, подготавливая изуродованных к их дню освобождения, когда перед ними откроются ворота свободы. Я не забуду сестер милосердия, которые посвящали все свое время заключения тем, кто нуждался в их помощи.

Как счастлив был наш лагерь тем, что, вместо иностранцев и свободных людей, не понимавших нашей психологии, в лазарете, этом месте прибежища, работали свои врачи и персонал. В этом отношении мы были, в сравнении с другими концлагерями нацизма и коммунизма, на особом, привилегированном положении. Нам никогда не грозили вивисекция и экспериментальная камера, которыми отличались немецкие лагеря. К нашим докторам приходили и физически и душевно страдающие люди, делая их своими исповедниками. Располагая мини-

мумом медикаментов, инструментов и аппаратов, эти люди творили чудеса. Они часто становились стеной между Кеннеди и заключенными и, ссылаясь на свои медицинские знания, отстаивали тех, которые вызывались на допрос, доказывая, что человек не способен выдержать это испытание.



Как часто наружность бывает обманчива! Вспоминается мне кацетная надзирательница (у нас, в женском блоке, кроме Иоганны Померанской, было еще четыре из этой недостойной «корпорации») — фрау фельдфебель Анна Гоффман.

К женщинам, когда-то служившим в кацетах, мы не питали симпатий. Оне для нас были той темной стороной, той кровавой страницей, которая и привела, главным образом, к созданию Вольфсберга. Слепые слуги нацизма, люди без совести, без сердца, роботы, на глазах которых умирали тысячи беззащитных... Нет, мы их не любили и сторонились их.

Анна Гоффман была старой женщиной, старой и уродливой. Седые волосы были неопрятно собраны в «дульку» на самой верхушке головы; одутловатое лицо бульдога и маленькие подслеповатые глаза за толстыми очками в металлической оправе.

Всех старых женщин мы называли матерями — «мутти», но это имя никак не подходило к «фрау фельдфебель», как она требовала, чтобы мы ее называли. Маленькая и коренастая, всегда одетая в китель с фельдфебельскими лычками, в такого же сукна юбку и высокие, полицейского образца сапоги, суровая, замкнутая, «Гоффманша» не имела ни одной подруги в нашем блоке и, как было видно, в этом не нуждалась.

Когда пришел черед отправки бывших надзирателей кацетов на суд, мы знали, что скоро отправят и Гоффман. Мы знали, что она служила в концентрационном лагере Ораниенбурге, в котором было уничтожено не мало «унтерменшей».

В первой, большой комнате, в которой я жила до переселения в новый барак, мне не повезло. Аделе Луггер, которая спала под моей койкой, была отправлена в сумасшедший дом. На ее место перевели Гоффманшу. Эта женщина не даром требовала, чтобы ее величали фельдфебелем. Она храпела, как целый хор заправских фельдфебелей. Из глубокого, на басовых нотках рокотания, ее храп переходил в блеянье, взвизгиванье и свист.

В то время мы еще спали на голых досках и не раздевались, идя ко сну, а надевали на себя весь носильный скарб, до шапок на голову и рукавиц, сшитых из тряпок. Зима была холодная, дров почти не давали. Заснуть было трудно. Обычно мы крутились и вертелись, пока удавалось занять более удобное положение и, согревшись немного своим дыханием, мы погружались с трудом в так необходимый нам сон. И вот храп фрау фельдфебель будил не только нашу комнату, но и соседнюю, отделенную тонкой перегородкой, в которой было 36 женщин, главным образом, болезненных и старых. Мы начинали свистеть, стучать кулаками, просто звать «фельдфебеля» по имени, но она спала, как камень, и разбудить ее было просто невозможно.

Однажды в темноте раздался чей-то голос: — Так обычно спят только люди с чистой совестью, а у этой старой ведьмы на душе, вероятно, тысячи преступлений!

Станным было то, что Анна Гоффман получала письма. Конечно, она ни с кем не делилась ни их содержанием ни тем, от кого они приходили. Она была пруссачка из Кенигсберга, находившегося плотно в руках советчиков, и из дома никак не могла иметь вести. Кто же писал этому «старому барбосу»?

Когда начали приходить в лагерь посылки, среди первых

же получила фрау Гоффман. — От кого? — спрашивали мы в изумлении. Сало, макароны, рис, топленое масло... папиросы!

Самыми смешными были наши отношения, мои и фрау фельдфебель. Она признавала разницу в чинах и каждое утро, надев на седую голову тилотку, отдавала мне честь и делала что-то вроде рапорта. Несколько раз она подходила ко мне во время прогулок вокруг барака и расспрашивала о моей прошлой жизни в Югославии. Оказалось, что в молодости (казалось просто невозможным, что Анна Гоффман когда-то была молодой!) она бывала в Далмации (тогда Австрии), и этот прекрасный край навсегда остался в ее лучших воспоминаниях.

«Индустрия» игрушек на первое Рождество захватила было и ее, но тут же оказалось, что ни фантазии ни умения у Гоффман не было. Игла и работа были заброшены, и она проводила весь день, читая толстейшую Библию.

— Грехи замаливает! — ехидно говорила Гизелла Пуцци, у которой было несколько очень неприятных столкновений с старухой, презиравшей «намалеванные морды».

У меня над кроватью кнопкой была прикреплена иконка Божией Матери Казанской и карточка моего сына, еще ребенком, в казачьей форме. Обе без рамок. Каково было мое изумление, когда накануне Дня матери, который праздновался и в лагере, я прежде всего получила от анонимного лица трогательное поздравление, написанное по-немецки, но подписанное именем моего сына, а на следующее утро, проснувшись и повернув голову к иконке, увидела, что и она и карточка были вставлены в оригинальные рамки, сплетенные из бумаги и соломы.

— Кто это сделал? Кого я могу поблагодарить? — спрашивала я, до глубины души растроганная. Аноним не отзывался. Только через несколько дней венка Элизабет Оберностерер сказала мне, что она подглядела, когда «фрау фельдфебель», по ночам, далеко от всех глаз, в умывалке, урывками плела эти

рамки. Она же написала мне поздравление и нарисовала голубым и красным карандашом цветы и посвящение: «К Дню матери от благодарного сына».

Часто то я, то Гизелла, обе страстные курильщицы, находили у изголовья маленькие сверточки с папиросами. Странно, эти подарки совпадали с получением посылки фрау Гоффман.

Итак, пришло время отправки кацетных надзирателей на суд. Одного за другим их вызывали к Кеннеди, и он сообщал им о дате. Одну из надзирательниц отправили в Бельзен на аэроплане. Двух увезли в Матхаузен. Подходил черед Анны Гоффман. Она днем мрачно молчала, сопела и одиноко маршировала вокруг барака, но ночью спала, как убитая.

Вызвали и ее к Кеннеди. Идя туда, она забрала целую пачку писем. Вернулась нескоро, но на губах ее играла загадочная улыбка. — Отчитала я его! — бросила она, как бы невзначай, проходя мимо.

Вскоре мы узнали от заключенных девушек, которые работали в ФСС, что все письма, все пакеты, которые получала «Гоффманша», были от бывших заключенных лагеря Ораниенбурга, что к Кеннеди приезжала делегация, состоявшая из 11 женщин, сидевших в этом страшном лагере, которые привезли петицию с более чем 400 подписями. Мы узнали, что фрау фельдфебель в Ораниенбурге называли «Ангелом Милосердия». Сам Кеннеди, повторяю — сам Кеннеди, отправляя Анну Гоффман на суд, сказал: — Эта женщина под своей суровой наружностью скрывает золотое сердце. Она не уничтожала, а спасла столько жизней, что суд над ней будет только формой — не обвинительный, а, наоборот, снимающий с нее всякие подозрения!

Единственную кацетную надзирательницу, фрау фельдфебель Гоффман, провожал женский блок с лучшими пожеланиями. Прощаясь, она оставила распоряжение: — Должны на мое

имя придти еще несколько посылок. Прошу их разделить между иностранками, которые их не получают. В первую очередь — русским, Аре и Мане!

●

Как писали газеты, вырезки из которых я сохранила, фрау Гоффман была освобождена от всех обвинений и... на руках женщин, бывших заключенных, переживших страшное время в кацете Ораниенбурга, была вынесена из зала суда.

●

Чудный капитан Рааб помогал, чем мог. Через него мы получили граммофон с кучей пластинок. Граммофон старенький, с короткой пружиной. Крутить ручку приходилось даже во время игры, и пластинки были странным сбродом джазов, фокстротов, религиозных негритянских песнопений и шотландских оркестров, состоящих из волюнок и барабанов. Но среди этих старых и поцарапанных пластинок оказались «Ученик колдун» композитора Дюка, «Влтава» Сметаны и — о, радость! — творения П. И. Чайковского: увертюра «1812 год» и первый рояльный концерт, в исполнении Владимира Горовица и оркестра Ньюйоркской Филармонии.

Это богатство получила инвалидная кустарная мастерская, но мы не могли его держать только для себя. Граммофон гостил в лазарете, в женском блоке, ходил по мужским блокам и, по разрешению Марша, побывал в «С. П.» и у генералов в бункере.

Интересно, как люди буквально впивали в себя звуки музыки русского гения. Старые хриплые пластинки не портили впечатления. В концерте, записанном на четырех старинных пластинках большого формата, у одной из пластинок был отломан край, и иголку приходилось ставить отступя, теряя известную часть мелодии. Но разве это нам мешало?

△

Я думаю, что на фестивале в Москве, где этот концерт исполнял Ван Клайбэрн, он не оставил такого впечатления, как в Вольфсберге. Простые, полуграмотные солдаты и люди с музыкальным образованием воспринимали его одинаково, глубоко переживая. Звуки проникали в самую глубину сердца и трагивали там самое сокровенное. Казалось, что они говорят каждому на его языке, и язык Чайковского понимал каждый.

Когда впервые эти звуки полились из открытых окон инвалидной мастерской, из помещения бани вышел заведующий, доктор Амброз. Он был тихий, скромный, всегда вежливый, всегда готовый помочь передать, кому надо, записку, 'пакетик, не взирая на все возможные последствия.

Доктор Амброз шел, как сомнамбула. Его вели звуки. Он пересек плац и подошел к ограде блока. Обняв деревянный столб, обвитый колючей проволокой, Амброз застыл.

Концерт продолжается почти час. За все время Амброз не шелохнулся. Он прижался лбом к столбу и внимал с закрытыми глазами. Какая скорбная и патетическая фигура! Доктор музыки, один из преподавателей консерватории, сам талантливый музыкант, в выгорелой, рваной шинели и пилотке, которые когда-то носили неизвестные русские военнопленные, в деревянных сабо на босую ногу, с отросшими длинными волосами, косицами падавшими на воротник, но с каким лицом!

Это лицо светилось. На губах то играла улыбка неземного восхищения, на впалых щеках горел румянец, то вдруг, под влиянием звуков, выражение становилось трагическим, страдающим. Из закрытых глаз градом лились слезы.

Такие лица мы видим у скрипачей, у пианистов, глубоко переживающих чародейство мелодии...

Когда умолкли последние аккорды, доктор Амброз очнулся. На его лбу и на щеке выступили крупные капли крови. Он не чувствовал острия колючей проволоки, впивавшиеся в

лицо, прижатое к столбу. Но глаза! В них сияли восторг и благодарность.

— Спасибо! — говорил он нам в окно. — Спасибо! Это счастье я буду долго... нет, до смерти хранить в своей душе. Чайковский вернул мне все утраченное за дни сидения в Вольфсберге. Он мне вернул мое прошлое и влил силы для будущего. Спасибо вам и Чайковскому!

— Спасибо капитану Раабу... — тихо сказал Тони Каух. — Он нашел путь к сердцам людей.

Да, за многое спасибо капитану Раабу. Спасибо и за старенькую пишущую машинку, которую он нам привез для Ханзи Г., для слепого. Мы учили его печатать на ней. Медленно, ужасно медленно он усваивал и запоминал «вслепую» расположение букв. Взрываясь в приступах бессильного гнева, сколько раз он кричал, что никогда, никогда его не запомнит! И все же, покидая Вольфсберг, он крепко прижимал к груди эту старую машинку. Она дала ему «пъед де терр» в новой жизни и стала его кормилицей. На ней он писал мне первые письма и сегодня работает типистом в большом предприятии.



Люди. Мужчины и женщины, победители и побежденные. Сколько в них можно найти хорошего, в особенности тогда, когда они находятся в беде! Каким отзывчивым становится сердце, какой мягкой душа!

В Вольфсберге было много горя, много гадкого, много вызывающего ненависть, но эти воспоминания не вечны. Они бледнеют очень быстро. Остается в памяти светлое, что не будет забыто.

В Вольфсберге я впервые поняла величайший смысл молитвы Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего...»



ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД.

Лед тронулся. Последующие события посыпались, как из мешка. На Пасху лагерь посетила смешанная комиссия, состоявшая из западно-союзных делегатов. Она внимательно осмотрела Вольфсберг и нашла множество упущений. Срочно поднялся стандарт питания. Свою роль, безусловно, сыграла и австрийская политическая комиссия. Нам были даны новые льготы. После посылок «на волю», в которых ушли зимние вещи и маленькие подарки-сувениры, сделанные в лагере, внезапно, одно за другим, пришло разрешение писать на бумаге Международного Красного Креста столько писем, сколько угодно, и новое распоряжение: — заключенные имеют право вызывать ближайших родственников на свидание в лагере.

Это была сенсация!

Заключенным выдавались карточки, которые они заполняли, указывая адрес и имя родственника и дату встречи. Карточки отправлялись адресату, и раз в неделю в Вольфсберг стали приезжать полные автобусы взволнованных людей. Что переживали те, кто полтора и больше года отсидел за колючей проволокой — не берусь описать.

Встречи происходили в английском бараке, разделенном в длину пополам металлической сеткой, во избежание передачи запрещенных предметов, записок и прочего. На скамьях друг

против друга сидели арестанты и свободные люди. Они могли через сетку ощутить тепло рук, сетка разделяла их губы, их щеки и орошалась обильными слезами.

Приезжали только взрослые. Детям ниже четырнадцати лет запрещалось видеть заключенных родителей, «во избежание тяжелых сцен и следа на их душах».

За встречами наблюдали специальные киперы, иной раз сам капитан Марш, но чаще всего это поручалось деликатному сержанту Вест.

Власть нашего ФСС упала. Произошло это как-то странно.

В одну из суббот, когда английские солдаты, в данном случае шотландцы и ирландцы, уже достаточно выпили на танцульке в своей кantine, на территории лагеря, мы были разбужены криками, воплями и какой-то свалкой в «английском дворе». Открыв окна, мы слышали беготню, хлопанье дверями, звон разбитых стекол и шум драки.

На следующий день мы узнали, что солдаты подрались с чинами ФСС, и те, будучи и в меньшинстве и относительно физически слабее, получили «на орехи». Вслед за этим, может быть, даже без всякой связи их с дракой, почти все сержанты ФСС были переведены, или вышли в резерв, или уехали в Израиль.

В барак ФСС вселились, вместо них, австрийские полицейские, чины той комиссии, которая нас регистрировала. Из Вены приехал инспектор, который стал вести дела «денацификации».

Апрель и май были полны разных сюрпризов. Совершенно для нас неожиданно пришел первый список выпускаемых «на чистую свободу». Весь лагерь был поражен. Отпустили не инвалидов, не по признакам семейности, не тех, кто, безусловно, сидел по ошибке, а... «мелких» партийцев и партиек. Мелких?

Среди них ушли и те, кто занимал большие должности. Из женского блока отбыли самые крупные личности. Была выпущена фрау Йобст, когда-то представлявшая партийных женщин целого округа. Говорили ли в нас зависть, злоба, огорчение? В большинстве случаев — нет. Мы были рады тому, что лед тронулся, и если выпустили этих дам и господ, то в ближайшем будущем можно было ожидать и нашего выхода на свободу.

У меня были свои проблемы. Куда? Без денег, без бумаг, без самого обычного штатского платья. Иностранцам намекнули, что они должны иметь какой-то «Ауфентхальт» — место жительства, подкрепленное согласием не только тех, кто их примет в дом, но и местных властей. Мне посыпались предложения.

Капитан Бауэр, владевший имением на самой границе Югославии, этот бывший контр-разведчик, работавший в Югославии, был выпущен из лагеря одним из первых, и один из первых прислал мне приглашение жить и работать у него. Приглашение было скреплено печатью и подписью бургомистра его общины. Одноглазый Карл Лехнер выписал подобное же приглашение от своей матери из Штайра, Буби Зеефранц — от родителей из Вены. И женский блок засыпал меня и Машеньку И. приглашениями. Была возможность жить, подобно стрекозам, имея хоть на первое время «и стол и дом» по всей Австрии, в городах, в селах, в заброшенных деревушках.

Самым близким моему сердцу было предложение моей подруги Гретл Мак. Ее отец тоже прислал мне официальный документ. Но об этом было еще очень рано говорить. Лагерь, из которого выпустили человек четыреста, не потерял еще своего «колючего» лица. Кеннеди все еще был вершителем отдельных судеб, и никто из нас не знал, что его впереди ожидает. Все еще «карестовывали» людей по блокам и отправляли в «С. П.». Так, для всех нас неожиданно, забрали и моего майора Г. Г. Попал

он в необычную компанию. Одновременно увели туда украинцев-галичан и последних хорватских офицеров. Меня пугала мысль, не грозит ли им всем выдача.

Для меня это был тяжелый удар. Встречи с майором были единственной радостью в лагерной монотонности. Мы виделись ежедневно. Вместо того, чтобы ходить вместе с другими вокруг по плацу, мы встречались в инвалидной мастерской. Г. Г. приходил во время прогулки и час проводил в разговоре со мной и моими сотрудниками. Мне удавалось немного его подкармливать, делиться с ним заработанными папиросами, чинить его носильные вещи. Там, в «С. П.», он был совершенно отрезан...

Майор пользовался большой популярностью. Его любили и простые солдаты, жившие с ним в одном бараке, и бывшие немецкие офицеры, видевшие в нем человека своего класса, своей закалки; любили и уважали его и представители интеллигенции — среди них было много его учеников, которым он преподавал русский язык. Благодаря этой популярности, майор тоже имел много предложений после освобождения поехать к кому-нибудь в имение, служить в чьем-нибудь предприятии или просто быть гостем так долго, как он захочет.

Думали ли мы в Эбентале или в первые дни в Вольфсберге, что нас в лицо и по имени будет знать весь лагерь, что почти весь лагерь подарит нам доверие, любовь и искреннюю дружбу!



Пасха 1947 года прошла спокойно. В Великую Субботу в церкви, которую опять открыли, служили и католический и лютеранский священники. В первый день Христова Воскресения смешанный хор дал концерт на «Адольф Гитлер Плац». Исполняли знаменитую мессу Палестрины. Во второй, в ангаре состоялся концерт оркестра заключенных. Каков был наш восторг, когда на концерт привели и трех осужденных на смерть генера-

лов! Правда, их привели под конвоем и посадили отдельно, так что мы к ним и подойти не могли, но мы верили, что этот первый их выход в среду заключенных говорит о том, что смертная казнь будет отменена.

Оркестр вставил в программу старинный, всем известный и популярный военный марш «Старые друзья». В ангаре в это время было около тысячи заключенных мужчин и женщин. Все, как по команде, встали и запели. Наше пение покрывало звуки духового оркестра. Киперы заволновались, забегали. Казалось, что они теряют контроль над заключенными. Кто-то побежал за офицерами.

— Вас ист лос? В чем дело? — кричали они по-немецки, ничего не понимая.

— Ничего не случилось! Мы просто празднуем Пасху. Нам весело! Мы радуемся празднику, весне, жизни и нашим генералам!

Это, действительно, была радостная Пасха, радостная встреча солдат с их начальниками. В этой «демонстрации» не было ничего политического. Самые слова старого марша говорили о солдатской спайке, о дружбе, о девизе «один за всех — все за одного».

Пришли шотландцы-офицеры и, убедившись, что не произошло ничего предосудительного, разрешили закончить концерт.

...Наши надежды оправдались. Через несколько дней мы услышали по радио весть о том, что смертная казнь отменена, и дальнейшая судьба генералов будет решаться на новом судебном процессе.



СЛУЧАЙ ДИТРИХА.

Многие бегства из Вольфсберга, удавшиеся бегства, бывали покрыты непроницаемой тайной. Люди просто исчезали, не оставляя за собой никаких следов, и только узкий круг товарищей знал о том, как удалось бежать. Один из таких случаев является ярким примером спайки заключенных и умения держать язык за зубами.

Подходило лето. В лагере стояла невыносимая ранняя жара. Вольфсберговцы маялись по душным баракам, терзаясь тоской и ожиданием каких-либо новых шагов к их освобождению.

Зимняя пища опять сменилась чем-то более вкусным и утешительным. Нас кормили шпинатовой похлебкой и молодым горошком, который приходил в ящиках и мешках целыми грузовиками. Опять женщины целый день, сидя перед кухней на скамьях и сундучках, чистили сотни и сотни килограммов гороха. Шелуха собиралась в рогожи, и мужчины уносили ее на центральный плац, где стояла большая мусорная прицепка. Каждую неделю, в среду, приходил грузовик, забирал ее и увозил на городскую свалку. Из окон инвалидной мастерской мы всегда наблюдали за появлением этого грузовика, возней около прицепа и отъездом в город. Этот порядок врезался в память и однажды нам очень пригодился.

Был обычный рабочий день. Раздавая с утра работу инвалидам, я через окна видела, как провели в баню очередную группу заключенных мужчин. Напротив, в большом блоке «С» мужчины в бездельи ходили попарно или группами вокруг своих барakov. Обычно прогулка начиналась медленным шагом, но затем, вероятно, под влиянием нервности, она ускорялась. Шаг становился быстрым, затем доходил почти до бега, и люди сам этого не замечали, пока их кто-нибудь не окликал. Некоторые лежали на солнце, сняв рубахи. Другие стояли у проволочных оград и бессмысленно смотрели куда-то вдаль, а и дали-то ведь не было: проволоки, заборы и вышки...

Часов около одиннадцати в блок «С» вошел сержант-майор «Моська» с двумя киперами. Вид у них был серьезный. Мы, в мастерской, перекинулись словами: — Кого-то заберут на допрос. Недаром вчера вернулся из поездки Кеннеди.

Дальнейшее развилось с невероятной быстротой. Блок «С» был закрыт, на ворота повесили замок. «Моська» и киперы почти бегом направились в ФСС и вернулись в сопровождении капитана Марша и киперов всего лагеря. Каждый блок запирался. Рабочие команды из огорода, конюшен и мастерских были разведены по баракам. К нам пришел Джок, пересчитал наши головы и запер мастерскую на замок. Начался поголовный обыск.

Заключенных выводили во дворы блоков, строили и делали переключку, приказывая вызванным отходить в сторону. В это время сторожевые солдаты обходили комнаты, входя в каждый барак сразу с двух сторон, так, чтобы никто не мог выскользнуть. Искали всюду; кого — мы еще не знали. Искали даже в таких местах, где человек не мог спрятаться. Выстукивали доски, залезали под самые баракы, стоящие на «курьих ножках».

Пришло время обеда, но обед не роздали. В лагерь ввели еще солдат, которые лавой обходили все рабочие помещения.

Всем этим, конечно, руководил сам Кеннеди, красный, потный, раз'яренный.

Обыск прекратился только с наступлением сумерек, когда открыли ворота блоков и стали разносить пригорелый обед и вечерний чай. «Фрасстрегеры» объяснили, что весь переполох произошел из-за исчезновения некоего Дитриха. За ним были посланы «Моська» и киперы: его должны были отвести в «С. П.». Судьба на этот раз подшутила в пользу самой жертвы. Не зная Дитриха в лицо, сержант-майор напоролся именно на него, войдя во двор блока, и самого Дитриха спросил, где он может его найти. Дитрих, сообразив, что ему угрожает, направил англичан в свой барак, назвав даже номер койки, и, когда они вошли в помещение — исчез.

Дитриха искали целую неделю. Время от времени делали налеты на бараки, переворачивали все вверх дном, обыскивали мастерские, осматривали заборы, не было ли подкопа. Наконец, беглеца вычеркнули из списков заключенных, и жизнь пошла своим тихим порядком.

Долгая жара разразилась грозой и ливнем. Как это всегда бывает в горных краях, сразу же похолодало. День-два шел мелкий дождик.

Однажды, следя за работой одного из инвалидов, учившегося делать заготовки для ботинок, мастер-сапожник Андрей Ноч и я стояли около него у самого окна. Как обычно, мимо нас проводили людей в баню. Прошла большая группа, и люди вскоре должны были уже выйти, закончив купанье. Внезапно, пересекая наискосок «Адольф Гитлер Плац», появились Кеннеди, Марш и группа киперов. У Кеннеди в руках был револьвер. Мы все насторожились. Они вошли в банный барак.

Почти сразу после этого, перед провололочной оградой, тянувшейся перед окнами нашего барака, появился человек, завернутый с головой, как бедуин, в серое лагерное одеяло.

В этом не было ничего необычного. В холодные и дождливые дни многие заключенные после бани, боясь простудиться, набрасывали на себя одеяла, закрываясь с головой. Странным было только то, что этот человек был один, а не в группе, и мне в глаза бросилось его лицо, бледное, с дрожащими губами. Два темных глаза под сенью капюшона из одеяла смотрели прямо на меня, горя мольбой.

— ...Дитрих...

Я скорее угадала, чем услышала, шопот Андрея Ноча.

Трудно объяснить себе, что руководило мной в тот момент, когда я махнула рукой, показывая Дитриху, чтобы он шел к нам.

Плац был пуст. Из-за дождя не было даже гуляющих в блоках рядом и напротив нас.

Дитрих упал на землю, приник к ней на момент, а затем валиком подкатился под нижний ряд колючей проволоки. Она зацепила его за одеяло, но он рывком освободился, встал и, обходя барак, пошел к входным дверям.

Кто видел Дитриха, кроме меня, Ноча и Копича, которому мы показывали, как делать заготовки?

...Человек в одеяле вошел в дверь, у которой стоял смастеренный инвалидами шкафчик, без стекла, в котором мы выставляли особенно удачные работы: куклы, игрушки, ботинки, переплетенные альбомчики, закладки и обложки для книг. Повернувшись спиной к работавшим, он стал как бы рассматривать эти предметы. Я подошла к нему, чувствуя, как у меня в горле пульсирует кровь.

— Подарок для жены? — беспечным тоном удалось мне выговорить. — Посмотрите эту сумку. Ее и на свободе не доstanете! Или эти голубые полуботинки: самый лучший материал — французские шинели! Или этот альбом? Да? — И, не ожидая ответа, добавила: — Тогда идем в переплетную.

Переплетная находилась напротив, через коридор. Маленькая комнатка, в ней «бункер» — две кровати одна над другой, большой стол, переплетный нож и пресс и полки с материалами. Там работали и жили главный переплетчик Тони Каух и его помощник Сепп Майерхофер. Им можно было верить. Они будут молчать, как могилы...

Они оба знали Дитриха в лицо. Не успели мы войти, как Тони, не спрашивая, ловя все на лету, сказал: — Ты уходи! Иди обратно в мастерскую. Молчи — никому ни слова! А мы поговорим потом...

Когда я вернулась, мне было легко прочесть в глазах, кто видел и узнал Дитриха: кроме Ноча и Копича, лейтенант Зе-ефранц и капитан Вальтер Штарк. Они — солдаты. Не выдадут...

А около бани шла возня. Вывели всех купавшихся. Им не дали даже одеться. Завернутые в одеяла, голые и мокрые, дрожащие от холода, они были построены, и тут же Кеннеди вел допрос. Люди отрицательно качали головами, разводили руками. Рядом с Кеннеди стоял заведующий баней д-р Амброз. Повернувшись к нему, наш «повелитель» что-то орал, тыча прямо ему в лицо свои жирные кулаки...

Баню обыскивали, также и самое помещение, и штабели дров для топки, бросая вниз поленья.

Очевидно, обыск и допрос ничего не дали. Людей повели обратно одеваться, и даже Амброза не увели в ФСС.



Никого из нас не интересовало, почему Дитрих попал в Вольфсберг. Был ли он тяжким преступником, или просто одним из многих — не играло роли. Главным мы считали факт, что именно один из нас находится в опасности, и его необходимо спасти.

До самого вечера я не шла в переплетную, чтобы не привлечь чье-либо внимание. Сам Каух принес мне готовые ве-

щи — тетради для людей, посещавших разные курсы, и в первой же я нашла записочку, которую я прочла и быстро засунула в животик медвежонка, которого набивала паклей. В записке стояло: «Материал сложили под кровать. Он — портящийся и долго не выдержит. Нужно найти лучшее место. Что дальше?»

— Что дальше?

Только вечером нам удалось, не привлекая внимания, устроить маленькую конференцию. Кто-то подал мысль. Перед входом в наш рабочий барак стояла старая уборная, небольшая хата, состоявшая из двух отделений, умывалки и помещения с «тронами». Прошлой зимой от морозов полопались все трубы, и ни умывальниками ни отхожим местом никто не пользовался. Нам разрешили временно складывать там отбросы материалов и кучи пакли для набивки игрушек. Мы вспомнили, что этот барачек имел чердак, на который можно было пройти через квадратный прорез, прикрытый доской.

Когда пришел за инвалидами Джок и развел по баракам, когда блок был заперт на замок, Тони Каух и Сепп Майерхофер пошли «выносить мусор» в заброшенную уборную. В большом мешке, под тяжестью которого кряхтели несущие, они вынесли Дитриха, подняли его и воткнули в прорез в потолке, забросив туда тряпья, два - три старых одеяла и шинели.

На некоторое время проблема была решена, но как быть с едой, что делать дальше?

Той же ночью в женском бараке я посвятила в тайну Дитриха нескольких подруг. Произведен был сбор галет, которые мы в это время получали вместо хлеба, собрали кое-что из продуктов, пришедших в посылочках: кусочек козьего сыра, краюшку высушенного крестьянского хлеба, головку лука. В большой котелок был слит чай. На следующее утро я принесла все собранное в мастерскую, и только ночью Тони Каух забросил это Дитриху.

Так, на чердаке заброшенной уборной, некий вольфсберговец, Фриц Дитрих, просуществовал 12 дней... Дни были жаркими, ночи — еще холодными. В полном одиночестве, получая передачу только раз в сутки, Дитрих лежал, закопавшись в тряпки, боясь быть обнаруженным.

Конечно, он не мог ждать конца лагеря, питаюсь крохами, которые мы ему уделяли. Нужно было что-то выдумать, как-то выбросить его за пределы нашего «колючего городка».

Тони Каух, этот вечно веселый, остроумный и добродушный переплетчик, в прошлом был сержантом иностранного легиона в Африке, а во время войны — «ширмайстером», подвозившим аммуницию на грузовике на передовые позиции, часто во время боев, под ураганным огнем. Его испугать было просто невозможно, и жизнь развила у него особую способность быстро соображать и, несмотря на риск, так же быстро и бесстрашно действовать. Он и предложил:

— А мусорная прицепка? Что, если выбраться со вторника на среду из бараков, подкатиться под проволоку, взяв с собой Дитриха, и закопать его в гороховую шелуху в прицепке? На следующее утро его вывезут из лагеря. По дороге он выскочит на каком-нибудь завороте — и поминай, как звали! Ведь на прицепке нет сопровождающих. Конвойный сидит в будке с шофером.

— Но как же Дитрих будет двигаться на свободе? Одетый в лагерные лохмотья, он сейчас же бросится в глаза. Кроме того, он долгие часы пролежит под вонючей, разлагающейся шелухой и другим мусором и весь промокнет в зловонной жидкости!

— Ерунда! — упрямо заявил Тони. — Я и об этом подумал. Все можно устроить. Необходимо достать хорошее гражданское платье, скажем, народную одежду. У многих теперь есть такая. Белую рубаху, шляпу с кисточкой из козлиной бороды,

кожаные короткие штаны, белые чулки - «доколенки» и пару полуботинок. Сочиним, что это нужно для театра. В каждом блоке по одному предмету. Ты, — обращаясь ко мне, приказал он, — достань в складе старые дождевые пелерины. Мы в них завернем Дитриха и закопаем под шелуху. Понятно?

— Понятно. А он-то согласен?

— Спросите его, на что он не согласен!

Правда: другого выхода не было.

Женщины, посвященные в план «операции Дитрих», взяли на себя снабжение одеждой. Оне выпросили ее у знакомых во время гуляния и передали мне. Все приготовления были проведены к назначенному дню. Подошла Троица. Мы знали, что ирландцы и шотландцы проведут этот праздник весело — будет опять стрельба, народные танцы под звуки волюнок. Праздновали они два дня и на третий, во вторник, ходили смутные, с больными головами, и все еще под парами алкоголя. Этот день мы и выбрали, зная, что бдительность будет ослаблена.

Ночью, в эту знаменательную дату, Каух спустил Дитриха с его чердака.

Все соучастники с трудом скрывали волнение. Операция была опасной. Каух, Ноч и Копич, как самые сильные, взяли на себя провести ее в жизнь. Они должны были вместе с Дитрихом выползти на животах под колючей оградой их блока и ползти почти до самой прицепки, вдоль неглубоких канавок, окружающих плац, ловя интервалы между вспышками рефлекторов, кружащих по лагерю. Возбравшись на прицепку, они должны были раскопать вонючую шелуху, погрузить на дно завернутого в плащ-палатку Дитриха, закопать его и предоставить капризу судьбы.

В голову приходили разные возможности: они могли по дороге попасть в руки не во-время вышедшего патруля; могли

случайно не вывезти прицепку в среду... Дитрих мог задохнуться...

Правда, время было точно высчитано. Наблюдая за англичанами, наши точно знали, когда происходят смены часовых, в какие интервалы солдат на ближайшей вышке включает свой рефлектор, сколько времени возьмет у них добраться ползком до цели.

В этот вечер время тянулось, как на зло, медленно. Вернувшись в женский барак, я не находила себе места. Когда, в 10 часов вечера, потушили свет, в моей комнате собрались посвященные в тайну женщины. Одиннадцать... Двенадцать... Час ночи. Ровно через двадцать минут наши приступят к выполнению «операции Дитрих»; она займет минимум полчаса.

Вдруг, в половине второго, раздались выстрелы и крики. Мы застыли. Кто-то вскрикнул громко: — Нет! Нет! Этого не может быть!.. Неужели?..

Стрельба так же внезапно прекратилась, как и началась. Все затихло. Мы, не ложась, просидели еще час, но потом разошлись. Лагерь молчал. Сонливо ползли лучи рефлекторов, и часовой на вышке около нашего барака насвистывал веселую песенку.

Утро, солнечное и ясное, ничем не омрачилось. Пришли «фрасстрегеры». Мы спросили их, что за стрельба была ночью. Стрельба? Ах, да! Перепились солдаты. Обычная история.

Когда я пришла в мастерскую, инвалиды были уже по местам, шили, работали. На пишущей машинке старательно выстукивал слепой Ханзи. Я незаметно проскользнула в переплетную. Каух сказал, что «операция» прошла исключительно хорошо. Пьянство солдат помогло; патруль опоздал более, чем на полчаса. Дитрих давно уже лежал под покровом шелухи, а заговорщики вернулись по баракам, когда раздалась стрельба.

Работа шла своим порядком, но мы, знавшие о Дитрихе, невольно поглядывали через окно на прицепку. Как себя чувствовал там этот несчастный?

Мимо прошел комендант в шотландском кителе, похлопывая себя по ляжкам стеклом. Около прицеппки вдруг оказался капитан Марш. Все это было обычным, но сегодня, казалось, могло иметь роковое значение.

Подходило время для прихода грузовика. Он уже стоял перед кухней, и его нагружали банками, ящиками, кухонными отбросами и остатками шелухи. Наконец, машина подползла к прицепке. Выскочил шофер и, набросив крюк на кольцо, закрепил их цепью. Нам казалось, что все делалось чрезвычайно медленно. Около него остановилось несколько киперов; завязался разговор, закурились папироски. Наконец, шофер раздавил ногой окурок, вспрыгнул в кабину, скрипнули тормоза, загудел мотор. Грузовик медленно двинулся к выходным воротам нашего лагеря.

Я вышла из блока и пошла к женским баракам. Машина остановилась перед будкой «пен-офисера». Вышел Марш; вспрыгнул на грузовик, взял в руки длинный, как копье, острый шест и стал вонзать его в месиво мусора и отбросов. Он уже перешагнул в прицепку, но в его будке зазвонил телефон. Марш спрыгнул и махнул рукой. Опять загудел, зафыркал мотор, и машина с Дитрихом выехала в английский двор, а затем на залитую солнцем дорогу к свободе.



В полдень этого же дня, когда разносчики еды всего лагеря столпились около кухни, был дан приказ разойтись. Вошел взвод солдат под оружием. Со всех работ стали снимать заключенных. Солдаты шли по мастерским, складам, огороду, собирая народ и разводя его по блокам. Всем приказано было стать у своих коек.

Началась перекличка и считка, сначала по комнатам и баракам, потом по блокам. Считали киперы и сопровождавшие их помощники. Затем появились сержанты. Их сменили офицеры. Наконец, пошел по блокам Кеннеди в сопровождении Марша.

Мы, с бьющимися сердцами, прислушивались к разговорам. Нас считали в мастерской, оставив нам привилегию не расходиться по своим баракам. Пришел Джок. На вопрос, что случилось, он пожал плечами и сказал: — Все на месте. Число сходится, а они все еще считают!

Прошло более пяти часов. Нас все еще считали, перекликали, строили. Наконец, и мастерскую разогнали «по домам». К вечеру посередине главной аллеи, между будкой «пен-офисера» и кухней, поставили столы и стулья. Расселись офицеры. Пришел сам комендант. Заключенных выводили из блоков и строили. Капитан Марш вызывал поименно каждого. Нужно было ответить: «здесь!» и отойти в сторону. Одновременно все офицеры делали отметки в лагерных списках, которые были им розданы во многих экземплярах. Все были на месте!

Наконец, когда нам было разрешено разойтись, Марш остановил движение и дал объяснение происходившему.

— Нам очень жаль, что мы вам скомкали весь день и подвергли всей этой процедуре. Мы попались на удочку какого-то анонимного доносчика, который по телефону сообщил, что из мусорного грузовика, то-есть его прицепки, по дороге к свалке выскочил человек и скрылся в придорожных кустах. Пока мы вас считали и пересчитывали, полевая жандармерия искала беглеца в окрестностях города. Вы все на местах, а жандармы никого не нашли. Сейчас вы получите обед вместе с чаем, и мы вам выдадим лишние порции хлеба.

Итак, мы вздохнули облегченно. Мы получили полное подтверждение того, что Дитрих спасен. Сбросив вонючую плащ-палатку, чистенький, в белой рубашке и носках, он, наверно, шагнул к своему селу.



КОНЕЦ ВЛАДЫЧЕСТВА

«Тоталитарная» система в лагере Вольфсберг кончилась. Капитан Чарлз Кеннеди перестал быть рабовладельцем, человеком, от которого зависела судьба заключенных. Как нам потом рассказывали, кончились его бесконтрольные поездки в Югославию, в советский сектор Вены, его личные «услуги», так щедро оказываемые «хозяевам» Турахских высот.

Постепенно лагерь все больше и больше, в проверочном и следовательском смысле, переходил в руки австрийских властей. Его стали покидать группами. Пришел день, когда я потеряла всех своих друзей. Потеряла? Нет, их выпустили, но связь между нами осталась. К дню рождения я получила «с воли» три телеграммы, в которых мои девочки поздравляли свою «лагер-мutter».

Женский блок пустел. Нас «свернули» в один небольшой барак, который отрезали от соседнего, мужского блока. Прежний «пен» был заколочен со стороны аллеи досками, и там поселили людей из «С. П.». Их все еще было очень много.

Куда шли люди из Вольфсберга?

Одних отправляли в лагерь для «Д. П.» (переселенных лиц); это были, главным образом, немцы, которые там ожидали транспортов в западные зоны Германии. Никто из «вольфсберговцев», конечно, не возвращался туда, где были советчи-

ки. Другие просто возвращались по домам, и, только в случае, если они были военными, их слали сначала в лагеря для «ликвидации военной обязанности», по-немецки «Энтлассунгслагер». Третьи, политически замешанные, направлялись в тюрьмы, обычно в те части Австрии (состоявшей, по образцу Америки, из «штатов»), откуда они были родом. Таким образом, их судьбу решал австрийский суд. Он или оправдывал заключенных и быстро выпускал на свободу, или давал небольшие сроки заключения, или «награждал» вердиктом «принудительные работы» обычно на полгода или год.

Будучи уже свободной, я не раз встречала бывших «вольфсберговцев», работавших небольшими колоннами на поправке железнодорожных путей, дорог, туннелей и пр. Конечно, я их всех не знала в лицо, но мужчины из «373» знали всех женщин — нас было гораздо меньше. Обычно из колонны раздавался чей-нибудь голос: — Кенн' и' Ди, одер кенн' и' Ди нэт! — и крики приветствий. Все они знали мое имя. Такие встречи были полны радости и дружбы и находили глубокий отклик в моей душе. Во время пути в Зальцбург, раз я ехала с целой группой «лагер-камерадов», работавших на поправке туннеля Мальниц. Среди них был и М., автор и организатор знаменитого подкопа из церковного барака. Все они были веселы, прекрасно выглядели, загорелые и пополневшие, и не жаловались на свою судьбу. Австрия хорошо их кормила и постепенно сокращала сроки наказаний.

Последний период моего пребывания в Вольфсберге был в моральном отношении очень мучителен. Майор все еще был в «С. П.», и я волновалась за его судьбу. За все время пребывания в «загоне», его, правда, ни разу не допрашивали, ему не пред'являлись никакие обвинения. Его просто «консервировали» и держали «на всякий случай».

Не теряя времени, Г. Г. и там преподавал русский язык и сплотил вокруг себя небольшую, но очень дружную компанию. Конечно, отсутствие самой элементарной «лагерной свободы» сказывалось на нем. Я всегда поджидала людей из «С. П.», когда они шли в баню, и у меня сжималось сердце: Г. Г. поседел, еще больше похудел, и я видела, что его бравая осанка, военная походка и гордое держание головы стоили ему больших усилий.

Из пятидесяти двух инвалидов в моей мастерской осталось только тридцать один. Из них 18 ампутированных и все еще слепой Ханзи и безногий Карл К.

Не легко было смотреть вслед уходящим. Я знала, что в душе у каждого росла зависть, что дни тянулись еще медленнее, а ночи казались еще более мрачными и безнадежными. Бросалось в глаза, что из лагеря не отпускают «ауслендеров» — иностранцев. Очевидно, не знали, что с ними делать. Казалось бы, так просто — отпустить в лагеря для «Д. П.» или на поручки кого-либо из граждан Австрии, но это не делалось. Я старалась занять их, как можно больше, работой. У нас появилась новая секция — резчиков по дереву. Капитан Рааб привез нам ассортимент ножей для мелкой работы, и это новое искусство захватило многих «двуруких». Наконец, из остатков какой-то швейной машины и самых невероятных частей был сконструирован токарный станок. На нем работали и однорукие. Главным образом, все же шла «сапожная индустрия». Инвалиды не покидали мастерской по 10-12 часов, по своей собственной воле.

Ввиду того, что власть Кеннеди осталась только еще над «С. П.», в лагере немного улучшилось и питание. Нам стали выдавать «сухие продукты». Мы получали немного сахара на руки, сухого молока и по субботам выдавали американские консервы, колбасу «Свифт» или «Прем», коробку на четырех человек.

Положение генералов тоже значительно улучшилось. О них заботился сам английский бригадир. Два раза в месяц их даже выводили, в сопровождении ад'ютанта коменданта лагеря, в город, где они делали кое-какие покупки и посещали церковь. Лагерная протестантская церковь больше не функционировала. Священник был отпущен на волю, и приезжал только католический пастор.

Странно выглядел Вольфсберг к концу лета 1947 года. В нем находились едва полторы тысячи людей. Сонные, опустившиеся, заросшие бородами, потерявшие всякий интерес, эти люди слонялись без дела по лагерю. Днем разрешалось посещать другие блоки, и только женщины все еще находились под строгим контролем.

Контроль над «С. П.» был тоже увеличен. Эта «последняя игрушка» в руках Кеннеди должна была в полной мере чувствовать его власть. Он все еще таскал людей к себе на допросы и делал это ночью, когда в лагере не было австрийских полицейских чиновников, которых он не допускал в «С. П.», держа у себя списки людей и называя их «злостными военными преступниками», в которых заинтересованы другие государства.

Правда, капитану Раабу удалось несколько раз проникнуть и в это запретное отделение, и он снабдил заключенных книгами и шахматами.

Начал опустошаться и лазарет. В нем остались только два врача и три сестры милосердия. Они ухаживали за больными, и туда были переселены все инвалиды.

С момента, когда я получила сообщение о том, что мне не угрожает выдача, мои нервы успокоились. С утра и до вечера я концентрировала свое внимание на настроении своих «питомцев», стараясь облегчить их переживания. В этом много помогали заботы девушек УМСА. Оне выхлопотали через интернациональный Красный Крест разрешение проверки старых про-

тезов инвалидов, износившихся или устарелых, благодаря известным деформациям ампутированных культяпок, и приобретения новых для тех, кто их не имел.

Инвалидов под конвоем увозили в Грац и там брали мерку, примеряли новые, поправляли старые протезы. Раз так повезли безногого фельдфебеля Артура Грюннера. Посадили его в приемной и приказали ждать очереди. Он просто вышел, воспользовавшись отсутствием контроля — и как в воду канул. Больше его никто не видел. Этот «побег» одноногого человека с костылем был просто необъясним. Очевидно, кто-то ожидал его перед больницей, ожидал с автомобилем или телегой. Далеко уйти сам он не мог. Конечно, это отразилось на остальных. Месяц никого из ампутированных не возили в Грац, а затем отправили под большим конвоем и не спускали с них глаз.

Лето 1947 года было жарким, душным, пыльным и сухим. Лагерь Вольфсберг отличался какой-то в'едчивой черной пылью. Из-за засухи она, несомая постоянными ветрами, забиралась под одежду, раз'едала влажную от пота кожу, вызывала воспаление глаз. Казалось, что в пустеющем Вольфсберге становилось жить тяжелее, чем тогда, когда в нем было свыше пяти тысяч человек. Откуда-то была занесена бацилла дизентерии. Нам ежедневно давали угольные таблетки и в питьевую воду бросали кристаллики марганцевого калия.

Большим ударом для многих был перевод капитана Раба. Он сообщил мне письмом из Вены, что срочно уезжает в Англию и свои заботы о нас передает квэйкерше Ханне Стандтон, шефу «Уэллфэр оффиса», лагеря для Д. П. в Клагенфурте, носившего название Вайдмансдорф «Б».

В женском блоке к осени остались только очень большие партийки, когда-то занимавшие высокие должности, и иностранки. Партиек часто вызывали к австрийскому инспектору,

и он сообщил им, что со дня на день ожидается их отправка в тюрьму г. Вольфсберга, откуда они будут доставлены на суд.

Пришел и этот день. Я жила в то время в одной комнате с все еще находившейся в Вольфсберге Урсулой Пемпе, Эрикой М. и Манечкой И. Очевидно, эту пруссачку присоединили к нам, иностранкам, среди которых были и венгерка Марта фон-Б. и две недавно прибывшие латышки, сидевшие два года в венской тюрьме советского сектора. Всего к этому времени в женском отделении было 42 женщины. Это из 432, сколько нас было в «самый разгар» нагрузки лагеря.

Накануне меня вызвал к себе австрийский инспектор. Сухой, длинный, с лицом сурового аскета и с деревянным, монотонным голосом, он долго расспрашивал меня о моем прошлом, деловито, без симпатии или неприязни. Перед ним лежала пачка бумаг, которые он перелистывал и делал какие-то отметки.

— Что меня ожидает? — спросила я в конце «интервью».

— Ответить трудно. Причина этому очень проста: вы не сделали никакого преступления против Австрии. Вы не принадлежали к партии. Югославия больше не предъявляет на вас прав. Границу вы перешли легально, т. е. с частями, сдававшимися в плен... Нам, австрийским властям, вообще непонятно, почему вы попали в Вольфсберг.

— Другими словами...

— Другими словами, мы ищем возможность убрать вас из лагеря.

Этот разговор оставил какое-то сумбурное впечатление в моей голове. Как так «ищут возможность»? Может быть, не возможность, а оправдание, почему меня не выпустили из тюрьмы в Фельдкирхене или из «сквозного» лагеря Эбенталь.

Вечером в инвалидную мастерскую зашел капитан Марш. Он долго рассматривал работы, взял себе пару собачек из чер-

ного бархата, отрезков чьей-то народной австрийской кофточ-ки, и любовался тарелкой с югославским гербом, резной работою однорукого инвалида Рудольфа Шеммеля, сделанной мне в подарок. Как бы между прочим, он спросил меня, переписываюсь ли я с моими «лагерными дочерьми», и что мне пишет Гретл Мак. Я не придавала этому никакого значения. Марш часто интересовался дальнейшей судьбой отпущенных на свободу женщин, которые регулярно писали в лагерь.

Посещения заключенных продолжались, но бывшие вольфсберговцы не имели права навещать оставшихся.

На следующее утро, как обычно, я пошла в мастерскую. Раздав работу, я присела рядом с Ханзи Г. и стала диктовать ему отрывок из книги, следя внимательно за его пальцами, не всегда попадавшими на правильные клавиши машинки. Часов около одиннадцати в мастерскую ворвался синеглазый капрал Джимми.

— Блонди! Беги в твой барак! Там что-то происходит.

В бараке действительно что-то происходило. Во дворе стояли все женщины. Их построил Эдди, заменявший у нас уже ушедшего из армии Джока Торбетта.

— В чем дело? — спросила я настороженно.

— Сейчас придет капитан Марш и прочтет список женщин, которых отправляют в тюрьму.

Появились Марш и австрийский инспектор. Стали читать список. Все «фрауэншафт», т. е. высокие партийки, которым предстоял суд. И вдруг — мое имя!

У меня перехватило дыхание. Почему я? Почему я с партийками? А что с моими инвалидами, с мастерской?

Как это ни странно — я не обрадовалась. Наоборот, у меня сжалось сердце. Куда меня шлют?

— Собрать вещи в течение получаса! — коротко приказал Марш. — Сейчас подойдет машина.

— Кэпт'н! — сказала я неожиданно для самой себя. — Я не хочу покинуть лагерь!

— Вас никто не спрашивает о вашем желании! — резко, вместо Марша, ответил инспектор.

— Почему? — спросил меня Марш.

— Я... я не хочу покидать инвалидов. Почему я пойду на свободу, а эти несчастные останутся здесь?

— Инвалиды тоже будут отпущены или переведены на положение подсудимых. В лагерь никто не попал по своему желанию и по своему желанию не может в нем остаться. Марш — марш! Бегом идите собирать свое барахло.

— Можно мне проститься с инвалидами?

— Их выведут к автомобилю.

Голова шла кругом. Хотелось плакать. Как ни страшна была жизнь в лагере, что я в нем ни пережила вместе с другими заключенными, но меня пугала неизвестность.

Партийки были быстро готовы. Их вещички были сложены в «рукзаки» или чемоданчики. Теперь хлопотали вокруг меня. Не могла же я выйти из лагеря в штанах, в форме!

Кто-то протянул мне красную юбку от национального австрийского костюма, кто-то дал блузку и синий передник. Чья-то рука уже протягивала безрукавку. На ноги — полуботинки изделия Андрея Ноча из инвалидной мастерской. Все мое барахло воткнули в мой рюкзак, разные лагерные воспоминания и изделия инвалидов просто завязали в кусок рваного лагерного одеяла.

— Антретен! — раздался голос Марша (постройтесь!).

Вышли перед барак. Перед моими глазами и сегодня встанет пустынный, мало населенный лагерь, забитые блоки, ветер, кружащий воронки черной пыли и приносящий нам запах высохшей, горькой полыни. Вдалеке очертания «Волчьей горы»,

на которой возвышался знакомый силуэт замка Вольфсберг и контур церкви...

Небольшой грузовик. Рядом с шофером — солдат с автоматом; два капрала, тоже с автоматами. Один из них — синеглазый Джимми. Он подмигнул мне, улыбаясь во все лицо.

Из инвалидной мастерской капитан Марш вывел всех моих питомцев. Им разрешено было подойти к грузовику вплотную.

Об'ятия. Поцелуи. Крепкие пожатия рук. Слезы на глазах у всех. Мне в руки суют какие-то подарочки. Кто-то из инвалидов быстро передает сто шиллингов. Целое богатство!

Вдали, в конце аллеи, высыпали все заключенные. Оттуда тоже крики, махание рук, пожелания...

Одна за другой в грузовик входят женщины. Главным образом, очень пожилые. Оне знают, что их ждет: тюрьма, суд и окончательное решение. Оне все же у себя дома, в своей Австрии. У них есть связи, знакомства. Все это — дамы из обшества. Многие — титулованные.

Я влезла последней. Сели на скамьи. За нами вошли Джимми и еще один капрал и, подняв задник машины, сели на него, положив автоматы на колени. За поясом у них были ручные гранаты. Зачем?

Глаза застилали слезы. Душили рыдания. Хотелось выпрыгнуть из этой машины и вернуться в тишину и дружеский покой мастерской, в среду людей мне подобных, понятных, ставших близкими, неотделимой частью двух лет жизни.

Уже потом в памяти воскресла картина, которой она тогда сразу не зарегистрировала: двери в барак ФСС, и в них капитан Кеннеди, машущий мне рукой. Улыбка во все лицо и крик: — До свидания, Ара!

До свидания? О нет, только не это! Только не новая встреча с Кеннеди!

Машина вышла в английский двор. На приступке, рядом с шофером, стоял капитан Марш. Он доехал с нами до ворот, ведущих на шоссе, прыгнул и, подойдя сзади к автомобилю, протянул мне и фрау фон-Д. руку.

...Открылись заветные ворота. Дорога. Громадные платаны слева, за ними поля, желтые, осенние, как бы подстриженные «под гребенку». Солдаты весело разговаривают, куря папиросы. Мои спутницы в прекрасном настроении. Все они, без исключения, радуются перемене и той заре свободы, которая блещет даже из-за стен тюрьмы, куда нас отправляют. Они поют свои песни, а у меня на душе мрак.

Там, сзади, в Вольфсберге, остался майор. Кто о нем теперь будет заботиться и стараться хоть чем-то, хоть записочкой, через баню, скрасить его одиночество и тяжесть сидения в «С. П.»? Там Маня, Урсула, Эрика, инвалиды...

В'ехали в город. Трясет на ухабах провинциальной мостовой. Переехали мост, площадь, свернули налево и остановились. Тюрьма.

Джимми и его друг выскочили из грузовика, отбросили задник. Автоматы на груди, висят на ремнях через шею. Протянули нам руки. Одна за другой, забирая вещи, мы прыгнули на землю. Солдаты позвонили, и перед нами медленно открылись большие ворота здания заключения.

Вышел чиновник. У него в руках список. Мы стали шеренгой, с вещами у ног. Не ожидая церемонии передачи, Джимми сунул в руки чиновнику свой список, прыгнул в машину, и вольфсбергский грузовик отбыл, обдавая нас облаком пыли.

Чиновник стал читать. Имя за именем. Названные женщины проходили мимо него во двор тюрьмы. Вызваны все. Список закончен — моего имени в нем нет.

— А вы? — изумленно спросил он меня.

— А я? — глупо и тревожно недоумевая, переспросила я.

— Кто вы такая? Вас в списке нет.

Назвала себя. Чиновник развел руками.

— Подождите. Я сейчас спрошу.

Дамы уже прошли через под'езд во двор. Я осталась на улице. Чиновник перед моим носом захлопнул ворота.

Пустынно. Кругом ни души. Ни одного прохожего. Направо — мост через реку. Ее берега сплошь покрыты густым ивняком и кустарником. Бежать?

Как два года назад, в Фельдкирхене, когда мы с майором оказались на улице перед тюрьмой и, имея возможность бежать, добровольно вернулись в свои камеры, не желая никого подводить, так и теперь я решила, что бежать мне не надо. Пусть будет, что будет.

Прошло минут десять. Соблазн побега опять стал возвращаться. Мною овладевало смущение. Решительно дернула за веревку звонка. Подождала. Еще раз позвонила. Дверца в воротах открылась, и появился все тот же чиновник.

— А вы все еще здесь?

— То-есть как это «все еще здесь»? А где же мне быть?

— Ну, ладно, идите за мной.

Типичный квадратный тюремный двор. Наши вольфсбергские дамы стояли посередине. Изю всех окон колодцем стоявшего здания, из-за решеток, были видны головы.

— Смотри, Ара, — сказали мне женщины: — тут много вольфсбергцев. Мужчины. Видишь?

В решетки протягивались машущие руки. Многих я узнала в лицо.

— А что с тобой? — спросили меня дамы.

— Не знаю!

К тюремной кухне потянулись арестанты, неся котлы на палках. Знакомая картина. «Фрасстрегеры». Среди них мелькнуло очень знакомое лицо. Нет! Не может быть! Не хотелось верить глазам. Неужели же все было даром? Это же... Дитрих!

Арестант передал свой конец палки, на которой висел котелок, соседу и подошел ко мне.

— Ара!

— Дитрих? Что вы здесь делаете? Почему... Неужели же вас поймали?

— Нет! Я пробыл неделю дома, кое-как наладил дела для семьи и добровольно сошел с гор и явился в тюрьму. Пусть меня судят мои земляки. Я не боюсь последствий и предпочитаю снять с себя бремя страха. Я боялся только Кеннеди и выдачи в Югославию. Вы не знаете моего преступления? Я застрелил из охотничьего ружья одного из югославских, титовских пограничников, которые, как кровожадные ищейки, преследовали беженцев. Случайно стал свидетелем перехода целой семьи из Югославии, по которой стреляли пограничники. Взял одного на мушку и... Семья перешла в Австрию, но на следующий день меня арестовали. Приехал за мной Кеннеди. Бил, а потом отвез в Вольфсберг.

Зазвонил колокол. Тюремная кухня стала выдавать еду. Дитрих обнял меня и быстро зашагал к своему котелку.

Позже, я была раз. в его доме; меня пригласила семья Дитрих. Сам беглец был вскоре освобожден, после нашей встречи в вольфсбергской тюрьме. Суд наказал его за незаконное обладание оружием, в то время, когда было приказано сдать все, включая и охотничьи ружья. Он был присужден к шести месяцам заключения, но ему засчитали все сидение в лагере, и он вышел свободным человеком прямо из зала суда.



Дамы все еще ожидали размещения по камерам. Она буквально веселились, стоя во дворе. Меня же вскоре вызвали наверх, к председателю суда. В его кабинете стоял и начальник тюрьмы.

— Фрау Делианич, — сказал судья. — Я только что говорил с лагерем Вольфсберг-373. Вы никак не подходите к нашей юрисдикции. Австрийское правосудие не имеет к вам никаких претензий. Вас отправили к нам по ошибке.

— Значит... обратно в лагерь?

— Нет! Лагерь уже вычеркнул вас из своих списков. Вы свободны.

— Но как же?.. У меня нет никаких документов... Куда я денусь? Все мои бумаги находятся в канцелярии ФСС. Куда я ни пойду, где ни захочу переночевать, от меня потребуют удостоверения...

— Идите обратно в лагерь. Капитан Марш сказал, что он выдаст вам какую-то бумагу.

— А мой «багаж»?

— Оставьте его временно здесь.



Два километра, которые отделяли город Вольфсберг от лагеря, я пробежала, как будто у меня выросли крылья. На часах у ворот стоял солдат, которого я знала в лицо.

— Хэлло, блонди! — крикнул он мне весело. — Вас ждет капитан Марш.

Капитан встретил меня, улыбаясь.

— Скажите спасибо капитану Раабу. Это он, уезжая, в Вене уладил вопрос о вашем освобождении. Вот конверт с вашими личными бумагами — «груз» вашего прошлого. Тут и карточки, которые у вас были взяты. Проверьте все. А вот удостоверение от австрийских властей, о том, что вы выпущены из лагеря Вольфсберг и можете жить в Австрии. Одно условие:

прямым путем в лагерь Фейстриц для «энтлассунга» из армии. Через него проходят все военнослужащие. Оттуда в Клагенфурт, где вас ждет Гретл Мак. Остановитесь у нее и затем свяжитесь с мисс Ханной Стэндтон. Она вас устроит учительницей ручных работ и сербского языка в лагерь Вайдмансдорф, где живут югославянские «Ди-Пи». Счастливого пути... Нет, постойте! Для вас есть сюрприз. Кто-то снял для вас комнату в отеле «Кэрнтен». Там вас ждут друзья. Прощайте и не поминайте меня лихом!

— Капитан! Спасибо — но могу я еще раз видеть моих друзей?

— Нет! Это запрещено правилами, и, кроме того... не бедите ни свои ни их душевные раны.



В отеле «Кэрнтен» меня действительно ожидал сюрприз. Там меня встретила милая Джинджер, Анне-Мари Ш. Выйдя из лагеря, она устроилась временно переводчицей в английскую комендатуру.

Впервые после двух слишком лет я выкупалась в ванне и ела настоящий ужин, пользуясь тарелкой, вилок и ножом. Эту ночь, первую ночь на свободе, я, несмотря на мягкость постели, прохладное, тонкое белье, подушки, не могла сомкнуть глаз. На следующий день меня ожидал второй сюрприз. Из Вены приехал мой питомец, молоденький поручик Буби Зеефранц, со своей матерью. Джинджер сообщила им, как она обещала, о моем выходе из лагеря, и они приехали поблагодарить меня за мое участие, оказанное молодому Зеефранцу в лагере, и предложить мне свою помощь.

В городке Вольфсберг я встретила со многими бывшими соседями. Весть о моем выходе на свободу облетела соседние села. Три дня, которые я провела в отеле «Кэрнтен», прошли под знаком лагеря «373».

Для меня дальше все шло по плану, который выработал незримый благодетель, капитан Рааб. Я прошла через «энтлас-сунг» в Фейстрице, где опять встретила друзей, девушек-немок из «373», уже месяц бывших на свободе и ожидавших отправки транспорта в Мюнхен. Получила документ о выходе «в чистую» из немецкой армии, переставшей существовать два с половиной года тому назад. В Клагенфурте меня, как родную, приняли в дом Гретл Мак. Там меня встретили все подруги. Пришли мои лагерные «дочери», и Финни Янеж, и Гизелла Пуцци, и маленькая Бэби Лефлер. В одном Клагенфурте было свыше пятидесяти девушек и женщин, прошедших через Вольфсберг.

Через неделю после приезда из Фейстрица, я уже получила место учительницы в лагере Вайдмансдорф, где и дождалась перед Св. Пасхой 1948 года освобождения и приезда майора. Меньше чем через год он, наконец, соединился со своей храброй женой, которую не могли задержать никакие границы...

Но для меня лично лагерь Вольфсберг, до самого конца его существования, не переставал быть центром мыслей и стремлений. В этом мне много помогла капитан Ханна Стэндтон. С первого момента моего поступления на службу лагеря Вайдмансдорф, где я занималась с ребятами в школе, уча их ручным работам, сербскому языку и Закону Божьему (совершенно новая для меня профессия) и одновременно каждую неделю преподавая ручные работы в лагере для туберкулезных переселенных лиц в Т. Б. лагере, в Шпиттале на Драве, я смогла убедить квэйкершу в том, что во мне все еще нуждаются инвалиды в Вольфсберге.

Благодаря этому, ей удалось получить, казалось бы, невозможное разрешение: посещать вместе со мной инвалидную мастерскую в лагере «373». Будучи уже свободным человеком,

я, в течение четырех месяцев, семь раз приезжала в Вольфсберг, и меня допускали в все более и более пустеющую мастерскую, пока, наконец, ее не закрыли, после освобождения последних семи инвалидов. Эти посещения для меня были всегда очень радостными и вместе с тем будоражили все старые воспомина-



В дни приезда в Вольфсберг мне удавалось видеть и генералов. Совершенно случайно я была в городе в тот день, когда их отправляли в Германию, и смогла проводить их на вокзал и передать им небольшие знаки внимания. Хотя им больше и не угрожала смерть, но все еще было возможно пожизненное заточение, и мне хотелось вызвать хоть улыбку на их строгих и сосредоточенных лицах.



Скромная жизнь учительницы в лагере для переселенных лиц вполне меня удовлетворяла. Не было материального избытка, но вынесенные из Вольфсберга знания давали мне возможность прирабатывать. Я приобрела маленькие колодки и по вечерам сидела и шила детские ботиночки из всевозможного материала, от распаренных кожаных перчаток и дамских фетровых шляп до настоящей кожи, которую мне приносили матери. Возраст моих «потребителей» был от шести месяцев до 4 лет. Жила я в бараке для служащих лагеря, в комнатке, в которой с трудом умещались кровать, стол, стул и буквально игрушечных размеров плита, имевшая даже «духовку». Этот вид миниатюрных универсальных печей знаком всем прошедшим через лагерь. Благодаря сувенирам из Вольфсберга, мне удалось придать даже уют этому гнездышку.

В лагере Вайдмансдорф «Д» была русская церковь. Перед Рождеством 1948 года я говела. Однажды, возвращаясь

поздно из церкви, я столкнулась у ворот нашего лагеря «Б» с хорваткой, лагерной уборщицей, жившей в одном бараке со мной.

— Гэй! Учительница! — сказала она мне, таинственно подмигивая одним глазом. — Идем ко мне. Новость есть.

По дороге она мне шопотом рассказала: — Тебя не было, а тут появились какие-то три парня, югославы. Не вошли в лагерь через ворота, которые охраняют полицейские, а, как собаки, подкопали снег под проволочной оградой, где никого нет, за пустыми складами, и влезли... Осторожно о тебе спросили. Ну, их и привели в наш барак. Небритые, оборванные, голодные, выглядят страшно. Молчат. Рассказывать ничего о себе не хотят. Я думаю, что они из Югославии через границу бежали...

Заметив, вероятно, замешательство на моем лице, она торопливо добавила: — Ты уж не бойся, «полковник» (так она меня почему-то называла). Я не выдам. Сама с усами — знаю...

Я терялась в догадках, кто могут быть мои таинственные посетители. Войдя в барак, я немного замедлила в коридоре шаги и, когда подошла к двери своей комнаты, очень осторожно постучала. Щелкнул замок, и кто-то выглянул в щель.

— О, сестра!

Я вошла. На моей постели сидели трое: четник Душко Р. и усташи Милош Дж. и Влахо П. из «С. П.» Вольфсберга.

— Бежали... — не дожидаясь моего вопроса, сказал Душан. — Неделю тому назад бежали из Вольфсберга... Неделю скрывались, пока не стало невозможно. Вот и пришли пешком к тебе...

Я плотно закрыла за собой дверь, поправила одеяло на окне, служившее мне ночью вместо ставен. Нужно было людей накормить, дать им возможность умыться, выбриться, переодеться и где-то переночевать.

Верным помощником оказалась хорватка Катица. Простой человек, совершенно безграмотная, она сердцем почуяла, что тут нужна быстрая помощь. Муж ее работал на лесозаготовках для лагеря и отсутствовал по неделям. Комната ее была раза в два больше моей. Уложив спать маленькую дочку, она жарко растопила плиту, поставила на нее баки с водой и выложила на стол бритвенные принадлежности мужа. В это время я уже сбегала в соседнюю с лагерем лавочку и по «черному рынку» купила еду и скоренько приготовила ужин. Через какой-нибудь час у меня в комнате сидели три благообразных молодых парня, одетые в чистые рубахи, вымытые и выбритые. Они старались есть медленно и степенно, хотя я видела, что удовлетворить их голод — дело не легкое.

Глядя на них, я вспомнила те дни в соседней с «С. П.» мастерской, когда мне Пауль Вюст сообщил о том, что неровен час, не то четник зарежет усташей, не то они задушат его ночью. Передо мной сидели теперь три родных брата.

В эту ночь я узнала историю их побега, в котором главную роль играли клещи-кусачки и ножницы, оставшиеся после истории с доской в «Специальном Загоне».

Бежать из лагеря и быть опять гонимыми животными, не зная немецкого языка, не имея ни денег ни документов, им не хотелось. Сдружившись, объединенные общим несчастьем, они часто говорили о том, что лучше уж дожидаться момента, когда перед ними законным образом откроются ворота «С. П.». Казалось, что все выдачи прошли, не коснувшись их троих. Давно уже увезли и выдали хорватских офицеров. Все реже появлялся капитан Кеннеди на их горизонте.

Думалось, что все теперь — лишь вопрос времени, но внезапно из «С. П.» забрали трех словенцев - егерей. От своего кипера узнали, что все они были выданы в Югославию. Предварительно этих несчастных вызывали на допрос. Прошло не-

сколько дней, и на допрос вызвали сначала усташей, а затем и четника Душана. Это было как бы сигналом. Дольше оставаться и верить в благосклонность судьбы они не смели.

Уже в течение месяцев был сконструирован план побега. Место — ограда, смотрящая на барак лазарета, теперь почти опустевший. По ночам, в безлунье, иной раз в дождь, эти парни поочередно выползали из барака, стараясь избежать чьего бы то ни было внимания, и резали спирали проволоки, каждый раз складывая ее так, чтобы никто не заметил следов прокладывания дороги. Когда проволока была вся перерезана, пришла очередь доскам. С большим риском удалось вытянуть заржавелые громадные гвозди, обрезать их кусачками и головки с небольшими кусками стержня опять вставить в дыры. Первый этап был закончен. В случае побега нужно было разгрести перерезанную проволоку, оторвать доску, выползти на дорогу, лежащую между оградой «С. П.» и лазаретом, перебежать ее и буквально под самой наблюдательной вышкой перерезать четыре ряда проволочной ограды, между которой лежали спиральные мотки колючих заграждений, и, перепрыгнув ров, выскочить на поле, ведущее к свободе.

Все это нужно было делать бесстрашно, беззвучно, без промедления и остановок. Сколько раз в мыслях они проделывали этот путь! Сколько раз, идя в лазарет, куда стремились попасть при любом случае, они глазами меряли расстояние, проверяли все возможности...

После допроса у Кеннеди, в их умах укрепились мысли, что спасение лежит только в побеге. Иначе — путь поведет их по следам трех егерей: Югославия, и там смерть или каторга, полная мучений.

Дальше откладывать было невозможно. Первая дождливая темная ночь — и три новых друга осторожно покинули барак, стараясь не будить спящих соседей. Быстро разобрали

они руками заранее порезанную проволоку. Легко отскочила доска. На животах, один за другим, они, как змеи, выползли на дорожку между оградой «С. П.» и лазаретом и... замерли. Тускло, через косые потоки дождя, светили фонари на высоких столбах. На вышке не видно силуэта часового, не светил рефлектор, не блуждал вокруг его бдительный луч. Слышно было только, как солдат наверху, очевидно, присев на корточки, прячась от дождя, тихо насвистывал какую-то модную песенку. Разве он мог думать, что в почти опустевшем лагере, да еще в такую непогоду, кто-то пустится в авантюру бегства?

Припав всем телом к земле, беззвучно, по лужам ползли три тени. Добрались под вышку и осторожно стали кусачками и ножницами резать проволоку, Щелк-щелк-щелк... Слышно ли там, наверху? Им казалось, что это щелканье раздается громче выстрела. Руки были в кровь исколоты ржавыми колечками. Кто на это обращал внимание? Резали и продвигались вперед, а наверху раздавалась, временами заглушаемая порывами ветра и дождя, песенка о том, как влюбленные танцуют «Чик ту чик» — щека к щеке.

Впереди ползли усташа. Душан замыкал шествие. Наверху раздался стук подкованных сапог. Вспыхнул рефлектор, но его луч ощупал только лагерь и потух. Этот момент нужно было использовать, и быстро-быстро, в четыре руки, были перерезаны последние клубки проволоки, затем их горизонтальные паутины, и путь к свободе был открыт. Рывком перекинувшись через ров, бросился вперед Влахо, за ним Милош и последним Душан. Часовой услышал движение, быстро зажег рефлектор, и в его луче показались две убегающие фигуры. Раздался крик: — Братья! Бегите, а я погиб... Это Душан запутался в острых щупальцах перерезанных проволок, впившихся в его одежду. И вот в этот момент та дружба, которая соединила двух усташей и четника, такое несоединимое, как вода и масло, претворилась

в жизнь. Первый повернулся Влахо и, несмотря на то, что уже свистели пули, и стрекотал пулемет, побежал к четнику, крича, что есть голоса: — Не бойся, Душко! Если гибнуть, так вместе...

Повернулся и побежал обратно и Милош, и в этот момент что-то странное произошло на вышке: потух рефлектор, а пулеметная очередь ударила по двум ближайшим фонарям. Весь этот угол лагеря потонул во мраке.

Усташи выпростали Душана из проволок и, в потоках все усиливающегося дождя, сами не веря своему счастью, косыми скачками, как зайцы, побежали по полю...

— Мы шли всю ночь. Шли вдоль шоссе, чтобы не потерять дорогу. На заре нашли пустой сарай и в нем просидели весь день, продрогшие, мокрые, голодные! — рассказывали они мне. — Ночью опять в путь. По дороге наткнулись на кучу репы для скота. Разбили ее ножницами, которые, как оружие, хранили за пазухой, на куски и попрятали по карманам и за рубашкой. Так этой репой и кормились, пока шли до Клагенфурта. Несколько раз днем чуть не попались в руки патрулировавших австрийских жандармов. Последний день просидели в беседке большого имения Герцогсхоф, в паре километров от города.

— Как вы меня нашли?

— Да твоя «мисс», эта самая «квакуша» (квэйкерша), раз посетила «С. П.». Пустил ее Марш. Мы ее и спросили, где ты. В Клагенфурте, говорит, в лагере Вайдмансдорф «Б». Выйдете на свободу — навестите ее, она будет радоваться! Мы и запомнили...

Я переночевала у Катицы в ее комнате. В моей, крепким сном, запертые на ключ, спали беглецы.

На следующее утро в бараке у власовцев, тоже живших в нашем лагере, я достала кое-какое барахло, штаны, анг-

лийские рубахи, которые выдавались в лагере, обувь и что-то вроде парусиновых бушлатов. В полдень у Гретл Мак я получила сало, хлеб и другую еду для предстоящего беглецам пути. Кое-какие деньги были у меня, кое-какие я собрала. К вечеру ко мне привели проводника, словенца Михо, наострившегося проводить людей из английской зоны в американскую. За это брались большие деньги, но, узнав, что вопрос идет о земляках, Михо согласился вести их даром. Важно было попасть в Бекштейн, куда стремились беглецы, по другую сторону Мальницкого туннеля. Там можно было спокойно сесть в поезд и ехать.

— Куда? — спросила я в тревоге, волнуясь за дальнейшую судьбу моих «гостей».

— В лагерь Астен, — ответил Душан. — Там мой отец и два брата.

— Но лагерь Астен — четнический лагерь... Туда не примут усташей...

— Еще как примут! Я им всем скажу, что было той ночью, когда мы бежали из Вольфсберга. Милош и Влахо мне больше, чем братья. Мы теперь связаны на всю жизнь.

Душко угадал. Усташи были приняты в четнический лагерь. Впоследствии три друга вместе уехали в Южную Америку.

...Я опять смотрю на пожелтевший лист бумаги с нарисованным на нем югославским гербом и трехцветной лентой, на которой написано «Счастливого нового года!» и стоят подписи югославян из «С. П.», тех, которых я отчитывала за вражду, через щель отодвинутой доски: — Помните, что мы все варимся в одном котле, всем нам угрожает одна и та же судьба. Сейчас нет четников, усташей и егерей. Есть только братья югославыне...



Позже меня навестил синеглазый Джимми, молодой веселый капрал из Вольфсбергской стражи. Был в отпуску в Кла-

генфурте и вспомнил обо мне. От него я узнала, что в ночь бегства трех югославян, на вышке стоял рыженький Эдди. Когда он заметил бегущих, он открыл по ним огонь, но, когда бегущие вернулись под пули, для того, чтобы спасти запутавшегося в проволоке друга — этот поступок потряс его простую солдатскую душу. Вместо того, чтобы стрелять по ним, он поднял хобот пулемета и пустил очередь по фонарям...

— Что же ему за это было?

— А, никс! Ничего. Он соврал, что поскользнулся на мокром полу вышки и упал, не выпуская пулемета из рук, и потому очередь пошла вверх по фонарям. Пока выбежали солдаты из барачных и подняли тревогу, ваши земляки уже давно исчезли в темноте. Ни «Кинг-конга» (Кеннеди) ни Марша не было в лагере в ту ночь. Некому было организовать погоню... Так и сошло Эдди с рук. Остался месяц без отпуска. Это все!



...Почти до самых последних дней существования концентрационного лагеря «373» я не теряла связи с ним. Почему он тянул свои дни, кому он был нужен, в то время, когда весь контингент заключенных составлял какую-нибудь сотню, затем 60 человек, среди которых были три женщины: одна хорватка, имевшая отношение к правительству Анте Павелича, латышка — портниха из Риги, и сербка, никогда не рассказывавшая своим «соседельцам» о причине ее ареста — об этом могли бы сказать власти, но они молчали и оттягивали ликвидацию Вольфсберга.

Все заключенные были сконцентрированы в одном бараке, в лазарете. Когда-то тщательно и ежедневно подметаемый лагерь напоминал теперь собой серое, пыльное привидение, и там все еще сидел майор Г. Г.

Меня надоумили написать прошение в Вену, в главную военную квартиру англичан. Я не являлась родственницей майо-

ра Г. Г., но хотелось надеяться, что кто-то; где-то поймет ту солдатскую связь, которая спаяла наши судьбы. Письмо мне на английский язык перевел капитан Бергер, комендант лагеря Ди-Пи. Ответ пришел очень быстро. Старая, знакомая фраза: «Майор Г. Г. будет выпущен своевременно или несколько позже, так как его невиновность и непричастность к каким-либо военным преступлениям установлены».

Наконец, перед самой Пасхой 1948 года, раскрылись двери свободы и для майора. Он вышел таким же «фуксом», как и я. Ему предложили проехать в «Энтлассунгслагер» и там получить бумажку, что, по выходе из «лагеря для военнопленных № 373», он ликвидировал и свои отношения с немецкой армией. Интересно отметить и подчеркнуть, что за 33 месяца заключения майора, его ни разу никто не допрашивал, ему не были предъявлены никакие обвинения, ни разу, даже за месяцы прозябания в «С. П.», им не заинтересовались ни Кеннеди, ни югославы, ни «суд четырех», и, конечно, ни австрийские власти. Другими словами, по воле маленького предателя и доносчика доктора К., майор, как и множество других, просто «пополнял количество коек в лагере Вольфсберг». И все же он был выпущен одним из последних.

Часто мы с майором задумывались: должны ли мы считать потерянным время, проведенное за проволокой? Не был ли это перст Провидения, давшего нам возможность приобрести все эти знакомства, узнать столько людей, найти столько друзей? Мы были поставлены на испытание и прошли школу жизни, которая, я думаю и верю, пошла нам только на пользу.

Как я бережно храню все записочки, вещицы, списки инвалидной мастерской, удостоверения, выданные «Советом заключенных лагеря Вольфсберг 373», рисунки, книгу с подписями всех инвалидов, письма от капитана Рааба и рисунок шотландского герба с подписью Джока Торбетта — так и все вольф-

сберговцы хранят среди своих «сувениров» куколки, сделанные моими руками, выкройки игрушек, даже ботинки, сшитые из тряпья, а Ханзи Г. — свою первую пишущую машинку, на которой он начал учиться писать.



О лагере Вольфсберг-373 можно было бы написать еще очень много. Но мне хотелось, в известных пределах, как можно короче охватить весь тот период существования этого уродливого пятна на лице Запада, свидетелем которого мне привелось быть. Этого западного «кацета» давно уже нет. Сорваны и уничтожены бараки, снесены высокие заборы и сторожевые вышки, где-то на свалке проржавели сотни тысяч километров колючей проволоки. На этом месте построены новые домики, вокруг которых разбиты сады, а между ними, на полянах, мирно пасутся стада овец. Высоко на горе стоит гордый замок Вольфсберг, в который вернулись его законные хозяева, в послевоенные дни тоже преследовавшиеся новоприведшей властью.

Жители городка Вольфсберг не забыли о тех днях, когда из-за оград колючего лагеря, по своей многочисленности почти не уступавшего населению этого хорошенького местечка, доносился жуткий вой протеста пяти тысяч человек, законсервированных и лишенных самой элементарной свободы.

Забыть Вольфсберг-373 нельзя. Он острым резцом записан в скрижали жизнеописания каждого и каждой, которые прошли через его ворота. А прошло их не мало. По официальной статистике, в списках этого лагеря были вписаны имена 9000 человек, приняв во внимание увоз из Вольфсберга большой группы немцев и прибытие «африканцев» и заключенных из других лагерей Австрии и Германии. Та же статистика говорит, что среди всех этих мужчин и женщин в Вольфсберге оказалось только 114 настоящих военных преступников, бывших служащих Гестапо, С. Д. (Служба безопасности), кацетских надзи-

рателей и эсэсовцев, принимавших участие в каких-либо карательных экспедициях. Да и они-то все были очень мелкого «калибра».

Все та же статистика, однако, говорит, что среди выданных в Югославию находилось только семнадцать человек, которые были отправлены на основании законных решений. Остальные же стали жертвами исключительной «любезности» капитана Чарлза Кеннеди, выдавшего их «по благу» после весьма приятных и прибыльных встреч с титовцами в городах Словении — Крань, Любляна и Марибор. За тридцать сребренников он отправлял на смерть людей, не сделавших никакого зла, удовлетворяя чью-то личную ненависть и жажду отмщения.

Как пополнялся лагерь Вольфсберг?

Людей арестовывали по доносам, по принципу сведения личных счетов, по спискам, составленным комиссиями по разбору военных преступлений, где, как я писала, зачастую вместо виновных сидели несчастные их однофамильцы, наконец, просто под горячую руку, в надежде наскочить на настоящую «большую рыбу».

Для западных союзников самым интересным элементом являлись чины немецкой разведки, люди, которые могли дать очень ценные сведения об этой прекрасно разработанной и глубоко проникшей всюду организации. И этими людьми, нанося ущерб Западу, торговал Кеннеди, уступая их СМЕРШ'у, отправляя в «отель» на Турахских высотах.

Партияцами и партийками интересовалась только Австрия, ее новое правительство, которое, получив их в свои руки, очень быстро и очень справедливо решило их судьбу, сразу же выбрав из обычного «зерна» ядовитые «плевелы».

Все же остальные — солдаты, офицеры, штабные помощники (Штабсхелферинен), машинистки, телефонистки и радистки просто пополняли места, для того, чтобы в лагере не было

недостатка в людских «сардинках». Недаром сам Кеннеди во время допросов заключенных говорил: — В Вольфсберге пять тысяч коек, и ни одна не должна пустовать!



О дальнейшей судьбе Кеннеди я узнала тогда, когда передо мной уже открылся путь в США. Не дождавшись ликвидации Вольфсберга, Кеннеди - Хилман был переведен в Германию и прикомандирован к штабу, ведущему какие-то расследования. Там он, грубо выражаясь, «засыпался», обделявая знакомые делишки на «черной бирже», торгуя одновременно людьми, сведениями и казенными вещами. Он был арестован, и весть об этом пришла в Австрию. Оттуда поступили сведения об его деятельности в Вольфсберге и Вене, об его «экскурсиях» в Югославию. Срочно были доставлены списки людей, без суда и права выданных Тито, стенографические записи наших девушек и разные свидетельские показания. Кеннеди судили и вынесли приговор: пожизненное заключение. Сидит ли он все еще, или уже освобожден, благодаря связям, и творит свои делишки под другой фамилией — кто знает?



В дни Вольфсберга три буквы «ФСС» казались такими страшными, как МГБ, как СМЕРШ, как югославские ОЗНА и УДБА. Однако, справедливости ради, я должна сказать, что все «кеннеди» были тем элементом, которому Запад дал места в Филд Секьюрити Сервис, загрязняя его кадры, в угоду царившему тогда «общественному мнению». Мне впоследствии пришлось встретиться с людьми из ФСС на другой платформе, и я увидела среди них прекрасных, разумных, гуманных и абсолютно анти-коммунистических представителей своей организации. Они глубоко переживали все сотворенное зло и прилагали все усилия, чтобы предотвратить его повторение.

Мне лично, как я уже говорила, Вольфсберг принес большую пользу. Как ни горько было существование за прозолокой, но именно там я научилась молиться, там я научилась жить с людьми, понимать их и, отбрасывая их возможные недостатки и слабости, находить существующие в каждом человеке его лучшие стороны.

Благодаря Вольфсбергу, мне не пришлось болеть «березовской болезнью». Мне не пришлось лгать и скрывать свое прошлое перед комиссией ИРО или при проверке перед отъездом в США. Обо мне знали больше, чем это было известно мне самой. Все мое прошлое было точно и аккуратно вписано в те документы, которые, начиная с Вольфсберга, целой тяжелой пачкой сопровождали меня на дальнейшем моем жизненном пути.

Война не была закончена в 1945 году. Она только перешла в новую фазу, и, на место воинствующего нацизма, на поверхность выглянул давнишний и заклятый враг человечества — коммунизм. Его тоталитарность страшнее гитлеризма, нашедшего отклик почти исключительно в умах германцев. Коммунизм свивает свое гнездо всюду, и с ним, как с медленно идущей, но страшной эпидемией необходимо бороться во всех уголках нашего мира. Запад, ставший на дороге этому наступлению, должен искать союзников не только в государствах, но и в каждом представителе их народов. Западу есть о чем задуматься и вспомнить о тех ошибках, которые были им совершены в дни после капитуляции Германии. Сколько верных союзников было уничтожено, благодаря услужливой готовности на все уступки, сколько верных союзников в лице, может быть, маленьких людей (но ведь люди создают мнение), были оттолкнуты и повергнуты в трагическое недоумение...

Большие картины, написанные кистью художников, характерны тем, что цельность впечатления создается не только первым планом, не только центральными, главными фигурами или основным сюжетом, но и второстепенными деталями, помогающими глазам зрителя воспринять эту картину полностью.

Жизнь — самый большой художник, зарисовывающий с предельной точностью и красоту и уродство, но картины жизни проходят быстро, и для того, чтобы они не забылись, люди, на долю которых выпали честь или горе остаться живыми свидетелями и участниками событий, обязаны, в меру своих сил и способностей, сделать по возможности точную и безусловно правдивую зарисовку пережитого.

Эпизоды массовых выдач и не находящих примера страданий, как Лиенц, Дахау, Платтлинг, Кемптен и другие — это основные части трагической картины послевоенных дней 1945 — 1947 г. Вольфсберг - 373 — только побочная деталь, кровно связанная с главной темой. Поэтому я считала своим долгом правдиво рассказать о людях и делах этого лагеря.

Я не искала самых потрясающих сцен, а только те, которые так или иначе касались меня или происходили на моих глазах, в которые я была замешана, а не создала себе впечатление по лагерным рассказам. В Вольфсберге было пролито много слез, он разбил и уничтожил много жизней, и «кабинет допросов» капитана Кеннеди был забрызган кровью многих людей, но мне кажется, что и того, что сказано в моем повествовании, достаточно, чтобы создать себе картину всего там происходившего.

В те годы Запад был в угаре от победы и полон любви к своим восточным союзникам. В этом пылу любви он отдавал в СССР, в Югославию, во все страны, потонувшие за Железным Занавесом, тех, кто был их потенциальным союзником, всех бор-

цов против коммунизма. Выдавал их массами, как жертв в капище больших и малых красных молохов, не задумываясь о последствиях. Идя на всевозможные уступки своим «военным товарищам», Запад и в своих рядах уступал первенство людям, вроде капитана Чарлза Кеннеди, алиас Хилмана, всем тем Браунам, Блумам, Блу, Вэйссам и прочим, прятавшим свои настоящие имена и фамилии за этими «цветными псевдонимами». Все созданные, в первые же после победы дни, лагеря, Эбентали, Федерраумы, Вольфсберги и Глазенбахи — все эти «кацеты» были жертвой тем, кому хотелось сорвать свое личное озлобление против режима, ненависть к нацизму, просто к немцам и ко всем тем, кто, в том или ином виде, по той или другой причине, мог быть приписан к числу «коллаборантов».

Было странно думать и сопоставлять, что в то время, когда в Германии и Австрии происходили большие процессы против нацистских вождей, всех больших и меньших извергов, удовлетворявших свои садистские наклонности на беззащитных людях, против тех, кто управлял кацетами, и кто проводил кровавые карательные экспедиции — в то же самое время культурный, цивилизованный, гуманный Запад насильственно проводил выдачи миллиона людей, лишая их свободного волеизъявления, создавал новые концентрационные лагеря и отдавал их в руки не меньших садистов, не меньших оппортунистов и негодяев, жаждавших отмщения, крови и денег.

Девять тысяч вольфсберговцев, а также и их семьи — это значительное число людей для маленькой Австрии. Они не забудут пережитого, и горечь навсегда в'елась в их души.



Приношу самую сердечную благодарность оказавшим мне помощь в издании этой книги: Корпорации газеты «Русская Жизнь» и корректору Александре Николаевне Серебrenниковой.

А. Делианич.

О Г Л А В Л Е Н И Е .

	Стр.
Вступление — — — — —	1.
Отрывки из старой записной книжки (Друг боевой) — —	5.
Лойблпасс — Виктринг — — — — —	14.
С Русским Корпусом — — — — —	36.
Первая вылазка — — — — —	45.
Сроки подошли — — — — —	61.
Дни предательства и страданий — — — — —	78.
Из воспоминаний полк. А. Сукало — — — — —	95.
Конец Виктринга — — — — —	108.
Альтхофен -- Вольфсберг — — — — —	121.
Вольфсберг — 8-го августа 1945 года — — — — —	139.
Капитан Чарлз Кеннеди — — — — —	171.
Изо дня в день — — — — —	183.
«Лагерь Коллер» — — — — —	192.
Мираж свободы — — — — —	209.
Гайки затягиваются — — — — —	212.
Кригсфербрехеры? — — — — —	215.
Вверх — вниз — — — — —	227.
...И так далее... — — — — —	234.
Однажды... — — — — —	239.
Специальный загон. — — — — —	243.
Допросы — — — — —	248.
Выдачи — — — — —	252.
Суд чести — — — — —	257.
Группа «Пи-Пи-Эм» — — — — —	277.
С легкой руки капитана Шварца — — — — —	284.
Спасибо Джоку Торбетту! — — — — —	291.
Волхвы... — — — — —	305.
Рассвет? — — — — —	312.
Жизнь текла дальше... — — — — —	327.
Еще одна комиссия — — — — —	332.
Семь долгих часов — — — — —	335.
Подкоп — — — — —	344.
Люди — — — — —	351.
Движение вперед — — — — —	363.
Случай Дитриха — — — — —	368.
Конец владычества — — — — —	380.